



**1966**

**Д Е Н Ъ П О Э З И И**

**С О В Е Т С К И Й  
П И С А Т Е Л Ъ  
М О С К В А 1966**

**РЕДКОЛЛЕГИЯ:**

ВИКТОР БОКОВ (ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР), ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР,  
МИХАИЛ ЛУКОНИН, МИХАИЛ ЛЬВОВ, БУЛАТ ОКУДЖАВА,  
ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ, ВЛАДИМИР СОКОЛОВ.

ХУДОЖНИК ЛЕВ ПОДОЛЬСКИЙ  
ФОТОПОРТРЕТЫ АЛЕКСАНДРА ЛЕССА

РЕДАКТОР ВИКТОР ФОГЕЛЬСОН

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР ДМИТРИЙ МУХИН

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР РОЗА СОКОЛОВА

КОРРЕКТОРЫ ТАМАРА ВОРОНЦОВА И ЛЮДМИЛА ЖИРОНКИНА

Мы рады открыть наш сборник еще не известным до сих пор автографом пушкинского стихотворения «На холмах Грузии...». Эта рукопись хранится в Париже, в собрании А. Я. Полонского, приславшего фотокопию ее Л. В. Никулину. История автографа еще в полной мере не изучена. По предположениям литературоведов, именно этот вариант стихотворения, а возможно, и этот список В. Ф. Вяземская послала в 1830 году в Сибирь Марии Волконской. (См. статью академика М. П. Алексеева во «Временнике Пушкинской комиссии», изд-во «Наука», 1966.)

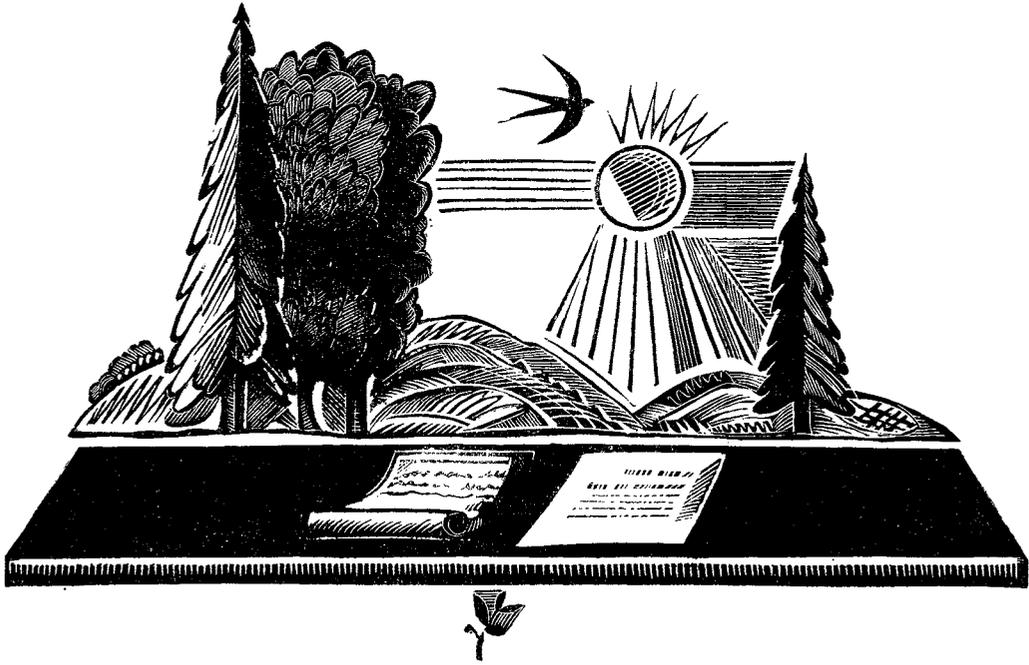
На холмах Грузии лежит ночная  
~~луна, мой друг, я забываю~~  
 Душу твою и себя самого,  
 Свет души и само, горю и жгу  
 Искра моя полна любовью,  
 Любовь, души твои... и сердца моего  
 Искра неугасима, и тревожна  
 И искра востра и горяча и неугасима  
 - от того  
 Что неугасима она неугасима -

Вяземская  
 №29

~~Вяземская~~  
~~№29~~

écriture de Pouchkine







# Михаил Луконин

## ТЕБЕ

У Ганга был  
и не забыл,  
бил в бок поющий гонга  
и в половодье переплыл  
на пальме  
ширь Меконга.  
В струе купался ледяной,  
а были дни иные —  
я окунался с головой  
в тропически-парные.  
А ну-ка, память, вспоминай,  
да, не забыть вовеки:  
Янцзы, и Сену, и Дунай,  
еще другие реки.  
Худого слова не скажу,  
красивы реки мира,  
летаю, езжу и хожу  
землей неумоимо.  
Но почему же —  
все с тобой,  
все о тебе,  
с тобою.  
Все ты и ты, в стране любой  
дорогой голубою.  
Иду, уходят, как во сне,  
разлука и размолвка,  
а ты всегда со мной,  
во мне —  
единственная Волга.  
Во мне, со мною  
навсегда.  
Когда с тобой прощаюсь,  
веселый я лечу туда,  
счастливый  
возвращаюсь.  
И тем я жив,  
что знаю я —  
ты за меня в ответе —  
и боль моя,  
и соль моя,  
и хлеб мой  
на планете.

## В НЕЛЕТНУЮ ПОГОДУ

В конце ноября — начале декабря 1965 года на свой праздник поэзии московские поэты пригласили большую группу поэтов социалистических стран. По моему предложению был запланирован международный вечер поэзии в Волгограде. Волгоградцы гостеприимно отозвались на предложение, ждали нас, а мы, восемнадцать поэтов разных языков, рано утром приехали на аэродром и с огорчением слушали бесконечные объявления диспетчера: «Волгоград не принимает».

Так из-за погоды и не состоялся этот вечер.

В тот день на аэродроме я записал первые строки этого стихотворения.

«Волгоград не принимает», —  
слышим с самого утра.

«Волгоград не принимает», —  
возвещают рупора.

Обсудили все приметы

про погоду

и сидим —

десяти держав поэты,

восемнадцать,

как один.

Мы спешим на братский вечер.

Просим главного добром.

Но пока закрыл диспетчер

Внуковский аэродром.

«Волгоград не принимает...»

Хуже не бывает дня.

Иностранные поэты

тихо смотрят на меня.

Я сижу, вздыхаю сложно,

улыбаясь как во сне.

В сердце пасмурно, тревожно:

может, это обо мне? —

«Волгоград не принимает...»

Как, меня, за что же вдруг?

Город не напоминает

сына.

Не воспринимает, —

на душе растет испуг.

«Город мой, за что? —

шепчу я. —

В чем, скажи, моя вина?»

Только что живу кочуя,

Волга все-таки одна.

«Волгоград не принимает...» —

снова слышу, как в бреду.

Как же я теперь без Волги

и куда теперь пойду?

Стало пусто и бессильно...

Был когда-то слаб и мал.

Сталинград ведь принимал.

Обнимал меня, как сына.

С полуслова понимал.

Над землею поднимал.

Поднял и не опустил.

Я не понял.

Упустил.

Может, что-нибудь такое

Волгоград мне не простил?

«Волгоград не принимает...»

Подожди еще,

пойми,

только ты и есть на свете,

Родина моя, прими.

По любви своей, по долгу,

твой я, слышишь,

веришь ты?

Я пешком иду на Волгу,

подо мной гудят мосты.





# Сергей Наровчатов

## ЗЕЛЕННЫЕ ДВОРЫ

На улицах Москвы разлук не видят встречи,  
Разлук не узнают бульвары и мосты.  
Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье,  
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы.

Со всех сторон я слышал ровный шорох,  
Угрюмый шум забвений и утрат.  
И было им, как мне, давно за сорок,  
И был я им давным-давно не рад.

Июльский день был жарок, бел и гулок,  
Дышали тяжело окна и дворы,  
На Пятницкой свернул я в переулок,  
Толпу разлук оставил до поры.

Лишь тень моя составила мне пару.  
Чуть наискось и впереди меня,  
Шурша, бежала тень по тротуару,  
Спасаясь от губительного дня.

Шаги пошли уже за третью сотню,  
Мы миновали каменный забор,  
Как вдруг она метнулась в подворотню,  
И я за ней прошел зеленый двор.

Шумели во дворе густые липы,  
Старинный терем прятался в листве,  
И тихие слышались мне всхлипы,  
И кто-то молвил: «Тяжко на Москве...

Умчишь по государеву указу,  
Намучили меня дурные сны,  
В Орде не вспомнишь обо мне ни разу,  
Мне ждать невмочь до будущей весны».

Ливня лились любовные реченья,  
Но был давно составлен приговор  
Прообразам любви и приключенья,  
И молча я прошел в соседний двор.

На том дворе опять шумели липы,  
Дом с мезонином прятался в листве,  
И ломкий голос: «Вы понять могли бы,  
Без аматёра тяжко на Москве.

Сейчас вы снова скачете в Тавриду,  
Меня томят затейливые сны,  
Я не могу таить от вас обиду,  
Мне ждать нельзя до будущей весны».

Нет, я не взял к развитию интригу,  
Не возразил полслова на укор,  
Как дверь закрыл раскрывшуюся книгу  
И медленно пошел на третий двор.

На нем опять вовсю шумели липы,  
Знакомый флигель прятался в листве.  
И ты сказала: «Как мы несчастливы,  
В сороковые тяжко на Москве.

Вернулся с финской — и опять в дорогу,  
Меня тревожат тягостные сны,  
Безбожница, начну молиться богу,  
Вся изведусь до будущей весны».

А за тобой, как будто в зазеркальи,  
Куда пойти пока еще нельзя,  
Из окон мне смеялись и кивали  
Давным-давно погибшие друзья.

Меня за опоздание ругали,  
Пророчили веселье до утра...  
Закрыв лицо тяжелыми руками,  
Пошел я прочь с последнего двора.

Не потому ли шел я без оглядки,  
Что самого себя узнал меж них,  
Что были все разгаданы загадки,  
Что узнан был слагающийся стих.

Не будет лип, склонившихся навстречу,  
Ни теремов, ни флигелей в листве.  
Никто не встанет с беспокойной речью.  
Никто не скажет: «Тяжко на Москве».

Вы умерли, любовные реченья,  
Нас на цветной встречавшие тропе,  
В поступке не увидать приключенья,  
Не прикоснуться, молодость, к тебе.

Бесчинная, ты грохотала градом,  
Брала в полон сердца и города...  
Как далека ты! Не достанешь взглядом!  
Как финский, как Таврида и Орда.

Захлопнулись ворот глухие вежды,  
И я спросил у зноя и жары:  
— Вы верите в зеленые надежды,  
Вы верите в зеленые дворы?

Но тут с небес спустился ангел божий  
И, став юнцом сегодняшнего дня,  
Прошел во двор — имущий власть прохожий,  
Меня легко от входа отстраня.

Ему идти зелеными дворами,  
Живой тропой земного бытия,  
Не увидеть увиденного нами,  
Увидеть то, что не увижу я.

На улицах Москвы разлук не видят встречи,  
Разлук не узнают бульвары и мосты.  
Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье,  
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы.

## СОБАКИ НА КОМАНДОРАХ

Над тундрой разносится вой, нарастая,  
По тундре легит, пути перекрыв,  
Стадо оленья на голый обрыв.

Олени людскими кричат голосами,  
Олени разумными плачут слезами,  
Но древних погонь и новейших охот  
Неясно начало, но ясен исход.

Давно голошение псов одичалых  
Мне слышалось накомандорских причалах,  
Я взглядом следил среди топких саванн,  
Как мчит под луной их кочующий стан.

Рабскую жизнь напоследок облаяв,  
Сбежали они от постылых хозяев,  
От плеток, от будок, от скудных харчей,  
От будничных дней и унылых ночей.

Преданы новому вероучению, —  
Вперед к дособачью, к доприручению! —  
Сбросив привычек невольничий груз,  
С нами они разорвали союз.

Своя у лохматых по жизни дорога.  
Что им до кесаря? Что им до бога?  
В конце-то концов в незапамятный век  
Сначала был пес, а потом человек.

Здравствует в диспутах, сварах и ссорах  
Собачья республика на Командорах,  
И вправе бы ей позавидовать мы,  
Когда б не случилось на свете зимы.

Зимой холодны командорские ночи,  
И псы возвращаются поодиночке.  
Их ждет у порога хозяйский пинок.  
Но прочная кровля и миска у ног.

По человечьему праву и праву  
На псов, я считаю, нам нужно управу,  
А самоуправство — неслышанный вздор,  
Так издавна было, так есть до сих пор.

Но дремлет в душе неумное свойство,  
Но где-то мне дорого их своевольство,  
И, давний сторонник беспривязных слов,  
Досадую на покоровившихся псов.

# Павел Антокольский

*Дорогой Павел Григорьевич! Редколлегия «Дня поэзии» поздравляет Вас с семидесятилетием и высочайшей правительственной наградой. Желаем Вам оставаться таким же страстным и устремленным в будущее, каким Вы были всегда. Мы любим Вас не только как замечательного мастера стиха, но и как требовательного и щедрого учителя целого поколения поэтов.*

\* \* \*

На что мне темных чисел значенья,  
На что мне нравоченья басен,  
Влеченья к женщинам и обрученья,  
Когда я музыкой опоясан!

Мой век не долог, мой час не краток,  
Мой мир не широк, мой дом не тесен.  
Пускай же царствует беспорядок  
В нечаянном возникновенье песен.

На пять линеек не разместишь их,  
Не отопрешь их ключом скрипичным,  
Не зарифмуешь в четверостишьях,  
Их дикой скорости не достигь нам.

Они как молнии в тучах пляшут  
И как гнилушки свет излучают,  
Статей не пишут, земли не пашут,  
Беды не чуют, счастья не чают.

Пускай же вихорь несет их дальше!  
Я сам затесался в их птичью стаю,  
Сказал «прощай» суете и фальши  
И век недолгий свой коротаю.

# Леонид Мартынов

## СТАРАЯ БИБЛИОТЕКА

О, туманные начала  
Деятнадцатого века!  
Помню, как меня встречала  
Старая библиотека.  
Пыль, ветшающая мебель,  
А на полках Кант и Гегель:  
— Кант и Гегель, да и Шеллинг  
Ни к чему тебе, бездельник!  
Нет!  
Бездельником я не был,  
Ибо через быть и небыль,  
Через желтые страницы  
Славных энциклопедистов,  
Через призрачные лица  
Мистиков и утопистов

Намечался  
Облик Чарльза  
Дарвина и Карла Маркса,  
И Бакунин, и Кропоткин —  
Из противоречий соткан...  
Было  
В мире правдолюбков  
Далеко до юбилеев.  
...Герцен и Добролюбов,  
Юноша Менделеев,  
Грегор Мендель с образцами  
Огородного гороха...  
Дети спорили с отцами...  
...Чтоб свести концы с концами,  
Требуется эпоха.

## ВЕЧНЫЙ ПУТЬ

Сегодня ночью  
Виснет Млечный Путь  
Над кратером потухшего вулкана,  
Как будто хочет с неба заглянуть  
В немое жерло этого вулкана.  
А может быть, исходит он и сам  
Из кратера потухшего вулкана,  
Свой звездный хвост вздымая к небесам  
Из кратера потухшего вулкана?  
Все может быть. Пускай себе горит  
Он над вершиной старого вулкана.

Быть может, завтра и метеорит  
Найду на склонах этого вулкана,  
А может быть, на склоне подыму  
Лишь бомбу вулканическую. В общем,  
Доподлинно не ясно никому,  
Какую бездну мы ногами топчем,  
Не ведая, где верх ее, где низ,—  
Все так зыбуче, так непостоянно...  
Мне кажется,  
Что я и сам повис  
Над кратером заснувшего вулкана.

## НАТУРА ЖИВОПИСЦА

Мне

Крикнула натура живописца:

— Томятся жилка каждая и мышца!

В косых лучах признания людского я розовею столь боровиково,

Что этому отнюдь бы не поклонник, пожалуй, стал бы

и покойник Стасов.

Облокотилась я на подоконник среди лансеребряных иконостасов,

Любуясь на чудеснейший репейник, коровники, поленицы, малявы.

Но почему же никакой затейник вновь не затеет никакой забавы!

Высоковыразительного Спаса и передвижниц в суриковых шалях

Кто затуманивает? Нет, не Палех, но лаки на шкатулочных эмалях!

И ты пойми, что, сверстница Пикассо, я не стремлюсь блуждать в

сальватордалях,

Но опостылел и гробокопалех, и всякие легенды на медалях.

И, гордая наследница Рублева, я, ученица Феофана Грека,

Очаровательница человека, его мечта, насущная потреба,

Стараюсь быть как можно чище, проще и, не размениваясь рублево,

Хочу и нынче не отстать от века и, досыта вкусив земного хлеба,

Отведать галактического млека

И, леонардоввинчиваясь в небо,

Достичь сверхмикеланджеловской мощи!

## СТЮАРДЕССЫ

Что концерты?

Видел, например, ты

Самолет поющих стюардесс,

Через микрофон свои концерты

Задающих с высоты небес?

Вот когда

Под рокот самолета

Начинаются чудеса,

Будто кто-то отвечает что-то

На девические голоса.

Будто,

Глядя в небо, голосует

Лапами своими хвойный лес —

Песни так его интересуют,

Что в кабину сам бы он залез.

Он

Уселся бы, дремучий, в кресле,

А самцы его огнистых лис

Стюардессам в премию за песни

В чемоданчики бы забрались.

А вдогонку

За дремучим лесом

Тени откликающихся гор

Вырисовывают стюардессам

Медленно-сверхскоростной узор.

Может быть,

Он после пригодится

Для каких-нибудь домашних нужд.

Впрочем, девушки поют как птицы —

Мир домашности сейчас им чужд.

Потому что

Эти стюардессы,

Незаметны в аэропорту,

Высшие имея интересы,

Задают концерты на лету!

## У ДОРОГИ

По дороге  
Краны-носороги  
Мчались и цистерны-двуутробки.  
И меня с большой они дороги  
Оттеснили на лесные тропки  
В лиственное копошеньё леших,  
И шишиг, и всяческих кикимор,  
На меня внимательно смотревших —  
Вымер я еще или не вымер.  
Вымирать я не желаю вовсе  
Потому, что я и так не вечен!  
— Нет, — кричали, — к этому готовься!

Вам дышать почти что стало нечем:  
Что ни час машины неживые  
Поглощают столько кислорода,  
Легковые как и грузовые,  
Что народу хватит на три года.  
Вот так механическая каша  
Заварилась на машинном масле!  
Так они, плясаша и скакаша,  
Повторяли всяческие басни  
У дороги, у большой дороги,  
Где с рычаньем, образуя пробки,  
Яростные краны-носороги  
Лезли на цистерны-двуутробки.

## ПЕРЕМЕЩЕНЬЕ ПРАХА

А как  
Прошло  
Перемещенье праха?

А очень просто:  
Тот, кто не воскрес,  
Еще лежал, уж не внушая страха,  
А возбуждая только интерес.

Еще иллюминация на кровли  
Блеск римских цифр своих не возвела,  
Еще в канун предпраздничной торговли  
(Был вторник тридцать первого числа)  
На дверцах в диетическом висело  
Уведомленье: санитарный день,  
Еще на землю все же не осела  
Достаточно развенчанная тень,

Еще в аллеях, выметенных плохо,  
Шуршала опаль, под ноги летя,  
Там, где резвилась новая эпоха,  
Еще дитя, совсем еще дитя,  
Но уж большое — не возьмешь на ручки...  
И на стариннейшей из площадей —  
На Красной площади — топтались кучки  
Еще не разошедшихся людей,  
А домоседы все еще гадали,  
Куда свезут перемещенный прах,  
Не зная, что очутится не дале  
Чем в двух шагах.

Но в двух каких шагах!  
Да, тяжела она, людская поступь,  
Медлительны шаги народных масс,  
За подступом одолевая подступ.

Вот что куранты пели в этот час!

## МЕЧТАТЕЛИ

О, жизнь весенний свой разлив  
Взметнет к невиданным пределам,  
Когда, другим мечтать внушив,  
Мечтатели займутся делом.



— Но вам обоим угрожает нож!  
Поторопитесь! — крикнула Люси.—  
Смерть! Вы поймите: промедленье —

смерть!

Сказал Дантов:

— Ну, ты, положим, врешь!  
Им не посметь! И, кстати, ты заметь,

Что я не птичка, чтоб попасться в сеть,  
И не зверек, чтоб угадать в капкан!

Но все ж  
Переступил через порог  
И в фазтон  
Ввалился  
Великан!

\* \* \*

Я  
Безумствовал,  
Кликушествовал  
И свалился, отощав,  
Прорицанья открывав.

И, навеки замолчав,  
Проникать я в ваши души стал,  
От молчанья величав.

Крепнет голос, отзвучав!

## Степан Щипачев

### ПОЭТЫ

Я хотел бы ходить  
по дорогам времен,  
как по нашей стране  
из района в район.

Я хотел бы ходить  
и в дожди и в снег,  
как из города в город  
из века в век.

Петербургская стынъ,  
петербургская стынъ.  
Над замерзшей Невой  
горбаты мосты.

Пушкин полднем белесым  
на санках — туда,  
где поземка метет  
и вокруг ни следа.

К Черной речке  
вплотную придвинулся лес.  
Я б не выдержал,  
кинулся наперерез.

Я кричал бы,  
повиснув на морде коня:  
«Ради бога,  
послушайте, Пушкин, меня!

Поверните назад,  
поверните назад!  
Распахните в века  
голубые глаза.

Честь поэта?  
Она перед нами чиста,  
словно утренняя  
звезда».

Петербург.  
Над замерзшей Невою мосты.  
Я простился бы с ним  
в ту январскую стынь...

Я пошел и туда бы  
с котомкой пешком,  
где латынь  
разговорным была языком.

Я бы в Риме  
по пыльным ходил площадям,  
чтоб с беспечным Овидием  
встретиться там.

Я сказал бы ему:  
«Сторонитесь двора!  
Не к добру парусами  
играют ветра.

Император жесток.  
На чужбине суровой  
вы закончите жизнь  
под неласковым кровом».

Я покинул бы скоро  
истории дали,  
не успев износить  
даже пары сандалий.

Я вернулся бы снова  
в двадцатый наш век,  
где капель,  
где последний рыхлющий снег.

Чтобы где-то  
в апрельскую синюю мглу  
за подснежники  
мелочь платить на углу.

Если б как-то узнать  
в те минуты я мог,  
что вот-вот Маяковский  
нажмет на курок,

я б ворвался к нему  
телефонным звонком,  
хоть с поэтом  
я лично и не был знаком...

Я и в завтрашний век  
заглянуть бы хотел,  
оторвавшись на срок  
от сегодняшних дел.

Там я так бы заканчивал  
каждую речь:  
«Уж хоть вы-то учитесь  
поэтов беречь!»

## УРАЛЬСКИЕ САДЫ

Поземка над тропею.  
Теряются следы.  
Стоят в снегу по пояс  
уральские сады.

Под бледным небосводом  
они и по снегам  
придвинулись к заводам,  
к железным рудникам.

Косматые морозы  
вдруг выбелят щеку,  
но и в морозы воздух  
как яблоко на вкус.

Урал в буранах тонет,  
вперяя взгляд вперед.  
В железные ладони  
он яблоко берет.

\* \* \*

Мы знаем — да простит ИМЭЛ, —  
когда сшибались точки зрений,  
был в спорах беспощаден Ленин,  
но и ценить людей умел.

Свои у нас бывают кручи,  
залеты к новой высоте.  
Пусть время мужеству нас учит  
и большевистской прямоте.

\* \* \*

На жизнь я гляжу все пристальней.  
Все смертны — что пользы печалиться.  
Неслышно от пристани  
лодка моя отчалится.

Затихнет рыдающий реквием  
всех вьюг отшумевших, всех весен.  
Без края у вечности реки,  
а лодки без весел.

\* \* \*

Вот я и дожил:  
ни строчки из-под пера.  
На улице дождик  
пылит и пылит с утра.  
Конец мой далек или близок —  
мне это не все равно...  
Потрескивает телевизор —  
в мир голубое окно.

В мир, где немало пройдено  
дорог, излетано трасс,  
где всеми ветрами родина  
встречала меня не раз.  
И мысли опять о жизни,  
о будущем. К черту хандра!  
Еще не однажды брызнет  
солнце из-под пера.

## Игорь Ринк

\* \* \*

Когда беды нахлынул вал  
И смерть не хочет дать отсрочки,  
В запасе есть еще сигнал —  
Три точки... три тире... три точки.

И от удара вздрогнет мир,  
И каждый, кто имеет уши,  
Услышит брошенный в эфир  
Призыв — «Спасите наши души!».

Мы гибли посреди земли  
В глухих ночах при мертвом штиле.  
И никакие корабли  
Нас вырывать не выходили.

Но мы, об этом не скорбя,  
Орали в трубки микрофонов —  
Мы вызывали на себя  
Огонь своих дивизионов...

Сердца у любящих порой  
Как телефон, что вечно занят,  
А нам звонок беды людской  
Все той же болью сердце ранит.

Зовет спешить, лететь в ночи  
По первой телеграфной строчке...  
Ты только сердцем простучи:  
«Три точки... три тире... три точки...»

# Николай Тихонов

## ИЗ РАННИХ СТИХОВ

### СТРАНА

Здесь царством правили калеки,  
Ходили чаши на костях,  
Из сливок матовые реки  
Текли в кисельных берегах.

В лесах разбойничьи свисты  
Полночных страшных Соловьев,  
В полях безрадостных, волнистых —  
Шатры причудливых снегов.

Ты мчалась вихрями на тройке,  
Просила нищей у крыльца,  
Был глас молитв и крик попойки  
Как ожидание конца.

За синим морем, за Буяном,  
В низах подводных, где Садко,  
В горах с безумным атаманом  
Дышала буйно и легко.

Но верит ум неощутимо:  
Илья проснется — малый свой,  
Что триста лет непробудимо  
Лежал с померкшей головой.

...И будет все, дитя былины,  
Не нашей вере, а твоей,  
Мы лишь удобрим пыль равнины  
Безмолвной белизной костей.

И блеск их, нет, не испугает,  
Над ними встанет райский сад,  
Оживших птиц и песен стаи  
За новым солнцем полетят!

*Февраль 1917 г.*

### РОЖДЕНИЕ МЫСЛИ

Забывтое, знакомое пятно,  
Прозрачный призрак мотыльковый,  
Но бабочка порхает через сон,  
И птицей на уста садится слово.

Расширились летящие крыла,  
Повисшие над бездной голубою,  
И вот уже не птица — а скала  
С начертанной неведомой резьбою.

Но камень — камень только первый миг,  
В нем проросли колонны вечных зданий...  
О мысль моя, ты — только первый лик  
Даруемых душе обетований.

*1916*

### АНТИЧНЫЙ ГЕРОЙ

Улыбка дерева, героя латы,  
Тревоги тьмы равно понятны мне,  
И мускулы борца движеньем сжаты,  
И взор острей, чем стрелы в вышине.

Я жду того, кто выйдет мне навстречу, —  
Лев, великан во мраке иль в огне,  
Но на удар ударом я отвечу, —  
Певец ответит песней обо мне.

И море золотом кудрей осыплет  
Скользящее лицо материка,  
И в час прощанья в небе будет выбит  
Высокий серп, рассекший облака.

Земля прекрасна в пурпуре покоя,  
Прекрасна в бурях, грезя наяву, —  
И все живут — не умерли герои,  
Нет прошлого, я в будущем живу.

Когда в путях, в безгранном потонувших,  
Устану я — на смену кончить труд  
Бессмертных сонмы — временно уснувших —

Я позову — они придут!

*1917*

# Борис Слуцкий

\* \* \*

Ты это должен обещать заранее:  
не выдать полужнание за знание,  
не выдать полубелое за белое.  
— Я слушаю. Я обещаю. Сделаю.

А если ты нарушишь обещание,  
соврешь, как иностранное вещание?

— Пускай меня, словно приемник,  
выключат  
и даже исключат и заключат.  
Железом и огнем меня пусть вылечат.  
Силком по чистой правде провлачат.

\* \* \*

То было время царствия кино,  
Немалую оно взвалило ношу.  
История — оно. Мораль — оно.  
Эстетика, политика — оно же.

Идеи формулировал экран,  
его доступность или неотступность.  
На полотне, по вечерам  
они приобретали крупность.

Все это было — и не так давно.  
Какие бури двигались по залу!  
Загоним же кино — в кино,  
чтоб из кино кино не выползало.

\* \* \*

Дело в том, что рабочие, фабричный и заводской,  
и не только в Москве, но в далекой заснеженной области,  
вечерами стоят перед черной учебной доской  
и решают задачи повышенной сложности.

Дело в шляпе, а кончится белым воротничком.  
Дело в образовании — среднем законченном,  
а невежество вскоре поляжет ничком  
перед знанием, прежде забитым и скорченным.

\* \* \*

История не ведает «кабы».  
Ее интересует то, что было.  
Историк не растрчивает пыла  
на то да се, на если было бы.

Поэзию интересует все,  
и в том числе, конечно, то да се.

\* \* \*

Какие бы общественные сдвиги  
ни двигались, а их — не сосчитать,  
библиотеки выдавали книги,  
читальни их давали почитать.

Просили на дом, записи вели  
на очередь.

Когда? Через неделю.  
И в общих залах допоздна сидели  
во всех углах моей родной земли.

Пока библиотечный институт  
работает,

на полки книги ставят,  
нас никакие бомбы не сметут,  
нас никакие орды не раздавят.

\* \* \*

Поэзия — обгон, но не товарищей,  
а времени, и, значит, напряжение,  
все провода со всех столбов срывающее,  
и с ног до головы вооружение.

Маршал Толбухин одевал бойцов  
в пуленепробиваемые латы.

А вы что думали?

А для баллады  
не то ли требуется  
в конце концов?

\* \* \*

Я — сердечник.  
Держусь на пределе,  
на таблетках, на порошках,  
но в поэзии я при деле:  
многоуважаемый шкаф.

Я бессонник. Суток по шесть  
я ворочаюсь, а не сплю.  
Но зато мне высшая почесть:  
я эпоху на рифмы ловлю.

Я пораненный в давно прошедшей  
во Отечественной мировой,  
и осколок, меня нашедший,  
поет язвою моровой.

Он ворочается сердца выше,  
повстречавшийся мне в бою,  
по ночам я, кажется, вижу,  
как он врезался в плоть мою.

В общем, жизнью почти доволен,  
несмотря на всех докторов,  
потому что телесно болен,  
а душевно вполне здоров.

# Юрий Кузнецов

## САХАРНЫЙ ТРОСТНИК

Я тростник убирал с Фиделем  
После митингов и стрельбы.  
А вверху облака горели,  
Будто атомные столбы.

Но я шел сквозь тростник, сквозь  
маяты  
По тонюсеньким берегам.

Мой мачете ходил, как маятник,  
И отсчитывал время врагам.

Моя жизнь, как подошвы, пропахла  
Пыльным зноем в дневном огне.  
Я стою в прилипшей рубахе —  
Будто полдень прилип к спине.

## ОБЛАКА

Покину палм спасительный шалаш,  
Льют желтый водопад лучи прямые.  
Лежит вповалку, как бахча в России,  
На узкой кромке океана пляж.

Морские звезды, красные как клумбы,  
Сквозь толщу вод преломлены слегка.

Идут сюда дорогою Колумба  
Со стороны России облака.

Бренчит сквозь долгий зной издалека  
Бессонный бар — как в кулаке монеты...  
Читаем, как далекие приветы,  
Как письма из России, облака.

\* \* \*

Жара! Раскаленные светят цветы,  
Стоят, не шелохнутся пальмы.  
Я льдину толкаю в бачок для воды,—  
Сквозь лед увеличены пальцы.

На брызжащий свет поднимаю ее,—  
Какая прозрачная льдина!

Такая прозрачная, что сквозь нее  
Россию со ставнями видно.

Я пью чистый запах знакомой земли,  
Где в каждой речушке по капле...  
Горят онемевшие пальцы мои  
И тают, и тают по капле.



# Семен Кирсанов

*Дорогой Семен Исаакович! Сердечно поздравляем Вас с шестидесятилетием. Орден Ленина, который вручил Вам правительство, заслужен подвигом художника, отдавшего всю жизнь поэзии и народу.*

*Редколлегия*

\* \* \*

Эти летние дожди,  
эти радуги и тучи —  
мне от них как будто лучше,  
будто что-то впереди.

Будто будут острова,  
необычные поездки,  
на цветах — росы подвески,  
вечно свежая трава.  
Будто будет жизнь, как та,  
где давно уже я не был,  
на душе, как в синем небе  
после ливня — чистота...

Но опомнись — рассуди,  
как непрочны, как летучи  
эти радуги и тучи,  
эти летние дожди.

## « ВЕЧНОСТЬ »

Недолговечна вечность.  
Во имя человечности —  
мы молим: — Не увечь нас,  
недолговечность Вечности.

Мы молим — длиться дольше  
мгновение блаженное.  
О, стиль «нуова дольче»,  
о, всплеск воображения!

Продлиться, ах, продлиться! —  
все жаждет, все хлопочется —

жучки, медузы, листья,  
и человек, и общество.

И статуи, и мумии,  
и завещаний вечность —  
все просит, молит, думает:  
как влезть вот в эту вечность?

Завидуем — что выжило?  
Шекспир! Его не видно ли!  
А «вечность» — неподвижна.  
Часы — мы сами выдумали.

## ЦВЕТОК

О бьющихся на окнах бабочках  
подумал я — что разобьются,  
но долетят и сядут набожно  
на голубую розу блюда.

Стучит в стекло. Не отступает,  
но как бы молит, чтоб открыли.  
И глаз павлиний осыпается  
с печальных, врубелевских крыльев.

Она уверена воистину  
с таинственностью чисто женской,  
что только там — цветок, единственный  
способный подарить блаженство.

Храня бесстрашие свое,  
цветок печатный безучастен  
к ее обманчивому счастью,  
к блаженству ложному ее.

## Юрий Шавырин

\* \* \*

Знать, не шкурной была та порода,—  
Жизнь иного не меньше любя,  
Пареньки сорок первого года  
Вызывали огонь на себя.

Может, думали выжить?  
Едва ли:  
Перед тем вспоминали семью...  
И огонь на себя принимали,  
Как заветную долю свою.

Слава павшим,  
Домой не попавшим,  
Не увидевшим наше житье!  
Опаленной землю пропахшим,  
Обезвестившим имя свое.

Из архивов дела их поднимут —  
Ничего не узнают из них...  
Ибо мертвые сраму не имут,  
Оставляя его для живых.

## Олег Алексеев

\* \* \*

Сухое утро солнечного дня.  
Тринадцать — несчастливое число.  
А мне вот сумасшедше повезло:  
Сегодня сын родился у меня.  
Я все лукавил, будто дочку жду.  
А ведь нужды в девочке, право, нет.  
Я старше всех мужчин в своем роду,  
Хотя мне только-только тридцать лет.  
Ни деда нет, ни дяди, ни отца,  
Ни братьев нет. Огромный сгинул род.

Под очереди смертного свинца  
Мы первыми вставали в полный рост.  
Все взрослые погибли на войне  
За родину, за счастье, за меня.  
Я вышел целым из того огня,  
Но трудно одному на свете мне.  
Тропинку заповедную в лесу,  
Ружье и лодку — сыну все отдам.  
И тяжкий груз, что я один несу,  
Мы по-мужски разделим пополам.

# Анатолий Имерманис

\* \* \*

Век старый  
пахнет порохом и молью.  
Чем дышит новый?  
Мы не слышим,  
чем.  
Заткнув нам ноздри  
хиросимской болью,  
наш век  
лишил нас запахов совсем.  
Но я защитный способ применяю:  
вдыхая век  
сквозь фильтры Октября, .  
услышу вмиг,  
как пахнет почка  
маем,  
как распускается  
и прозревает  
слепая почка —  
круглая  
Земля.

## Борис Попов

### ДВА ЦВЕТА

Два цвета жизни в мире этом  
причастны тайнам бытия:

зеленый —  
цвет весны и лета,

и  
красный —  
это кровь моя.

Ее потоки разольются  
подобно солнцу на заре.

Так  
праздники и революции  
мы начинаем на земле.

Цена цветов великолепье,  
одно запомни, человек:  
зеленый  
обратился б в пепел,  
когда бы  
красный цвет поблек.

# Владимир Корнилов

## СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

Дотянули до среднего возраста,  
Добрили до того рубежа,  
За которым артачатся хворости  
И покоя желает душа.

Дотащились до той полусытости,  
Когда голову прячут в кусты  
И не столько отчаешься вырасти,  
Сколько крепче, надежней врати.

Средний возраст —  
по средствам посредственным  
Миротворцам, никак не творцам  
И не тем, от рожденья подследственным  
Неумным и гневным сердцам,

У которых душа — точно улица,  
Им смирение — не благодать,  
Потому что смириться, ссутулиться  
Все равно, что себя потерять.

## ЖЕНА ДОСТОЕВСКОГО

Нравными, вздорными, приткими  
Были они испокон.  
Анна Григорьевна Сниткина —  
Горлица среди ворон.

Скромность — взамен своеправия,  
Ангел, никак не жена.  
Словно сама Стенография  
Впрямь под диктовку жила.

Тихая в славе и в горести,  
Робко, убого света,  
Сниткина Анна Григорьевна,  
Как пред иконой — свеча.

Этой отваги и верности  
Перевелось ремесло...  
Больше российской словесности  
Так никогда не везло.

## ЗИМНЕЕ

Всей зиме только две недели,  
А вот снег облысел уже.  
Дождик мечется на панели,  
И невесело на душе.

От Мазилова до Зарядья  
Я шатаюсь — кого винить?  
Подарила мне два занятия:  
Не встречать тебя, не звонить.

Вот и занят теперь надолго,  
Под холодным дождем брожу  
И отчаянно, как наколку,  
Не с руки, а с души свожу —

Зимних глаз зеленое пламя,  
Створки губ, заучивших «нет»,  
Да над сросшимися бровями  
Челку черную, цветом в нефть.

## НЕБО

На главной площади  
В Бердянске  
Мотор задохся и заглох.  
Я скинул сапоги,  
Портянки  
Наворотил поверх сапог.

Шофер изmaterил машину,  
Рыдал над чертовой «искрой»,  
А я забрался под махину  
И, развалясь,  
Дымил махрой.

Неподалеку  
Ныло море,  
Запаренное добела.  
А мне какое было горе?  
Я загорал,  
А служба шла.

Год пятьдесят был первый.  
Август.  
И оказалось по нутру,  
Скорее в радость,  
А не в тягость,  
Куришь под кузовом махру.

Похожие на иностранок,  
Шли с пляжа дочери Москвы,

Но не впивался,  
Как ни странно,  
Глазами, полными тоски.

Солдат фурштадтский,  
В перерыве  
Я стал нечаянно велик,  
И вся обыденность  
Впервые  
Запнулась,  
Точно грузовик.

Мир распахнулся,  
Словно милость,  
От синей выси до земли,  
И все вокруг остановилось,  
Лишь море билось невдали.

«ЗИС» спал,  
Как на шляху телега,  
А я под ним в полдневный жар,  
Босой,  
Посередине века,  
С цигаркою в зубах лежал.

Лежал,  
Как будто сам — столица  
И истина со мною — вся,  
И небеса Аустерлица  
Мне виделась из-под «ЗИСа».

# Александр Яшин

## НОВЫЙ БЕРЕГ

Никаких таких америк,  
Знаю, не открою.  
Юг-река меняет берег  
Под моей Горой.

Клин песчаный намывает  
Под обрыв сосновый,  
Удлиняет,  
Уплотняет...  
Где-то старый берег тает,  
Вырастает новый.

Верно, примутся деревья  
На косе посадом.  
Встанет целая деревня  
С моим домом рядом.

Даже город будет, верю,  
Пусть не очень скоро...

Намывает новый берег  
Под моим Угором.

## ПОЧЕМУ НЕ УДИВЛЯЕМСЯ

Почему-то без удивления  
Смотрим на небо, на поля  
И — восторженно,  
С умилением  
Пересказываем сновидения,  
Хоть и в снах —  
Все та же земля.

А деревья-то зеленые!  
А в озерах  
Вода в цвету!  
А в воде, что стрелы каленые,  
Листья длинные,  
Заостренные,  
Оголенные,  
Опушенные...  
И все тянутся в высоту.

В небе крылья птиц распростерты,  
Тучи, радугами подперты,

Камни скал в корнях витых.  
Видно, скалы тоже не мертвые,  
Раз деревья растут на них.

Над рекою кручи размытые.  
Я на срез отвесный гляжу,  
Будто в недра земли открытые  
По ступенькам цветным вхожу.

Налюбуюсь ли на нарядную,  
Ненаглядную землю-мать,  
Неоглядную,  
Непарадную?..  
Так всему в этом мире радуюсь,  
Будто завтра его покидать.

И тоскливо мне одному,  
Будто завтра конец всему.

## ДЕНЬ ТВОРЕНЬЯ

Восемь цыплят вылупилось,  
Одно яйцо не дозрело,  
Так сказать, уцелело.  
Но курица не горевала  
И парить больше не стала,  
Судьба одного цыпленка  
Ее не занимала.  
Ей восьмерых хватало,  
Она их к порогу скликала,  
Квóхтала,  
Словно подсчитывала,  
И под себя подгробала.

Что же это девятое  
Яйцо?  
Ужель пустотело?  
Я взял его в руки:  
Белое,  
Целое, как и было.  
Концом перочинного шила  
Расковырял скорлупку,  
Расколупал,  
Раскупорил,  
И там оказалось тело.  
Там было живое тело,  
Вот ведь какое дело!  
Еще не цыпленок —  
Тело  
Цыплячье,  
В крови, в ворсинках,  
В остатках желтка, в волосинках.  
Круглое это тельце  
Дышало и жить хотело.

Я стал,  
Сначала несмело,  
С жизни чуть теплой, хрупкой  
Снимать скорлупу за скорлупкой,  
Стал отделять от живинки  
Мертвые скорлупинки,  
Как плод живой от последа

А будет ли победа?  
Ох, как же мне было страшно!  
Как молодой повитухе,  
Девочке-акушерке.  
Секунды решали дело!

Но робость моя проходила.  
Очистив от крови цыпленка,  
Я положил его в тряпку,  
Затем в мохнатую шапку,  
А в шапке  
На теплую печку.

И вот мой младенец ожил  
В шапке, как в люльке, в зыбке,  
Ожил, —  
Спасибо, боже! —  
Забился, закопошился,  
Зацевкал  
И опушился.  
Голос его был звонок.  
Это уже был цыпленок.

Ох ты, мой соколенок,  
Орленок ты мой,  
Миленок!  
Родимый ты мой, роженный,  
Я — крестный твой нареченный.

Потом пора настала —  
И клушка его признала,  
А я отошел в сторонку,  
Счастливым до умиленья,  
До слез,  
До вдохновенья,  
Как бог в первый день творенья.  
Я жизнь сохранил цыпленку,  
Пусть хоть одну,  
Хоть цыпленку,  
Но — жизнь!  
Без преувеличенья.

## КУЛИК

В болоте целый день ухлопав,  
Наткнулся я на кулика.  
Он из гнезда, как из окопа,  
Следил за мной издалика.

Как трудно быть ему героем!  
Того гляди возьму живьем,  
А он один в гнезде своем,  
Как в поле воин перед боем  
С противотанковым ружьем.

Взлетать иль нет?  
А вдруг замечу,  
Со всем хозяйством загублю,

А не замечу —  
Искалечу,  
Ногой сослепу наступлю.

Зачем играть со смертью в прятки?  
Я на него взглянул, любя,  
И — мимо,  
Мимо,  
Без оглядки...

Сиди, родимый,  
Все в порядке.  
Я просто не видал тебя.

## СОЛОВЕЙ

Черт его дери — соловья!  
Всю весну горю, как на огне.  
Но писать о нем не вправе я  
Ни в стихах, ни в прозе:  
Стыдно мне!  
Стыдно тыщи лет воспевать  
Птичьи трели да небесный свод...  
А ему-то, соловью, плевать —  
Знай себе работает,  
Поет.

\* \* \*

О, как мне будет трудно умирать,  
На полном вдохе оборвать дыханье!  
Не уходить жалею —  
Покидать,  
Боюсь не встреч возможных —  
Расставанья.

Несжатым клином жизнь лежит у ног.  
Мне никогда земля не будет пухом:  
Ничьей любви до срока не сберег  
И на страданья отзывался глухо.

Ни одного не завершил пути.  
Как незаметно наступила осень!  
Летит листва...  
Куда уж там летит —  
Ее по свету шальный ветер носит.

Потери сердца людям не видны.  
Но вдохновенье в дверь стучит все реже.  
Ни от своей,  
Ни от чужой вины  
Не отрекаюсь,  
А долги все те же.

Сбылось ли что?  
Куда себя девать  
От желчи сожаленья и упреков?  
О, как мне будет трудно умирать!  
И никаких  
Нельзя  
Извлечь  
Уроков...

# Новелла Матвеева

\* \* \*

Светится в чаще родник зеленый,  
Как травяная лампада;  
Сыплются зерна огня и звона  
Из закровов водопада.

Двигается ткань лепестков опавших  
До городских окраин,  
Только фиалка молчит — не пахнет:  
Весь аромат украден  
Ветром горячим, залетным вихрем, —  
Этакий хлыщ-молодчик!  
Розой пришпорен, хмелен и выхмелен  
Брагой садов молочных,  
Сушит фиалку... Так у затворницы  
Душу бы выкрал демон...  
Но ведь не стала бы с ним знакомиться,  
Если бы знала, где он  
Был и какие весной налаживал  
В мутном пространстве связи;  
Как припадал он устами влажными  
К лужам — кормушкам грязи...  
Чучело где-то трепал тряпичное,  
Пашню жевал коврижкой,  
Крошкой сорил по дворам кирпичною,  
Пил из трубы фабричной  
Щиплющий дым горчичный,  
И на задворках, где без зазрения

Пойлом плескал из корытца,  
Не забывал-таки одновременно  
В мусорных кучах порываться...  
К морю бежал, да не все — тропинками;  
К морю съезжал по крышам,  
Пылью вертел и стучал песчинками  
По голубым афишам...  
Все перебрал, перешарил, вынюхал,  
Да и нашел фиалку,  
Чтобы приветствовать пьяным выдохом  
Бедную провинциалку.  
Что в ней? Глаза, подбородок туфелькой,  
Впалая грудь... Еще бы!  
Рада фиалка, что к ней, сутуленькой, —  
Этакий статный щеголь!  
Видел трущобы — назвал соборами...  
Сказкам его внимая,  
Долго стояла она с оборванным  
Листиком, как немая...  
Если горошек из бубна вытрясти,  
Будет занятно видеть;  
Если фиалку лишить душистости —  
К ней и роса не снидет...  
Сохнет фиалка, а демон-вихорь  
Пляшет на дальнем шляхе:  
Запах фиалки приколот лихо  
К широкополой шляпе.

# Ольга Фокина

## НА РОДИНУ

Разлилась река озером.  
Озеро — с океан!  
Чайка над водой — козырем,  
А перевозчик — пьян.  
Поднесу ему водочки,  
Что-нибудь закусить:  
— Лодочник мой, лодочник,  
Милый, перевези!  
Ты же кавалер ордена,  
Пасовать тебе — срам!  
За рекой — моя родина,  
Родина моя там! —  
Лодочник тряхнул космами:  
— Ехать? Вот в такой дождь?  
Носит вас лешак веснами!  
Просишь — утоплю, что ж! —  
Лодочник меня выручит,  
Выполнив и свой каприз:  
Лодку на волне выкачнет  
И кувырком — вниз.

Меряться с волной силою  
Самая непора!..  
Но волна нас милует.  
Лодочник и сам рад.  
Лодку подтянул к берегу,  
Старый, как юнец, резв.  
Вещи передал бережно,  
Хмелю ни в глазу — трезв.  
Шапкой помахав издали,  
В зыбку уплыл жуть...  
А передо мной выставли  
Ели, преградив путь.  
Чемодан с земли подыму —  
Хохотнет в кустах дрозд:  
Мне еще идти до дому  
Около восьми верст.  
Лугом не пройдешь — водяно.  
Лесом — засосет грязь...  
Родина моя, родина,  
Надышусь тобой всласть.

## ЯГОДКА

Рóщу-пасу  
Сладку ягодку в лесу.  
Всякую погодушку  
Я теперь люблю,  
Радуюсь солнышку,  
Дождики хвалю.  
Дождик идет —  
Моя ягодка растет.  
Солнышко греет —  
Моя ягодка зреет...  
А люди говорят:  
— В лесу ягод не хранят!  
В лесу ягод не паси,  
Что найдешь — домой неси! —  
Люди-то в лес-от с кузбьем бегут!

Ягодку кистями, с листьями рвут!  
Сыплют в кузбье глубокое,  
А ягодка-то белобокая!  
Я всех завидных слезно молю:  
— Стойте, не троньте радость мою!  
Дайте ей, маленькой, вырасти,  
Прежде чем рвать да домой нести! —  
А люди на своем:  
— То и наше, что сорвем!  
Уж берем, так все подряд,  
В лесу ягод не хранят! —  
...Пусто, тоскливо стало в лесах.  
Ягодку люди жмут в туесах.  
Только она не идет им впрок,  
В горлах завидных стает поперек.  
— Ай да ягодка!

# Глеб Горбовский

\* \* \*

Местопребывание:  
Земля.  
Времяпровождение:  
Эпоха.  
Поиграю в реки  
и поля  
до поры,  
пока не станет  
плохо...  
Заночую будущей  
весной  
на уютном кладбище  
России.

И склонится ветка  
надо мной,  
как-то вдруг  
по-женски  
обессилев.  
А потом я встану,—  
но не я,—  
и опять возрадуюсь погоде.  
И моя веселость,—  
не моя,—  
растворится музыкой  
в народе.

# Борис Авсарагов

## ГРУЗЧИКИ

Мое лицо  
меняет цвет:  
мы грузим уголь —  
черное лицо.  
Кирпич сгружаем —  
красное лицо.  
И белое лицо,  
когда цемент.  
Скрипит спина.  
Трещит причал.  
Простор — плечам...  
Но вот  
я претворяю в пот  
усталость.  
Горизонт  
прогнулся, словно страх.  
И накренился трап.

Кружусь — земля.  
Тружусь — земля.  
Ты в перечне моих  
забот земных,  
земля.  
Ты — тоже грузчица.  
Ты — кружишься.  
И точно как и у меня  
меняется  
твое лицо:  
оно краснеет от огня.  
От боли — белое лицо.  
От скорби — черное лицо.  
Оно смещается и множится.  
И составляется портрет.  
Один.  
Единственный портрет.

# Олег Чухонцев

## ВОСПОМИНАНИЕ

За амбаром, за сквозным забором  
На тесовой струганой скамье  
Говорим неспешным разговором  
Со старухой о жите-бытье.

День-деньской она все шьет да порет,  
Моет пол да сажит огород  
И за мукой мученской не помнит,  
Сколько лет спокойной жизни ждет.

Да и что ей, бабе деревенской,  
Что ей надо, темной да босой:  
Николай-угодник, не побрезгуй,  
Одели хотя бы колбасой!

Эх, недоля — улица да поле!  
По-крестьянски окрестила лоб  
И сложила руки на подоле:  
— Мне б теперь попариться — да в гроб.

Не забуду: пахло свежим тесом,  
И на ребра покрасневших крыш  
Падал стриж и прямо перед носом  
Круто взмыл, распарывая тшшь.

## ЗАТМЕНИЕ

Я отходил от свежей памяти.  
Не забывал, но забывался.  
Бывало, выбираясь на люди,  
Молчал да в угол забивался.

И, чай помешивая ложечкой,  
Вдруг вздрагивал, как от укола:  
То холодком кольнет под ложечкой,  
То кипятком ошпарит горло.

И обожжет напоминание,  
Когда, не подавая виду,  
Моя любовь на посмеяние  
Войдет, чтоб довершить обиду.

Она войдет в мое забвение  
И руки белые заломит,  
И, как при солнечном затмении,  
На мирозданье псы завоют.

И, расставаясь, не оглянется,  
И в пустоту уйдет, как сгинет,  
И час по часу год протянется,  
И постепенно чай остынет.

Потом тоска моя, как облако  
В мороз, рассеется из дому.  
Потом ни имени, ни облика,  
Хотел бы вспомнить — да не помню...

# Василий Казанский

## МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мы стали стары — это ничего;  
да и совсем уходим — что ж! закон  
природы.

А как полны, огромны были годы!  
Октябрь! Мы знаем первый день его.

Прошли мы строгий путь преодолений,  
невиданных, благословенных дел, —  
и нам все ближе становился Ленин,  
который так посмел и так сумел!

Но знали мы и голод, и тюрьму,  
и палачей, проклятия достойных.  
Судьба дала нам войны, войны,  
войны, —  
всего досталось нам, как никому.

Дорогу в космос пусть не нам познать,  
пускай не нам в труде поможет атом,  
но чтоб России подвиг свой поднять,  
наш вклад был бескорыстным и богатым.

# Василий Гришаев

## КРЕМЛЬ

Какая тишь!  
Бери да настраивай  
песню ветра  
в цепях крестов...  
Тут бы нашему  
Поваляеву  
развернуться  
на все на сто.

Мастерством,  
как родством,  
люди связаны.  
И кремлевская  
камневязь  
говорит  
о народном разуме,  
чем Россия твоя  
началась.

Для того  
люди Кремль сработали,  
чтоб здесь птицею  
билась мысль,  
чтобы Ленину  
красными ротами  
люди, в битву идя,  
клялись.

Тишина?  
Это только кажется.  
Никогда не молчит  
гранит.  
Вы послушайте,  
и вы скажете:  
это —  
время  
веками гудит.

# Александр Прокофьев

\* \* \*

Можно позабыть и то и это, кроме:  
Солнца.  
Русских звезд.  
Цветных лугов!  
...Танки были красными от крови  
В наши доли вторгшихся врагов!

Это выход гнева!  
Что ж, измерьте —  
Небо доставал он головой!

А зачем они пришли?  
За смертью?  
Смерть летела ширью полевой

И плясала на паучьих лапах,  
На паучьих флагах,  
А затем  
Путь держала на далекий Запад,  
Там закат дымился,  
Падал в темь!..

## ХУДОЖНИКУ

Сосна большая, корабельная  
Стучится в небо, как в окно,  
Березка рядом акварельная,  
Бери ее на полотно.

Бери беленую, российскую  
С ее зеленою волной,  
Сейчас на ней синицы цвинькают,  
Бери, лелеянную мной.

Бери, коль хочешь быть обрадован,  
С ее волшебной стороной,  
Да нарисуй ее под радугой,  
Да, если можно, под двойной!

И с той сосною корабельною,  
А чтобы стало все милей,  
То, если можно, с колыбельною  
Вечерней песнею моей.

## В ОДИН АДРЕС

ЛАПТИ

Кто сказал, что плохо,  
Если много пишется?  
Это после вдоха,  
Что дела не движутся  
У него, прилежного,  
У него, премудрого,  
И такого нежного  
И такого нудного!  
В дудочку б ему гудеть,  
В красном бы углу сидеть  
Да вполглаза (из-за скромности!)

На девушек глядеть!  
Девушки в ладошки бьют,  
Девушки ему поют:  
«Ой ты, Ванюшка-Иван,  
Нерасстеганный кафтан.  
Ваню девушки любили,  
Кашей масляной кормили»...  
Где уж, где уж тут творить,  
Зелье в три огня варить.  
На стене висят два лаптя.  
Дальше надо ль говорить?..

## КОЧЕРГА

Пиита славный, друг мой старый,  
Я думал, ты совсем затих,  
А ты опять погнал отару  
Через луга стихов моих.

Мне нравится, когда ты в гневе,  
Твоим заботам нет числа,  
И ты орлом сидишь на древе  
Познания добра и зла!

Мне нравится, когда ты ласков,  
Когда ко всем предельно мил,  
Но мнится мне: ты строишь глазки,  
Как кошка мышке.  
О, зоил!

Мне нравится — отнюдь не ново  
Скажу тебе и не солгу, —  
Мне нравится, как в строчку слово  
Ты ставишь, будто кочергу!..

\* \* \*

Верьте, верьте,  
Вот моя рука!  
Он похож  
По виду на хорька.

И не только с виду.  
Мне вдомак:

Он, друзья,  
По всем статьям — хорек!

Потому — совет мой:  
В зной, в мороз,  
Если рядом он, —  
Зажмите нос!

\* \* \*

Ох и круто, ох и круто  
Замесил народ слова,  
Как пошли они заречьем  
Поначалу, да сперва,

Как вошли они в долину,  
В чернотал и в краснотал, —  
Туча с тучею сошлись,  
Гром, что спал, —  
Зарокотал!

Ох и круто, ох и круто  
Замесил народ слова,  
Сразу стала называться  
Синевою — синева,

И — люблю — сверкнуло любо  
И осталось на устах  
Для того, чтоб кровь горела  
В расцелованных местах!

Ох и круто, ох и круто  
Замесил народ слова,  
Как найду слова-находки, —  
Так кружится голова.

На огне их обжигая  
И храню их и граню,  
А потом в народ гоною,  
А потом в народ гоною!

## ВОПРЕКИ ПОСЛОВИЦЕ

Вопреки пословице,  
Сказано стихами:  
— Давайте после драки  
Помашем кулаками!

Никогда не слышал  
И сейчас не слышать,  
Для чего ж после драки  
Кулаками махать?

После драки — так бывать:  
Надо грудь бинтовать,  
Если рот не перекошен,  
Надо песню запевать!

Да погромче, даже если  
Очень солоно во рту,  
Чтобы стало после песни  
Недругам невмоготу!

## Борис Дубровин

\* \* \*

Раздумьям надвигающимся вторя,  
Как реактивный двигатель вдали,  
Знакомое  
Трудящееся море  
Подталкивает гулко корабли.

Мы не в обиде, —  
В тесной комнатке.  
Приникли звезды к черному стеклу.  
Сын — на подушке,  
Дочь — на раскладушке,  
А мы с тобой у двери, на полу.

И задремать,  
Глаза сомкнуть обидно,  
Ведь в тот же миг  
До будущего дня  
Не станет сразу этих звезд нам видно  
И дети отстранятся от меня.

И, с полночью загадочною споря,  
Умолкнут беспокойные ветра,  
Твое дыханье  
И дыханье моря  
Прервутся  
И исчезнут до утра.

# Вера Звягинцева

\* \* \*

Обещайте мне, что вечно будет  
На земле существовать Россия,  
Не спалят ее и не остудят  
Никакие бедствия лихие.

Обещайте мне, что люди вечно  
Будут помнить Пушкина и Блока,  
Что высокий дух и жар сердечный  
Не исчезнут в пропасти глубокой.

Обещайте мне, что этот город,  
Гордо именуемый Москвою,  
Будет — вечно древен, вечно молод —  
В летних парках шелестеть листвою.

Обещайте, дайте слово, люди,  
Что не станет злобы, лицемерья.  
Я прошу вас вовсе не о чуде —  
Жить и умирать должны мы веря.

Обещайте мне, что сгинут войны,  
Будут мирными поля и реки —  
И тогда доверчиво, спокойно  
Я смогу закрыть глаза навеки.

\* \* \*

Красоты мы навидались вдоволь,  
Но не меньше горя и беды.  
До сих пор еще земля по-вдovsky  
Оттирает слез былых следы.

Но стучится, бьется в сердце радость  
Даже в пору самых трудных дней.  
Видно, горечь не сильнее, чем сладость,  
Вера недоверия сильней.

Верую не в бога — в человека,  
Пусть бывает слаб он и неправ,  
Верую в святую правду века, —  
Двигается он, жизнью смерть поправ.

Много мы тужили, горевали,  
Потеряли стольких дорогих...  
Но и на последнем перевале  
Мы стоим как будто среди них.

Неудачи, жалобы, болезни —  
Бедная беспомощная плоть.  
Дух высокий — родина и песни,  
Этого ничем не побороть.

Только одиночество и страшно,  
А на людях век бы жить да жить.  
У меня один закон всегдашний:  
Каждым добрым словом дорожить.

# Олег Дмитриев

\* \* \*

Поприбавилось люду повсюду!  
И подумалось мне в толкотне:  
«Может, это — к добру, а не к худу.  
Только может быть, это — к войне?..»  
Пусть не скоро стеснимся угрюмо  
На планете — один к одному,  
Но уже не пробьешься у ГУМа,  
Не приткнешься на пляже в Крыму.  
И на улицах и в коридорах  
Ты идешь сквозь бессчетный народ,—  
Проклиная медлительных, скорых,  
Обходя, уступая,— вперед.

Может, нужно,  
Плечом и коленом  
Слабосильных сдвигая с пути,  
Современным таким суперменом  
Ледокольно по жизни идти?  
Или так, как бывает с гостями  
За случайным и скудным столом,  
Улыбаясь, работать локтями,  
Элегантно идя напролом?  
В этом — суть многолюдного века?  
Или в том его главная суть,  
Чтоб в толпе не толкнуть человека?  
Человека в толпе не толкнуть!

\* \* \*

Кричу в порыве откровенья,  
Что не вернуть ушедших дней,  
Что вьется долгий снег забвенья  
Над первой женщиной моей!  
Он заметает понемногу  
Свинцовый блеск ночной воды,  
Степную белую дорогу  
И виноградников ряды.  
Он заглушает, мягкий, плотный,  
Простое тиканье цикад  
И ближний городок курортный,  
Где джазы весело гремят.  
И в этой тихой круговерти,  
Непостижима и бледна,  
Меня почти по грани смерти  
Проводит бережно она.  
Я замечаю, воскресая,  
Что я один среди камней,  
А на дороге — тень косая,  
Тень первой женщины моей.  
Колеблются другие тени,  
И различаю я с грудом,

Как входим мы потом в смятеньи  
В давно уснувший белый дом,  
Как мы прощаемся у входа...  
А дальше — снегом занесло,  
И застудила непогода  
Неверной памяти стекло.  
Уже полузабыты лица  
Товарищей ушедших дней,  
И снег забвения кружится  
Над первой женщиной моей.  
Она идет вдоль снегопада,  
Как за высокою стеной.  
Кричу: «Зачем ты там? Не надо,  
Тебе же холодно одной...»  
Проходит женщина, не слышит  
И не протягивает рук.  
На пальцы тонкие не дышит:  
Там море, там тепло, там юг...  
Она за белою чертою  
Мне стала ближе и родней,  
И с запоздалой добротой  
Я долго думаю о ней.

# Нина Бялосинская

## СОЛОВЬИ

Вы не забыли,  
не забыли?  
А может, не слышали вы,  
когда не пели,  
нет, не пели —  
в набаты били соловьи?

Я их услужала нечаянно.  
Тогда мне было не до них.  
Но соловей запел отчаянно,  
и лес прифронтной притих.  
Он иступленно цел и лихо  
мою судьбу,

мою беду.  
Не прилетала соловья.  
И я стояла одиноко  
у батальона на виду.

И двадцать весен...

Вы поймите,  
что соловьи-то говорят,  
зачем  
на самой верхней ноте  
еще звучит  
глухой  
набат.

\* \* \*

Зеленоватый медленный закат.  
В его лучах тревожная Венера  
одна,  
беспомощна,  
как полумера.  
Так холоден закат  
и так покат.

Навстречу ей простерты фонари  
вся Москва  
и пригородов тоже.  
Они пылают той же самой дрожью:  
— О, если ты — звезда, заговори!

Она — звезда.  
Но все молчит.

Робеет.  
Со звездами привыкла говорить.  
А фонарям как душу отворить?  
Вон этим,  
что в такой дали рябеют.

Рябеют.  
Ничего не поняла.  
На тусклом фоне меркнувшего дня  
какая воля разом подняла  
потоки рукотворного огня?  
О черт тебя, Венера, побори!  
Пожалуйста,  
все силы собери —  
пойми, о чем пылают фонари.  
И если ты — звезда,  
заговори!

# Владимир Гордиенко

## НА ВЕНЕРЕ

Приближается эра  
Межпланетных путей.  
Скоро встретит Венера  
Иностранных гостей.

В ярко-желтом тумане  
Среди огненных вод  
Любопытный землянин  
По Венере пройдет.

Непочат,  
Непричесан  
Этот мир до поры.  
Он не кланялся косам,  
Не был взят в топоры.

Здесь под небом,  
Лишенным  
Искроглазых светил,  
Жизни пульс напряженный  
Набирается сил.

Через тысячелетья,  
Через таинства сред

И на этой планете  
Выйдет разум на свет.

Молодыми ростками  
Он пробьется с трудом,  
Чтоб качаться веками  
Между злом и добром.

К злу качнется —  
И сразу,  
Как у нас на Земле,  
Власть железных приказов,  
Топот войск по золе.

Дымный грохот обстрела,  
Стон стынувший ритм...

Неужели Венера  
Это все повторит?

Или род человеческий  
Щедрой кровью своей  
Наперед обеспечил  
Избавление ей?

# Юрий Окунев

## ИЗ СИБИРСКОЙ ТЕТРАДИ

### ТЮМЕНЬ ВПЕРВЫЕ

Мне многое в Сибири стало ясным.  
Все сказки опровергла ты, Тюмень.  
Где чистолюй тот, что придумал басни  
Про вековую дремлющую лень?

Ведь это ложь, что в медленной повадке  
Весь облик твой, сибирская душа.  
Кидаются тюменцы без оглядки  
К стихам, все на пути своем круша.

Я опьянен таким переполохом:  
Тюменский книготорг, ты не зевай:  
Все закупить — от земляков до Блока —  
Готовы здесь — давай стихи, давай!

Давай, давай, поэзия, работай!  
Как хлеб насущный ценится талант.  
Бросают здесь поэтов с вертолета!  
И принимают радостно десант.

# Руфь Тамирина

## МОИМ ПОДРУГАМ

*Памяти нашей соотечественницы Матери Марии, героини французского Сопротивления, погибшей в Равенсбруке весной 1945 года*

... А мы — настоящие женщины!  
И что бы о нас ни болтали,  
нам теми, другими, завещаны  
все радости и печали —  
и теми княгинями русскими,  
девически хрупкими, нежными,  
что в каторгу ехать не струсили  
и там оставались прежними.  
И теми курсантками с косами,  
которые комиссарили,  
юными и курносыми,  
пылающими как зарево.  
И теми, в косынках алых,  
как алые паруса,  
плясуньями, запевалами,  
что резали правду в глаза.  
А после и нас поднимала  
на гребень высокий волна.  
На гребень, где самая малость  
неправды и фальши видна.  
Девически хрупкими, нежными  
ушли мы в окопы войны,  
но там оставались прежними,  
себе повсюду верны.  
Мы провожали любимых  
на жизнь и на смертный бой  
и погибали с ними,  
их заслоняя собой.  
Потом, словно птица Феникс,  
рождались вновь из беды,  
как Афродита из пены —  
богинями красоты.  
Не той, для которой оправа  
меха, шелка и цветы,

а той, которой по праву  
мужчины дарят мечты,  
сердца, и дела, и души —  
всей жизни своей полет.  
Которая жизнь не рупит,  
а заново создает!

Пускай седину мы прячем,  
пускай не врут зеркала,  
но, радуясь или плача,  
мы знаем, что жизнь — светла.

И вот мы стоим, девчонки  
(... за тридцать — под сорок пять...),  
читаем стихи негромко,  
хоть некогда нам читать.  
И мы не стесняясь плачем  
над горькой, высокой судьбой —  
она не могла иначе,  
и всюду была собой —  
в осенней квартире Блока,  
в парижском монастыре,  
у равенсбрукского блока  
на смертной своей заре,  
та женщина, Мать Мария,  
Мария, Мадонна, звезда...

Ах, что бы ни говорили  
о нас — ну что за беда!  
Пускай языками плещут,  
кому не дано понять,  
что мы настоящие женщины,  
девчонки под сорок пять!

# Сергей Васильев

## ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ТЕТРАДИ

### У МОГИЛЫ КЕННЕДИ

За что его убили?  
За мудрость, за резон,  
за трезвость взгляда или  
за правду рухнул он?

Кому был негоден?  
Чья месть приберегла  
лжецов из подворотен,  
убийц из-за угла?

Течет река людская,  
у горькой высоты  
печально опуская  
безмолвные цветы.

Нет нации покоя  
у этих строгих плит.  
Тут что-то есть такое,  
что совесть шевелит.

Он с честными живыми  
связал себя навек.  
Трагическое имя,  
достойный человек.

Налево и направо —  
открытых душ стена.  
Великая держава,  
жестокая страна.

### АНАСТАСИЯ

*(Письмо за океан)*

С Новым годом, Анастасия!  
С полной радостью!  
С ясным днем!

Пусть услышится Вам Россия  
в благодарном письме моем.  
Без дешевенького пошиба  
и без медных словес-литавр  
я хочу Вам

сказать спасибо,  
обаятельный бакалавр!  
Сколько жить я на свете буду  
долгих зим и коротких лет, —  
знаю точно:

не позабуду  
Колумбийский университет.  
Там,  
под сводами голубыми,  
где учености через край,

россиянское Ваше имя  
обозначилось невзначай.  
Там Вы явственно

и чеканно  
в назидательной тишине  
мысли чопорного декана  
излагали по-русски мне.  
Вождь славистского факультета  
восхвалял своих взрослых чад,  
как они понимают Фета,  
как глаголы его звучат.  
Как усидчивые студенты,  
приспособясь часы беречь,  
при посредстве магнитной ленты  
Достоевского учат речь.  
В чем

(на всем протяжении года!)  
успеваемости секрет,



# Игорь Грудев

## В ПОЛЕ

Семена —  
они подпольщики  
В разгулявшийся мороз...  
Ну а после  
вешних гроз —  
И трава,  
и колокольчики,  
И — серебряный овес...

## ШУТКА

Мчат поезда,  
Летят ракеты.  
Ты их попробуй  
обойди, —  
В них  
ездят лучшие поэты...  
А «Медный всадник» —  
впереди!

\* \* \*

В нем твердость,  
А порою —  
зыбкость,  
Твердит он:  
«Быть  
или  
не быть?..»

Да,  
он имеет  
Лука гибкость,  
Чтоб прямою стрелы  
разить!

\* \* \*

Как бубенцы  
Летят сосульки  
колкие,  
Звенит капель,  
Усталости не зная:  
Разбился нынче  
в небе  
Солнца колокол  
На сотни  
Колокольчиков  
Валдая.

# Евгений Винокуров

\* \* \*

Мне б вывернуться наизнанку,—  
Как искренним я быть хочу!..  
Так в ночь кодируют морзянку,  
Глухому так кричат хрычу!  
Лицо. Мое лицо! Не маска.  
А ну дерзни-ка,— нараспах!..  
Вранье тягуче, как замазка,  
Все вязнет на моих зубах.  
Закружен как коловращеньем.  
Тошнит, как от гнилой трески!  
Выплываю с отвращеньем  
Как будто легкого куски!  
У искренности нет маршрута.  
Ее тяну я — поддержи! —  
Из поджелудочной, оттуда,  
Из глубины, от железа.

Как Дон-Кихот,— в любых беседах,  
Мощь испытать на ветряках!..  
Чтоб все вот так, а я вот этак,  
Смотрите, нате,— вот я как!  
Той искренности подноготной  
И самой подлинной хочу,  
Ненужной, никуда не годной,  
Той, что и мне не по плечу...  
Как чистая вода под ряской,—  
Я б пил, рукою отведаю..  
Той и бестактной и дурацкой!  
Хочу я, будто бы дитя!  
Той, что мне, может, станет ямой,  
Той,— что как встану ото сна!..  
Хочу ее одной, той самой,  
Что — вот настолько — не нужна.

## ТЕЛО

Прямо, поступью чеканной,  
Словно бы солдат с поста,  
Появляется из ванной  
Голая кинозвезда.  
И стряхнуть не слясь воду,—  
Ей лавровый бы венок!—  
Демонстрирует народу  
Оголенность нагих ног.

Вопли богословских споров!  
Тыщи лет: «Хула! Хула!..  
С колоколен всех соборов  
Дико бьют колокола.  
В кружку падают динары.  
Братия бредет, боса...  
Тело хают кардиналы,  
Руки вскинув в небеса!

Женское блистало тело  
На постелях.  
Не в гробах...

То белело, то желтело  
Через вырезы рубах.

Телу этому рожать бы!  
Обнажается, дабы  
Загореть во время жатвы  
И во время молотьбы.  
К сорока годам увянув,  
У дородной попадьи  
Тело прет из сарафанов,  
Как опара из бадьи.

К открыванию Америк  
Подготовлены юнцы.  
А на теле от бретелек  
Темно-красные рубцы.

Голая поет на нарах  
Женщина во весь барак!..

В изумрудах и опалах  
Плечи дамы на балах.

У зола переняла! —  
Ножка ножку бьет хитро...  
А из пены пенюара  
Грудь круглится как ядро.

Вот у волейбольной сетки  
Встала в трусиках с мячом,  
И две оспинки-отметки  
Между локтем и плечом.

О, цветок кафешантана!  
Все мужчины без ума!  
Черта, дьявола, шайтана  
Нету ли на лбу клейма?

При стечении округи,  
При стечении большом  
Вьется баядера, — руки  
Вскидывает, — голышом.

В женские тела, как в реки,  
Входят. Но ведь как богам  
Древние молились греки  
Шеям, бюстам и бокам!  
Здесь величью нет предела!  
Глянь сквозь слезы, не дыша!  
Разве же в изгибах тела  
Не скрывается душа?  
Все от пят до самых дланей  
На холстах отражено...  
Скотство низменных желаний  
Все ж таки таит оно,  
Обнаженное несмело,  
Девочек, теток, молодых  
Предано проклятью телом!..  
Вечно восхваляем дух.  
Дух! Тебя встречать осанной!  
Плоть! Тебе позор всегда!..

Почему ж идет из ванной  
Нагло так кинозвезда?!

## ЗРЕЛИЩА

Ты незаметно все-таки созреешь  
Для постиженья острой новизны.  
Ты ночью возвращаешься со зрелищ,  
Ты будешь спать. Ты будешь видеть сны.

Я полагаю, нету балагана  
Пестрей, чем жизнь. Я в памяти припас  
Гром мотоциклов, пафос барабана,  
Веселость масок и тоску гримас.

Я говорил: и если ты не робок  
И если не боишься пестроты,  
Иди вперед. Есть много в жизни тропок.  
Иди по ним и... только ахнешь ты!

Вот мы живем. Немножко что-то ноим:  
Все, дескать, будни. Нету их мелей.  
Вдруг зрелище: выносятся прибором  
Сверкающие чудища морей.  
Доводит до безумья страсть иная.  
Я зрелищ раздражающих алкал,

От гонок мотоциклов начиная  
До комнаты кривлявшихся зеркал.

И зрелища передо мной плясали.  
То яркость охр, то желтизна мастик!  
И, как картошка жарится на сале,  
Шел треск от фейерверков и шутих.

И подползали зрелища, как звери,  
И делали вокруг меня круги.  
Глаза сверкали. Пасти розовели.  
Приоткрывались медленно клыки.  
А скоморохи выставляли рожки,  
То хохот, то тоску изображая.  
Я наблюдал процессии — и строже  
И чопорней вообразить нельзя!

Чего-чего, а зрелищ было много!  
Смешней, чем цирк, страшнее, чем  
расстрел.

В сообществе с людьми — не одиноко —  
И я на эти зрелища смотрел.

Толпа как тесто — нет трудней замеса...  
Взбегает в небо планер по жнивью.  
Клубится литургия, стонет месса.  
И в юбочках выходит «Айс-ревью».  
Был стадион пестрее, чем саванна.  
Плясал мулат, сняв шапокляк, в бистро.  
Вот зрелище ночного котлована —  
Все в огоньках гигантское нутро!  
Как мы тогда во все глаза глазели.  
Я так же изумлялся, как и все.  
И я летел, кренясь, на карусели.  
На чертовом кружился колесе.

Китайские на стенах ходят тени.  
На ринге клоун прыгает — носат.  
Миг — и балет классический на сцене  
Спускается, как авиадесант!  
И все казалось мало, мало, мало.  
Я всасывал в глаза свои балет.  
Тогда администрация взимала  
Уж четвертную плату за билет!  
Бежали кони группкой разномастной.  
Мы, вымокшие, жались у перил.  
И, словно тяжкой схватываем астмой,  
Я воздух ртом в отчаянье ловил.  
Нам что! А им, актерам, может стать ся,  
Невозмогу. Так за верстой версту  
Шла женщина дорогой трудной танца  
В сверкающей тунике и в поту.

Мы ежились на зрелищах, как в душе.  
Бежали к ним, как в поле, как в леса.  
И зрелища нам раздирали души  
И подымали дыбом волоса.  
Но все-таки есть и дрянной народец,  
Что ожидает, стоя вдалеке:  
Когда ж сорвется вдруг канатоходец,  
Когда ж пилот не выйдет из пике?

Но есть на свете зрелища за гранью,  
Как говорится, и добра и зла.  
Гремит киргизский праздник козлодранья,  
И кровь толчками хлещет из козла.  
Я верую в необоримый тезис,  
Что этот мир был создан напоказ!  
Я видел как-то, с самолета свесясь,  
Извилистый, как будто мозг, . Кавказ.  
И на глаза не надевая шоры,  
Я жил. Входи! Давай,— билет купи!  
Мои глаза как будто два обжоры  
Все сладко пожирали на пути.  
Но фильм подчас закрутят в десять серий!  
И мы почти уж падаем без чувств  
При зрелище немислимых мистерий,  
Публичных таинств и святых кошунств.  
Чуднее свадеб и ужасней боен.  
Тянулся, как слепец к поводырю!..

Закинув руки, средь травы, спокоен,  
Сейчас я в небо чистое смотрю.

\* \* \*

Что там ни говори, а мне дороже  
И все милее с каждым годом мне  
И ритм деревьев, зябнущих до дрожи,  
И ритм капли на моем окне...  
И оттого, что сущность мира скрытна  
И до сих пор темна еще она,  
Нам истина того простого ритма  
Как истина последняя дана.

# Леонид Завальнюк

\* \* \*

Я не свободен от любви к тебе.  
От любованья медленным закатом,  
Что, как росой, слезами весь закапан,—  
Избушка, клен и аист на трубе!..  
Я не свободен.  
Клекот журавлей  
Меня ввергает в странную зависимость  
От сна, от плодородия полей,  
От писем, не дописанных до точки,  
Где обещанье счастья в каждой строчке,  
Где на конверте синие цветочки,  
А в адресе — поющий соловей.  
Я не свободен от любви к друзьям,  
От их вершин прекраснейших и ям.  
Я не свободен!  
Множество вещей  
Меня железной цепью приковали.  
Ах, как они меня критиковали,  
Безжалостно терзая, как Кощей!  
Но все же, не бросая тяжкий груз,  
Я говорю:  
— Будь славен наш союз!  
О несвобода —  
Сладкая ранимость,  
Дарованная мудрою рукой!  
Я осознал твою необходимость,  
И в том моя свобода и покой!

# Вадим Сикорский

\* \* \*

Долгие пустые песнопенья  
не дослушав, покидаю зал.  
А хватило б у меня терпенья,  
я б за век ни слова не сказал.

В сотни атмосфер давленьем чувство  
Нагнетается в душе — держись!  
Тут не до симфоний, взрыв — и пусто.  
Пепел опускается всю жизнь.

\* \* \*

Зачем в моем могучем теле  
душа чувствительнее глаз:  
кричу я, если чуть задели,  
обидели — и свет погас.

Так суждено от сотворенья.  
С творцом рядиться — зря страдать.  
Боль — вечная цена прозренья,  
Без всяких скидок. Как отдать.

# Сергей Смирнов

## РОДИНЕ

Не стремлюсь красоваться ретиво  
И во всем —

отвергаю отбой.

Я работник агитколлектива,  
Учрежденного

лично тобой.

Персонально друзей выбираю  
И не всех приглашаю к столу.

Обстановка

переднего края

Мне дороже позиций в тылу.

Поощряли меня

и ругали, —

Формируется твой рядовой.

И тобою врученных регалий

Мне,

ей-богу,

хватает с лихвой.

И покада совсем не устану,

Буду

в деле

видней и видней.

Буду службу нести по уставу

Добровольца сегодняшних дней.

Буду в космос готовиться даже,

По-земному сердечен и строг, —

Рядовой

довоенного стажа,

Командир наступательных строк.

## ТОПОЛЬ

Он —

обезглавлен,

обезручен

У горожан и у сельчан.

Но

рвется в небо —

К ветру,

К тучам,

К целебным

солнечным лучам,

И вновь кипит —

В аллеях сквера

И у дорожной колеи,

Листвой гигантского размера

Прикрыв

увечия свои.

## БЫЛОЕ ПОЛЕ БРАНИ

Вот оно,  
    былое поле брани.  
Высота.  
Внизу болотный чад.  
Доты, будто в рот воды набрали,  
Мрачно  
    и хронически молчат.

А в зените  
    птицы всей округи  
Свищут знойно, дружно, озорно,  
Словно славят —  
    борозды, и плуги,  
И людей, лелеющих зерно.

## ВЕСЕЛАЯ ГРУСТЬ

Пришел,  
    пришел, пожалуй, слишком рано  
ты,

Бескомпромиссный возраст седины.  
И нам  
    твои верительные грамоты  
Без лишних церемоний вручены.

Ну что ж,  
    давай налаживать содружество,  
Всю неприязнь развеем у ворот.  
Пусть  
    эликсир  
    иронии и мужества  
Врачует душу, словно кислород...

Пусть кто-то юный  
    лих на словопрения  
И жаждет славы, как служитель муз,—  
А слава,  
    при ближайшем рассмотрении,  
Довольно скоропортящийся груз.

Мы носим грусть и кудри цвета сизого,  
Почем фунт лиха,  
    знаем по себе.

Но если что —  
Швырнем перчатку вызова  
В лицо  
    так называемой судьбе.

И если нужно,  
    даже стукнем по столу,  
Кого хотим — возьмем за удила.  
И пусть на нас  
    иные литапостолы  
Заводят персональные дела...

Не сникли.  
    Не остыли.  
    Не отрезали.  
Творим и утверждаем бытие.  
Мы атомодобытчики поэзии,  
А не скупые рыцари ее.

# Андрей Вознесенский

## ПЛАЧ ПО ДВУМ НЕРОЖДЕНЫМ ПОЭМАМ

Аминь.  
Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!  
Хороним.  
Хороним поэму. Вход всем посторонним.  
Хороним.

На черной вселенной любовниками отравленными  
лежат две поэмы,

как белый бинокль театральный.

Две жизни прижались судьбой половинной —  
две самых поэмы моих

соловьиных!

Вы, люди,

вы, звери,

пруды, где они зарождались в Останкине,—

в с т а н ь т е!

Вы, липы ночные,

как лапы в ветвях хиромантии,—

встаньте,

дороги, убитые горем,

довольно валяться в асфальте,

как волосы дыбом над городом,

вы встаньте.

Раскройте, гробы,

как складные ножи гиганта,

вы встаньте —

Сервантес, Борис Леонидович, Данте,

вы бы их полюбили, теперь они тоже останки,

встаньте.

И вы, член президиума товарищ Гамзатов,

встаньте,

погибли поэмы, незаменимо это,

и это не менее важно, чем речь

на торжественной дате,

встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто и прямо,  
встань, мама.

Вы встаньте в Сибири,

в Париже, в глухих городишках,



## ИЗ ЗАКАРПАТСКОГО ДНЕВНИКА

### 1

Я во Львове. Служу на сборах  
в красных кронах, лепных соборах,  
там столкнулся с судьбой моей  
лейтенант Загорин, Андрей.

Даже Андрей Андреевич, 174, 1933. Сапог 42. Он дал мне  
свою гимнастерку. Она сомкнулась на моей груди, тугая,  
как кожа тополя, и внезапно над моей головой зашумела  
чужая жизнь, чужая судьба, как шумят над головой листья...  
«Странно!» — подумал я.

Собирались мы у Загориных. Ул. Толбухина, 34, 5-й этаж.

Ну и ночи! Шло застолье.

Ночь плыла.

Женщина, сближая нас и ссоря,  
стройно нагибалась у стола.

Здесь, мешая Маркса с Авиценной,  
спирт с вином, с Луной Целиноград,  
о России рубят офицеры!

А Загорин мой — зеленоглаз.

И как фьры огненные манят,  
из его цыганского лица  
вылетал сжигающий румянец  
декабриста или чернеца.

Так же, может, Лермонтов и Пестель,  
как и вы, сидели, лейтенант.

Смысл России

исключает бездарь!

Тухачевский ставил на талант.

Если чей-то череп застил свет—  
вы навывлет прошибали

череп

и в свободу глядели через,  
как глядят в смотровую щель!

Но и вас сносило наземь косо,  
сжав коня кусачками рейтуз.

«Ах, поручик, биты ваши козыри!»

Крюю сердцем — это пятый туз!

Огненное офицерство!

Сердце — ваш беспроигрышный бой.

Амбразуры закрывает сердце,  
гибнет

от булавки болевой.

Я служил в листке дивизиона.  
Польза от меня дискуссионна.

Я вел письма, правил опечатки.  
Кто только в газету не писал  
(графоманы, воины, девчата,  
отставной сержант Нравоучатов),  
я всему признательно внимал.

Мне писалось. Начались ученья.  
Мчались дни.  
Получились строчки о Шевченко.  
Опубликовали. Вот они:  
(«Слава Родины», 16.IX.65)

### СОН ТАРАСА

И снится страшный сон Тарасу.  
Кусищем воющего мяса  
сквозь толпы,  
улицы,  
гримасы,  
сквозь жизнь, под барабанный вой,  
сквозь строй ведут его, сквозь строй!

Идет поэт сквозь страшный вой —  
«кто плохо бьет — самих сквозь строй».

Спиной он чувствует удары:  
Правофланговый бьет удаю.  
Друзей усердных слышит глас:  
«Прости, старик, не мы — так нас».

За что ты бьешь, дурак господеи?  
За то, что век твой безысходен!  
Жена родила мертвяка.  
Кругом долги. И жизнь тяжка.

А ты за что, царек отечный?  
За веру, что ли, за отечество?  
За то, что перепил, видать?  
И со страной не совладать?

А вы, эстет, в салонах куксясь?  
(Шпицрутен в правой, в левой — кукиш.)  
За что вы столковались с ними?  
Что смял я то, что вам не снилось?

«Я понимаю ваши боли,—  
сквозь сон он думал,— мелкота,  
мне не простите никогда,  
что вы бездарны и убоги,

вопит на снеговых заносах,  
как сердце раненой страны,  
мое в ударах и занозах  
мясное  
месиво  
спины!

Все ваши боли вымещая,  
эпохой сплюсненных калек,  
люблю вас, люди, и прощаю.  
Тебя я не прощаю, век.

Я верю — в будущем, потом...»  
Удар. В лицо сапог. Подъем.

## ЗОВ ОЗЕРА

*Памяти жертв фашизма*

...Певзнер 1903, Сергеев 1934, Лебедев 1916,  
Бирман 1936, Бирман 1941, Дробот 1907...

Наши кеды как приморозило.  
Тишина.  
Гетто в озере. Гетто в озере.  
Три гектара живого дна.

Гражданин в пиджачке гороховом  
Зазывает на славный клев.  
Только кровь  
на крючке его крохотном,  
Кровь!

«Не могу,— говорит Володька,—  
А по рылу могу,  
Это вроде как  
не укладывается в мозгу.

Я живою водой умоюсь,  
Может, чью-то жизнь расплещу,  
Может, Машеньку или Мойшу  
Я размазываю по лицу.



# Юнна Мориц

## НА СМЕРТЬ ДЖУЛЬЕТТЫ

Опомнись! Что ты делаешь, Джульетта?  
Освободись, окрихни этот сброд.  
Зачем ты так чудовищно одета,  
Остра, отпета — под линейку рот?

Сестра моя, отравленная ядом  
Кровавой тяжбы, скотства и резни,  
Одумайся! Не очерняй распадом  
Судьбы своей блистательные дни.

Нет слаще жизни — где любовь крамольна.  
Вражда законна, а закон — бесстыж.  
Не умирай, Джульетта, добровольно!  
Вот гороскоп: наследника родишь.

Не променяй же детства на бессмертье  
И верхний свет на тучную свечу.  
Всё милосердье и жестокосердье —  
Не там, а здесь. Я долго жить хочу!

Я быть хочу! Не после, не в веках,  
Не наизусть, не дважды и не снова,  
Не в анекдотах или в дневниках,  
А только в самом полном смысле слова!

Противен мне бессмертия разор.  
Помимо жизни, все невыносимо.  
И горя нет, пока волнует взор  
Все то, что, в общем, скоротечней дыма!

## ОСЕННЯЯ ОКРАИНА

1

Дожди зарядили недель на пятнадцать.  
Уже не доносится свет из окна.  
Душа задремала, как лошадь в дороге,  
Ушами прядет и плетется она.

В лесу пробегают рогатые тени,  
Корявое солныце в тумане цветет.  
Лошадка во сне поднимает копыта,  
И голову клонит, и окрика ждет.

Не слышно ветвей за оградой садовой.  
Плетется душа по земле. И порой  
Мне кажется, я никогда не сумею  
Добраться от первой строки до второй.

2

Вот сочиненье улицы небесной  
(Его легко запомнить наизусть!).

Свистит в глубокой тишине древесной  
Родная пятимесячная грусть.

Настолько эта песенка отважна  
И беспризорной нежностью жива,  
Что никому из нас уже не важно,  
Какие там развешаны слова,  
Что за бродяжка их пересказала  
Воловьей жилке поперек груди.  
Померкли циферблаты у вокзала:  
Под стеклами расплющены дожди.

А за чертой тумана городского,  
Где ветры веют вместо сквозняков,  
Меж бирюзью Суздаля и Пскова,  
Над холодом волнистых родников  
Виднеются загадочные тени  
Толпой и в одиночку, много дней.  
Быть может, это — прошлое растений.  
Возможно, дым охотничьих огней.

\* \* \*

Воздух пахнет прогулом уроков,  
Земляничкой, скотиной живой,  
И пирушкой с картошкой с укропом  
На пригорке с прозрачной травой.

Словно погреб, каштановым пивом  
Пузырится корявый овраг.  
И опметками льда над заливом  
Шелестит размороженный мрак.

У купальщика в коже гусиной  
Полотенце на шее — узлом.  
Он лежит с вислоухой псиной,  
Награжденный животным теплом.

Понижение нормы словесной  
В данном случае — признак того,  
Что блаженством, как силой небесной,  
Все настигнуты — до одного!

И пророчье какое-то русло  
Лечит горести всяких систем.  
В это время на кладбищах пусто,  
Посетителей мало совсем.

## СНЕГОПАД

Снега выпадают и денно и ночью,  
Стремятся на землю, дома огибая.  
По городу бродят и денно и ночью  
Я, черная птица, и ты, голубая.

Над Ригой шумят, шелестят снегопады,  
Утопли дороги, недвижны трамваи.  
Сидят на перилах чугунной ограды  
Я, черная птица, и ты, голубая.

В тумане, как в бане из вопля Феллини,  
Плывут воспарения ада и рая,  
Стирая реалии ликов и линий.  
Я — черная птица, а ты — голубая.

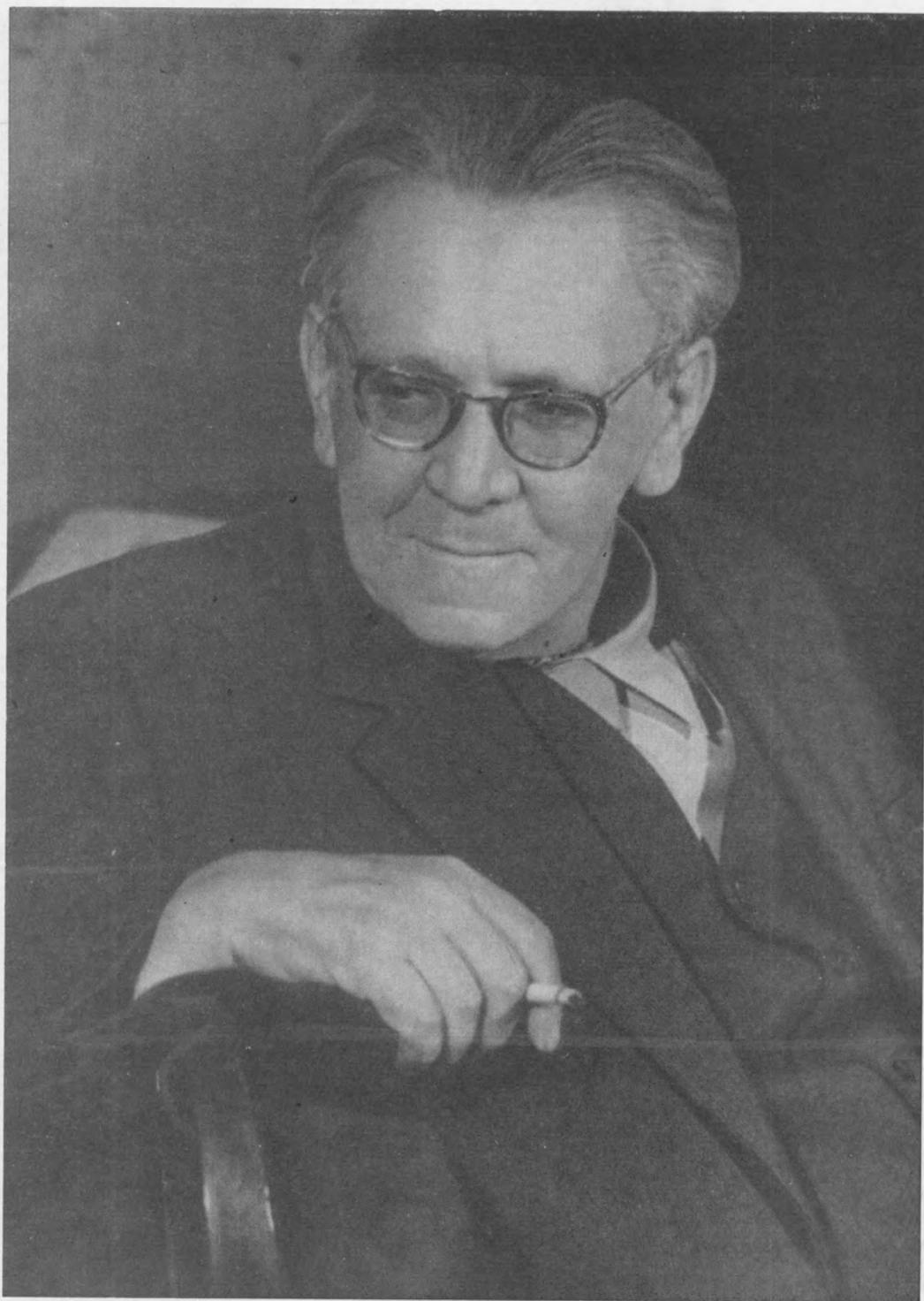
Согласно прогнозу последних известий,  
Неделю нам жить, во снегах утопая.

А в городе вести: скитаются вместе  
Та, черная птица, и та, голубая.

Две птицы скитаются в зарослях белых,  
Высокие горла в снегу выгибая.  
Две птицы молчащих. Наверное, беглых!  
Я — черная птица, а ты — голубая.

Качаются лампочки сторожевые,  
Качаются дворники, снег выгребая.  
Молчащие, беглые, полуживые,  
Я — черная птица и ты — голубая.

Снега, снегопады, великие снеги!  
По самые горла в снегу утопая,  
Бежали и бродят — ах, в кои-то веки —  
Та, черная птица, и та, голубая.



*Самуил Яковлевич Маршак*



*Анна Андреевна Ахматова*

# Ирина Волобуева

\* \* \*

*Памяти Анны Ахматовой*

Как бы музы взлетами ни бредили,  
Вдруг зарницы гаснут впереди...  
Поэтессы умирают, словно лебеди  
Скрещивая крылья на груди.

Обласкав до листика единого  
Мир земной, уходят в землю спать,  
Оставляя песни лебединые  
Для живущих —  
вечно трещетать.

# Яков Аким

\* \* \*

Сквозь трепет солнечных пылинок  
Шагнуть однажды за порог,  
Глотнуть настойки тополиной  
Среди бензиновых паров,

Без сожаления отбросить  
Привычек тягостный запас  
И, с глаз откидывая проседь,  
Увидеть город — в первый раз!

И вдруг исполнятся значенья  
Гараж и кадка во дворе,  
Мерцающей листвы свеченье,  
И вывеска «Плиссе-гофре»,

И негр, шагающий с портфелем,  
И скверика полукольцо,  
И солнцем тронутое еле  
Нездешней женщины лицо.

Как чистая струна Амати,  
Звуча на разные лады,  
Поет монетка в автомате  
Для газированной воды.

Все, все другое: лица, звуки,  
Вопрос неожиданный и ответ...  
И все само дается в руки  
И вновь рождается на свет.



## АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Почему-то, почему-то  
Мы зовем цветы глазами,  
В честь какой-то там Анюты,  
А какой — не знаем сами.

Почему-то, почему-то  
Мы вещам даем названья  
Необдуманно и круто,  
Без причин и основанья.

Почему-то, почему-то  
Мы привыкли к пустословью  
И порой каприз минутный  
Мы спешим назвать любовью!

Почему проходят мимо  
Одинокие недели?  
Ты назвал меня любимой,  
Так люби на самом деле!

## Константин Алтайский

### ПРОЗВИЩЕ ТАКОЕ — ПТИЦА

По утрам он пел по-птичьи,  
Чистил горло — будь здоров! —  
По-скворечьи, по-синичьи  
Вел мелодию без слов.

Снег ли бил с размаху в ставни,  
Дождь ли заливал весь двор,  
Не сменив привычки давней,  
Пел он, злу наперекор.

Пел, щавель на щи собирая,  
Пел, срезая боровик.  
Скажут: жил не унывая  
Этот песенник-старик.

Пел... Сквозь душное злословье,  
Сквозь угарный чад угроз  
Он душевное здоровье  
В простодушной песне нес.

Пеньем он душил страданье.  
И никто-никто не знал,  
Как он слезы непризнанья  
В одиночестве глотал.

И не ведали соседи,  
Сколько он, без спеси прям,  
В жизни выдюжил трагедий,  
Перенес тяжелых драм.

Ведь во всей Руси лишь горстке  
В двадцать — тридцать человек  
Верилось, что Циолковский  
Обгоняет мыслью век,

Что найдут в его наследстве  
Всей как есть Земли удел...  
...Птицей звали его в детстве.  
Он до самой смерти пел.

# Илья Сельвинский

## ДУЭЛЬ

Дуэль... Какая к черту здесь дуэль?  
На поединке я по крайней мере  
Увидел бы перед собою цель  
И, глубину презрения измерив,  
Как Лермонтов бы мог ударить вверх  
Или пальнуть в кольчужницу, как

Пушкин.

Но что за вздор сходиться на опушке  
И рисковать в наш просвещенный век!  
Врагу сподручней просто кинуть лассо,  
Желательно тайком, из-за стены,  
От имени рабочего-де класса,  
А то и православной старины.

Отрадно видеть, как он захлебнется,  
Вот этот ваш прославленный поэт,  
И как с лихой осанкой броненосца  
Красиво тонет на закате лет.  
Бушприт его уходит под волну,  
Вокруг всплывают крысы и бочонки,  
Но, подорвавшись, он ведет войну,  
С кормы гремя последнею пушчонкой.  
Кругом толпа. И видят все одно:  
Старик могуч. Не думает сдаваться.  
И потому-то я иду на дно  
При грохоте восторженных оваций.

Дуэль... Какая к черту здесь дуэль!

## МОЙ ДРУГ, ПОЭТ

Мой друг — поэт. Он стар. Он сделал все,  
Что требовали музы от него.  
Громоздкое фортуны колесо  
Не принесло ему ни одного  
Безоблачного дня. Большой художник,  
Работал он, как бондарь, как сапожник,  
Оплеванный отравленной слюной.

Однажды он открылся предо мной:

«Иду, никого не трогаю,  
Шагаю своей дорогою.  
Но люди, играющие первую скрипку,  
Не зная, как держать смычок,  
Ненавидят мою улыбку,  
Хоть я

в себе  
подавляю смешок».

Так жизнь прошла. Промчалась  
кинолентой.  
Он бронзовел. Он стал уже легендой.

Остерегался в зеркало смотреть,  
Не вслушивался в перебой сердца.  
А чтобы приручить старуху смерть,  
Придумал он теорию бессмертья.

И вдруг в него влюбилась молодая  
Курносенькая женщина. Сперва  
Он не поверил ей. Она, рыдая,  
Шептала заповедные слова,  
Клялась ему. Но он с упорством зверя  
Нахохлился, уже себе не веря.

Потом она уехала. Далеко.  
Исчезла в буре самолетных крыл.  
Навеки разлучала их дорога.

Мой друг сидел в качалке и курил.  
Стояла осень. Облака серели.  
В окне торчали сучья, как кресты.  
Но в комнате пронесся дух сирени,  
Запели славки, чижики, клесты!  
Все это было в маленьком конверте...

Один закон в природе всех планет:  
Против любви,  
как и против смерти,  
Защиты нет.

А муж узнал. И показал натуру:  
Хрипит захлебывающийся лай!  
Ну что ж. Брани Петрарку за Лауру,  
За Беатриче Данта обругай.

А друг смеется. Он воспрянул духом.  
Сверкнуло золото и в его суме:  
Ведь эта дева с пятнышком под ухом —  
Была его смерть.

Как славно победил ее мой друг!  
(На радость моралистикам ответым...)  
И оказалось — сей великий дух  
Не оказался подлинным поэтом.

## Лев Ошанин

\* \* \*

Есть человек. И есть земля,  
Развернувшаяся от порога.  
И дорога. У любого своя.  
Но как узнать, где твоя дорога?  
Мальчишкой выбрал ее один раз,—  
Вдруг поворот, и оборвалась...  
Вдруг топырится, как рука —  
Пять пальцев, пять троп... А твоя тропа?

Друг мой, пусть облетает вишневый цвет,  
Пусть гремит Енисей у большого порога.  
Каждый день — целина. Каждый новый  
рассвет —

Своя дорога.  
И вся она, вся — от края до края —  
Для тебя, земля моя зоревая.

Пусть уйду я однажды в песок или в снег,  
Улыбнувшись растерянно и неловко,  
Как из дома отдыха человек,  
Когда заканчивается путевка.  
Но пока я умею глядеть и дышать,  
Пусть живут в моем сердце мечта и тревога.  
Я хочу создавать, ревновать, возвышать  
Тот огонь, что другому осветит дорогу.

\* \* \*

А я люблю тебя ничью.  
А я веду тебя к ручью.  
Швыряю в белую струю.  
Опять мою, почти мою,  
Не веря близости беды,  
Дождю и ветру отдаю,  
Чтоб смыть с тебя его следы.

... Забытым, нашим, тем путем  
Веду в сосновый лес, как в дом.  
Там у костра в сухом дыму  
Забудусь я. И вдруг пойму:  
Ни дождь, ни чистый звон ручья —  
Все ни к чему. Ты не моя.  
Ты не моя. Ступай к нему.



# Натан Злотников

\* \* \*

В Голосеевском лесу  
Отбивалось ополчение,  
Ждало: выйдет облегченье,  
Страх и смерть перенесу!

Ничего не помогло,—  
Не было тогда резервов.  
Ополчение полегло  
В сорок первом, в сорок первом...

Враг пришел. И сгинул враг.  
Ополчение осталось,—  
Слишком велика усталость,  
Вечен хвойный полумрак.

И зеленая прохлада,  
Где летают семена,  
Как последняя награда  
Ополчению дана.

\* \* \*

Когда уходят оккупанты  
С земли враждебной и чужой,  
Какого времени куранты  
Звучат над пришлою душой?

Уже не существуют завтра  
На полоненной стороне,  
Они заготавливают карты  
Своей страны, где быть войне.

А край, для сердца безымянный,  
Оставить жаль: привыкли все ж  
И даже полюбили странной  
Любовью временных вельмож.

И это чувство потаенным  
Пребудет, как последний страх.  
Они уходят. И знамена  
Выносят к тягачам в чехлах.

Но желчный призрак сожаленья  
Слепая память их таит,  
И все попутные селенья  
Вздымает к небу динамит.

Их тени, их шаги постылы  
Земле, и души их темны...  
А их товарищей могилы  
Презрением озарены.

# Николай Старшинов

## ВЕТЕР

То налетает на гбру высокую,  
То он обратно несется с горы.  
То добродушно играет осокою,  
То ее рвет за густые вихры.

То запылит он дорогой вечернею,  
То он помчится совсем без дорог.  
То подгоняет ручей по течению,  
То его воду рябит поперек.

Ветер ты, ветер, какой ты рассеянный —  
Это известно одним небесам!  
То ли ты западный,  
То ли ты северный,  
То ли восточный —  
Не знаешь и сам.

Песни поешь на любом километре нам,  
Видно, натура твоя такова.  
Проще простого прослыть тебе ветреным,  
Ты ведь на ветер бросаешь слова.

Но осуждать тебя не в состоянии,  
Все-таки я тебя, ветер, люблю!  
И потому, что ты все расстояния,  
Все расставания сводишь к нулю.

Впрочем,  
Люблю и за дни тебя прошлые:  
Помню,  
Когда-то,  
В начале начал,  
Пел ты мне песни такие хорошие  
И колыбель мою  
Мирно качал...



# Владимир Костров

\* \* \*

Среди лугов,  
среди стволов древесных  
залетный ветер картузом ловлю  
и наблюдаю тварей бессловесных,  
которых почему-то я люблю.  
Меня волнует древняя картина:  
вот солнце оседает на овсах,  
и медленная движется скотина  
с проникновенной ясностью в глазах.  
А сквозь глаза душа глядит из мрака.  
И замирает сердце, трепеща,  
когда свинья худуца, как собака,  
и коровенка бурая тоща.  
Губами ноздреватыми, живыми  
корова соль целебную сосет,

потом идет к воде она,  
а вымя  
как солнышко безгрешное несет.  
И если к ней получше приглядеться —  
удар не сможет нанести рука.  
В ней есть святая незащитность детства,  
рассеянность седого старика.  
Простая, беспородная буренка  
траву меланхолически жует  
и молоко от своего теленка  
так запросто народу отдает.  
А думает о чем?  
Нам неизвестно.  
Среди травы, воды и облаков  
люблю я этих тварей бессловесных —  
моих незаменимых земляков.

## ГОМЕР

Не надо к морю выводить слепца.  
Он раковину слушает морскую.  
Как душу затвердевшую людскую  
сжимает, обтирая пот с лица.  
Еще Ахилл играет на траве,  
и в роще — Одиссеева галера.  
Гекзаметры тяжелые Гомера  
ворочаются в белой голове.  
Как волны к нам идут издалека  
гекзаметры его.  
Старик работал дельно.  
Его телескопические бельма  
пронзительно смотрели сквозь века.  
Как волосы его растут леса.  
А скульпторы незрячий бюст слепили,  
они его вторично ослепили.  
О зрячие, нужны ли вам глаза?

# Александр Межиров

## АТТРАКЦИОН

Стена вертикальная снится,  
Кривые рога «Индиана»,—  
Толпа в отчужденьи теснится —  
Искатели сверхидеала.

Труба вострубила Седьмая —  
И женщина в небе возникла,  
По правилам цирка снимая  
Глушители у мотоцикла.

Чтоб, выхлопом резким палима,  
Удесятеренным раскатам  
Внимала толпа — и от дыма  
Ни зги на манеже дощатом.

Луна у нее под ногами  
И дюжина звезд над короной —  
И на мотоцикле кругами  
По правилам аттракциона.

Стена под колеса ложится,  
Бледнейшие щеки запали,—  
Безумная женщина мчится  
Зигзагами по вертикали.

В резиновый руль мотоцикла,  
Как в мякоть, впечатались руки.

Привыкла,  
                  привыкла,  
                                  привыкла  
Не плакать от боли и муки.

Привычка,  
                  привычка,  
                                  привычка  
И выгод немало к тому же,—  
А где-то ползет электричка,  
Везет подмосковного мужа.

Он тот, безмянный, который  
Следил в отчужденьи за гонкой.  
В авоське принес помидоры  
Жене, и к тому же законной.

Он подал на станции нищим,  
Все шишки собрал по дороге,  
Чтоб дуть в самовар голенищем  
И соду глотать от изжоги.

Он спит. Затекает десница  
Под тяжестью наспанной выи.  
Стена вертикальная снится,  
Рога мотоцикла кривые.

# Александр Ревич

\* \* \*

Не могу я без тебя,  
не могу.  
Не могу я без щеки твоей,  
без голоса.  
Не могу я без тебя,  
не могу.  
Подари мне хоть следы на снегу,  
колокольца перезвон да посвист полоза.

Только нет уже ни троек, ни саней —  
всё автобусы, такси да троллейбусы.  
Все сильнее меня берет,  
все сильнее  
«не могу я без тебя»,  
до нелепости.

На провисших проводах — воронье,  
семь чернеющих скрипучих нот севера.  
Не могу я без тебя.  
«Бред. Вранье», —  
говорят мне с проводов разом семеро.  
«Почему это теперь? Ведь раньше мог?»

Подари хоть телефонный звонок,  
да такой, чтоб щеки захолодали.  
Почему это теперь? Ведь раньше мог  
не выстаивать в метро под колоннами?

Ведь не думал же об этом вчера?  
Не могу я без тебя.  
И так с утра  
и до вечера.  
Какая-то магия.  
Это вроде как в снегах без костра,  
как в песках, когда ни капли во флаге.

# Татьяна Волобаева

## У КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ

Не согрели и листья алые  
Этот вечер,  
                    такой сквозной.  
Мы с тобою,  
                    как дети малые,  
Поспешаем  
                    к себе домой.  
Наш автобус,  
                    толстяк ленивый,  
На конечной застрял,  
                    уснув.  
Греешь руки мне  
                    терпеливо,  
Крепко за плечи притянув.  
То забота мужская  
                    вечная —  
Греть любимых  
                    среди бурь мирских,  
Чтоб тепло,  
                    словно струйка млечная,  
Зажигалось под ветром  
                    в них.  
И стояли они,  
                    как свечечки,  
Под ладонями  
                    и дождем,  
Прислоняясь к губам,  
                    как к печечке,

То щекою,  
                    то тихим лбом.  
Обогреты,  
                    обретенные.  
Изнутри  
                    голубым зажженные.  
Легким-легкие,  
                    как напечочки,  
Жены,  
                    женщины —  
                                    ваши девочки.  
А за нежность  
                    вам будет  
                                    синее,  
Это пламя —  
                    сильнее сильного,  
Не боящееся беды.  
Словно след  
                    голубой звезды.  
Обернись.  
                    Ведь не зря,  
                                    не даром:  
Мы с тобой  
                    уезжаем прочь,  
Ну а дождь  
                    голубым пожаром  
У конечной  
                    зажжется в ночь.



\* \* \*

Фронтовые, погибшие,  
Неживые, поникшие;  
И друзья и попутчики,  
Лейтенанты-«поручики»,  
И солдатики юные,  
И бойцы пожилые,  
С юморком и без юмора.  
А теперь — неживые.

Я в долгу неоплатном,  
Перед вами в долгу!  
Одному мне понятном,  
Необъятном долгу.  
Только что я могу?  
Чем я вам помогу?  
Как я вас воскрешу?  
Что про вас напишу?

Воскресить бы, восславить!  
На граниты поставить!  
С жизнью вновь сопоставить!  
С воскрешеньем поздравить!  
Вам в земле сиротливо  
Без друзей, без родных.  
Это несправедливо —  
То, что нет вас в живых.  
Где мне взять это право,  
Чтобы вызвать вас в жизнь?  
Вам положена Слава!  
Вам положена Жизнь!

Больше чем кому-либо  
Вам положено жить,  
И — такое Спасибо,  
Что в веках не вместить.

\* \* \*

Я из другого поколения,  
Я из другой совсем судьбы —  
Другие беды и волненья,  
Другие судьбы и суды.

И я других судить пытался  
По нормам собственных обид,

И отрицанием питался,  
И был жестоко жизнью бит.

На этом не остановился  
(Ведь не на этом жизнь стоит)  
И человечней становился.  
И вам все это предстоит.

\* \* \*

Меня, как Гулливера лилипуты,  
Затягивают маленькие путы.  
Заботы. Ежедневщины. Минуты.  
(О, если можешь, в жизни их минуи ты.)

Одолевают маленькие гномы,  
И оглушают маленькие громы.  
И не хватает мне громоотводов.  
И не хватает мне гномоотводов,  
И не хватает мне на все ответов.  
И я сникаю, тех забот отведав.

Связать меня во сне я им позволил.  
Зачем связался с ними и повздорил?  
Зачем себя я этим опозорил?

И все-таки я вам — не лилипут!  
Проснусь и потянусь,  
и — вам капут.  
Но больно тянут за волосы  
пути,  
Но больно ранят даже  
лилипуты.

# Ян Вассерман

## ИГРЫ

Мы в детских играх днями и ночами  
Сверкали деревянными мечами,  
Трубили в старый и помятый горн —  
Но только счета не было обидам:  
Никто не соглашался быть убитым,  
Никто не соглашался быть врагом.

Мы звали самых слабых и забытых,  
Поскольку — что за битвы без убитых?  
И что за войны, если все — «за нас»?

Но эти тоже путали нам карты,  
И мы в связи с такой нехваткой кадров  
Менялись честно через каждый час.

А впрочем, мы, конечно, не скучали  
И без врагов не ведали печали,  
Врубаясь в лопухи о той поре...  
Не думали, что будем так богаты,  
Что сможем до конца заполнить штаты  
Друзей, врагов, убитых — не в игре.

# Юрий Панкратов

## ГОЛОС ЛЕНИНА

Подобно вечному огню  
или отцовскому завету,  
я бережно ее храню —  
пластинку старенькую эту.

Но иногда под вечер вдруг,  
когда смолкают разговоры,  
звукосниматель радиолы  
я ставлю на плывущий круг.

И слышу ровный гул дождя,  
толпы глухое колыханье,  
затем упругий пульс вождя,  
его тяжелое дыханье.

Я вижу строй сутулых плеч,  
знамен торжественную гордость,

я слышу ленинскую речь,  
его слегка усталый голос.

Он говорит через века,  
сквозь время, в будущее,  
в завтра —  
так звонкий голос космонавта  
приходит к нам издалека.

Качается земная ось,  
скрипят замерзшие шинели...  
Слова вождя грохочут  
сквозь  
полет октябрьской шрапнели.

А на кумач кремлевских стен  
садится синяя снежинка,  
и как распахнутая степь  
безмолвно кружится пластинка...



# Вадим Рабинович

## КРАСНЫЕ СТИХИ

Все, что красиво, то краснó —  
я это знаю сам.  
Стекает красное вино  
по огненным усам.

Изба красна. Хмелён июль.  
Клен под окном багрян,  
как будто это полыхнул  
твой красный сарафан.

И красну девицу беру  
за белые плеча.  
И красну ягоду в бору  
сбираю у ручья.

Словами красными люблю  
одаривать сердца...  
Но никого не загублю  
для красного словца.

# Алексей Заурих

\* \* \*

Прекрасен тот дом без прикрас,  
и новая песенка льется.  
Я в Пушкинском Доме живу,  
поэтому так и поется.

Мотается нитка тропы,  
врываясь то в сосны, то в клены,  
и солнца литые снопы —  
его золотые колонны.

В тебе, о мой Пушкинский Дом,  
родной и любимый навеки,—  
и Лена, и Волга, и Дон,  
и милые малые реки.

Железных дорог колеи.  
Медового луга блаженство.  
Поют во мне токи твои  
гармонии и совершенства.

И так же, как ночи и дни,  
тишайшие утра и громы,—  
естественны окон огни,  
березы и ракетодромы.

Люблю твой причал, твой прикол.  
Лелею и вынесу к свету  
серебряный древний глагол,  
чеканку кристальную эту.

Пусть в нем соловей над прудом  
отчаянным щелкнет коленом!  
Россия — мой Пушкинский Дом  
под пушкинским небом нетленным.

Прекрасен мой дом без прикрас.  
И светлая песенка льется,  
и песен хватает у вас,  
и мне — про запас — остается...



# Михаил Зенкевич

## КОМУ ИЗ ДВУХ?

Отмерено всем время скудно,  
Внушает ежедневно жизнь:  
Поторопись и, как ни трудно,  
В короткий срок свой уложись.

Не краснобай, не пустобрех,  
Поэт не все сказал как будто,  
Еще хотя б одна минута  
Для слов последних двух иль трех.

А за спиной преемник юный  
Уже торопит, как назло:

«Заканчивайте и с трибуны  
Сходите, — время истекло».

И вот гремят рукоплесканья...  
Кому из двух?

Сомнения нет:  
Они сходящему —  
А восходящему —  
прощанье,  
привет!

# Павел Грушко

## ЗАКВАСКА

*К. Стенькину*

— Рассказ твой, парень, попросту нелеп...  
— Чудак, но этот хлеб был синий хлеб!  
— Ты что же, ел его?

— Его я грыз  
и под подушкой хоронил ночами,  
по улицам сновали стаи крыс,  
я понимал их древнее отчаянье...  
— Но отчего он синий был, скажи?  
(Щербатый дом шершаво гладят клены.)  
— Его тогда пекли из жженой ржи —  
за городом горели эшелоны,—  
ешь, старина...—

Стаканы вновь полны,  
вновь за столом запели ахиною.  
И я не от вина теперь пьянею —  
от синего неистовства войны!  
У каждого военный хлеб был свой,  
он вырастал в непостижимый символ.  
Мой хлебушек был детский, тыловой,  
такой невзрачный — и такой красивый.

Им заправляла мать. Ее рука  
к тарелке придвигала тонкий ломтик,  
над ним дымился запах чеснока  
так откровенно, что чесались локти.  
Но мать, не поднимая глаз, твердила:  
— Не троньте хлеб. Пускай остынет  
суп...—

Был этот голос незнакомо сух,  
и мы не знали, что ее сердило.  
С тех пор промчалось двадцать декабррей,  
теперь мы знаем всё и слез не прячем:  
уходит вдвое хлеба за горячим...  
О, нищенская хитрость матерей!

У каждого своя найдется быть.  
Был синий хлеб, и красный — с кровью—  
был.

Хлеб держится в тени, но иногда  
как пьяных нас от памяти качает,  
и голый привкус хлеба посещает  
столы, где не доедена еда...

# Андрей Дементьев

## ВОЛГА

А я без Волги просто не могу...  
Как здорово — малиновою ранью  
прийти и посидеть на берегу,  
и помолчать вблизи ее молчанья.

Она меня радушно принимает,  
с чем ни приду — с обидой иль бедой...  
И все она, наверно, понимает,  
коль грусть моя уносится с водой.

Как будто бы расслабленная ленью,  
течет река без шума, без волны.

Но я-то знаю — сколько в ней волненья  
и сколько сил в глубинах тишины.

Она своей работы не считает.  
Суда качает и ломает лед.  
И ничего зазря не обещает,  
и ничего легко не отдает.

Мне по душе и тишь ее, и гам.  
Куда б меня судьба ни заносила,  
я возвращаюсь к волжским берегам,  
откуда начинается Россия.

# Николай Браун

\* \* \*

В войну, когда земля моя лежала  
В тисках блокад  
И в горечи утрат,  
Мне было не до слез  
И не до жалоб:  
Я призван был держаться как солдат.

Судьба моя была бы горше плена,  
Страшнее даже гибели самой,  
Когда бы встал хоть на одно колено  
Мой стих,  
Сраженный хоть одной слезой.

Он клятву дал перед землей и небом,  
Солдатским делом жизнь его была.  
Он видел смерть,  
Но плакальщиком не был,  
Какая б горечь сердце ни рвала.

И все мое —  
Потери, боль, невзгода —  
Бледнело все, как при огне зола:  
Шла по земле  
Трагедия народа,  
Она моей трагедией была.

# Иван Лысцов

## ЧУВСТВО ЗЕМЛИ

На закате, когда истомленно ярило,  
Вполнакала горя, опускалось в степи,  
Помню, мать, на сеник заходя, говорила:  
«Сын, каленое солнце садится, не спи!»

Мне неведомо, что за могутные силы  
Силы солнца и трав собирают в одну,  
Но всегда на закате так тяжко мне было,  
Если я ненароком уткнусь и засну.

Жар полдневный, спадая, катился лавиной,  
Громоздя этот самый шальной перепад  
Меж собой и возгонной холодностью винных  
Испарений земли, что пройти норовят

Через дремлющий мозг и дыханье ребенка.  
И всегда, через силу уйдя ото сна,  
Как обязан родимой я был, что столь тонко  
Душу мира, наверное, знала одна...

Но зарей, с пастухами вставая всех раньше,  
До сих пор моя мать, уходя в травостой,  
Не забудет сказать безо всяческой фальши:  
«Добрый день тебе, солнышко — гость золотой!»

Видно, крепко в крестьянской душе то начало,  
Что сегодня назвали мы чувством земли,  
Без какого и в космосе нету причала  
И дорогу домой не найдут корабли...

... Не ложитесь, мальчишки, на самом закате:  
Берегите сердца материнские, но  
Вместе с солнцем, когда подрастете, вставайте —  
Эту дивную землю блюсти заодно!

# Нина Груздева

\* \* \*

Я водой заливала,  
Засыпала песком,  
А она выростала  
Самым ярким цветком.

Я ногами топтала,  
Я косила косой,  
А она выступала  
Чистой-чистой росой.

Я косила — шептала:  
«Не моя! Не моя!»  
А она мне сказала:  
«Нет, бессмертная я!

Не нужны мне хоромы,  
Не нужны терема,  
А меня похоронишь —  
Станешь мертвой сама!

Не топи меня в речке,  
Не старайся зарыть,  
А заноеет сердечко —  
Не старайся забыть!»

Так любовь мне сказала...  
Занимался восток...  
Я золой засыпала  
Самый яркий цветок.

# Эдуард Асадов

## ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ

Что же такое счастье?  
Одни говорят:— Это страсти:  
Карты, вино, увлеченья —  
Все острые ощущения.

Другие верят, что счастье —  
В окладе большом и власти,  
В глазах секретарш плененных  
И трепете подчиненных.

Третьи считают, что счастье —  
Это большое участие:  
Забота, тепло, внимание  
И общность переживания.

По мнению четвертых, это  
С милой сидеть до рассвета,  
Однажды в любви признаться  
И больше не расставаться.

Еще есть такое мнение,  
Что счастье — это горение:  
Поиск, мечта, работа  
И дерзкие крылья взлета!

А счастье, по-моему, просто  
Бывает разного роста:  
От кочки и до Казбека,  
В зависимости от человека!

# Михаил Найдич

## ПРЕДЧУВСТВИЕ

Великое предчувствие!

В апреле,  
Когда весь полдень каплями расшит,  
Сквозь все меридианы, параллели,  
Как жеребенок,  
ветер пробежит.

И вот ручьи — неистовствуют,  
пенятся,

Уносится любая мелкота.  
Кругом весна... и кто-то в ветлечебницу  
Уже несет кастрировать кота.

А кто-то завладел кафе. духанами,  
Такое разрешает  
сам аллах...

Дыши, моя земля,  
твое дыхание —  
На крышах, на листве, на зеркалах.

Деревья гомонят в зеленом форуме,  
И юноша какой-нибудь

вот-вот  
Напишет на сырой земельке формулу,  
Которая весь шар земной спасет!

# Лариса Румарчук

\* \* \*

Не буду сына  
Лепить из глины.  
Не буду бабу  
Лепить из снега.  
А буду плача  
Лепить мужчину,  
Чтоб был похож он  
На человека.

Все, что когда-то  
В тебе любила,  
О чем, забывшись,  
Светло грущу я,  
Все, что в любимых  
Не находила,  
В него вдохну я,  
В него вложу я.

Он будет крепок.  
Он будет выжжен

Слезой соленой  
И горьким стоном,  
И нашей нежностью,  
Растопившей  
Мороз на проводе телефонном.

Он будет сделан  
Из расставаний,  
Непримиримых до бессердечья,  
Из одиноких моих мечтаний  
До иступленья  
У старой печки.

Не буду сына  
Лепить из глины,  
Не буду бабу  
Лепить из снега.  
А буду плача  
Лепить мужчину,  
Чтоб был похож он  
На Человека.



# Михаил Матусовский

## БОЛЬНЫЕ ПОЭТЫ

*Павлу Антокольскому*

В обноски бесцветных казенных халатов,  
В матрасы пижам полосатых одеты,  
Лежат, под подушками курево спрятав,  
В седьмом отделенье больные поэты.

Их врач на лопатки кладет недвижимо,  
Им жены несут, как в тюрьму, передачи.  
Но нет для сердец их иного режима,  
Им жить на земле невозможно иначе.

Какие пришлись им на долю печали,  
Какие легли им на плечи потери!  
И тот гонорар, что они получали,  
Взимается с них в пятикратном размере.

Знававшие столько бессонниц и страхов,  
Неправленных гранок и дней непогожих,

Они по примеру буддийских монахов  
Сжигают себя на глазах у прохожих.

Слепые сказители и менестрели,  
Какие-то тайные струны затронув,  
Они еще, видимо, не устарели  
В эпоху бионики, в век электронов.

Они из столетия нашего прямо  
Вступают в общенье с иными веками.  
И, глядя в их трудные кардиограммы,  
Ученые люди разводят руками.

Отбиты врагов осторожных упреки,  
Забыты друзей ненадежных советы,—  
И пишут сейчас свои лучшие строки  
В седьмом отделенье больные поэты.

## КЛОУНЫ

Клоуны, клоуны в рыжих и жестких,  
Словно большая копна, париках,  
В облаке пудры, в сверкающих блестках,  
В длинных, спадающих с ног башмаках.

То колесом вы несетесь по кругу,  
Словно удел ваш извечно таков.  
То раздаете вы щедро друг другу  
Целый мешок оплеух и пинков.

То вы с трудом, подгибая колени,  
Землю пытаетесь сдвинуть всерьез.  
То расшибаете нос на арене,  
Этим людей потешая до слез.

Все вам смеяться б над миром всесильных,  
Грим выбирая себе по нутру,—

И продолжать, схлопотав подзатыльник,  
С миной хорошей плохую игру.

Радуюсь вам и дивюсь, как сюрпризу,  
Я и сегодня вас очень люблю.  
Каждую глупую вашу репризу  
Как откровенье я жду и ловлю.

Старые мальчики, взрослые дети,  
Мчашие скопом во всю свою прыть,—  
Клоуны, раз вы живете на свете,  
Многое можно понять и простить.

Что ж вас все меньше и меньше, паяцы  
С лицами белыми как полотно,—  
Может быть, мы разучились смеяться  
Или самим вам не так уж смешно?!

# Василий Казанцев

\* \* \*

Как в глубине карандаша  
Скрыт стебелек графита,  
Так в плоть обернута душа,  
От праздных взглядов скрыта.

На вид он — яркий и большой.  
Граненый, стреловидный.  
А строчки пишутся — душой.  
Невидной сердцевиной.

Порой значенья не придашь —  
И в спешке бестолковой  
Роняешь на пол карандаш.  
Берешь — роняешь снова.

А он все тот же. Та же стать.  
И прямизна, и живость.  
Живучий! А начнешь писать —  
Все сердце искрошилось.

\* \* \*

Могу понять, когда под взглядом  
Мужским — зардеется щека  
И над притворно робким глазом  
Невольно дрогнет бровь слегка.

И от внезапного волненья  
Нежней рисунок губ немых  
Сверкнет. Но выше разуменья  
Тот краткий, непонятный миг,

Когда внимательное тело,  
Поймав скользнувший бегло взгляд,  
Вдруг переменится всецело,  
И станет гибче во сто крат,

И, зыбкую почуяв связь,  
От ожидания займется,  
И все как будто засмеется,  
Переливаясь и светясь.

## ВЫСОТА

Сорок метров. Тридцать. Двадцать.  
Десять метров. Девять. Пять.  
Только б в тот окоп забраться.  
Взяться. Край рукой достать.

Незначай — на белом свете,  
С непреложностью крутой,  
Обернулись пяди эти  
Человеку — высотой.

Человек на холм отвесный  
Влёт кидался, полз ползком.

Человек лежал — ни с места —  
Тяжелеющим пластом.

Торопливо думал, думал.  
Планы строил. Звал мечты.  
Человек, взбираясь, умер.  
Не осилил высоты.

Будто стебель, поникая,  
Головой упал в траву.  
Подо мною — высь какая!  
На какой горе — живу.

# Татьяна Кузовлева

\* \* \*

Откройся мне слабым и тихим  
в предчувствии тысячи бед,  
как будто птенец аистихи,  
впервые увидевший свет.

Взметнись сквозь дрожащие ветви  
к моим распростертым крылам:  
мы будем и солнце, и ветры,  
и ливни делить пополам.

Я дам тебе острую шпагу  
и веру в победный бросок —  
пусть боль хладнокровного шага  
врага ударяет в висок.

Пусть будет надменен и точен  
прицел твоих выцветших глаз.  
Нет в мире длинней и короче  
дороги, сближающей нас,

сближающей горем и верой,  
и гордым рывком головы,  
и мчащим в артериях ветром,  
и гарью сожженной травы.

На этой, не щедрой на помощь,  
но тем и прекрасной земле,  
звонящая  
звуками  
полночь  
тебя обращает ко мне.

\* \* \*

*Оле*

Говорят, что детям сны не снятся.  
Крошечным, им дышится легко.  
На губах доверчиво и ясно  
дремлет голубое молоко.

Синеглазым и темноволосым,  
им узнать пока что не дано,  
как январь  
снегами и морозом  
дышит в ослепленное окно.

Как бегут за окнами олени  
(снежный наст, как пламя,  
раскален!)

и один,  
припавший на колени,  
обжигает горло январем.

И слеза горячая стекает,  
но назад отрезаны пути —  
стиснутый оленьими боками,  
оленок маленький летит.

И снега бросаются под ноги,  
и, отпрянув, исчезает лес,  
верящее в торжество дороги,  
сердце замирает от чудес.  
А пока еще, пуглив и тонок,  
не выдавший человечьих слез,  
Оле-Оле-Оле-Олененок  
носит твое имя меж берез.  
Ты еще не видела оленей,  
но, от напряжения дрожа,  
постигаешь трудное умение  
собственную голову держать.  
И пока что мне дано, до срока  
отметая горести с пути,  
трудную твою дорогу  
тыщу раз в бессонницах пройти.  
Ты лежишь, слегка примяв  
подушку,  
разбросав две маленьких руки.

Добрая, зеленая лягушка  
засыпает у твоей щеки.

\* \* \*

Над наговором  
злым и нелепым,  
над сплетнями,  
смакующими срам,  
резной верхушкой упираясь в небо,  
вознесся ночью золотистый храм.

Он был со взгорий и с высот увиден,  
он был, как факел, в сумраке зажжен.  
И как плечо ребенка — беззащитен,  
и в этом беззащитие обнажен.

Но, оскорбленьем очерняя тело,  
не среди бела дня,  
а затаясь,  
ударилась в невысохшие стены  
чужой рукою пущенная грязь.

За то, что был он чист и непонятен  
и не похож на все, что есть вокруг,

он смог бы быть приговорен к распятью,  
не будь он выше человеческих рук.

Стой, храм мой,  
стой, любовь моя и вера,  
ни огню не подвластный, ни мечу.  
В большие незапятнанные двери  
прими меня, когда я постучу.

Спаси меня от слабости и страха  
и сделай твердой длань мою в бою.  
Пусть надо мной взлетит резная птаха,  
венчающая голову твою.

И пусть свободно, солнечно и прямо,  
незыблемо стоят из года в год  
чужие дунни,  
как большие храмы,  
в которые  
всегда священен  
вход.

## Иван Рыжиков

\* \* \*

Мой первый враг!  
До гроба не забуду  
Тот крючковатый палец у курка,  
Белесых глаз осеннюю остуду  
И застоялый запах чеснока.

Но что всего сильнее поразило  
И в память сразу врезалось навек:  
Заклятый враг,  
Насильник и громила,  
Он с виду был совсем как человек!

# Евгений Евтушенко

## БАЛЛАДА О МУРОМЦЕ

Он спал, рыбак. В окне уже светало.  
Багровая рыбацкая рука  
с лежанки на пол, как весло, свисала,  
от якорей наколотых тяжка.

Русалки, корабли, морские боги  
качались на груди, как на волнах.  
Торчали в потолок босые ноги.  
Светилось «Мы устали» на ступнях.

Рыбак сопел в тяжелом сне мужицком.  
И, вздрагивая зябнуще со сна,  
дышало и вздымалось «Смерть фашистам!»  
у левого, в пупырышках, соска.

Ну а в окне заря уже росла,  
и бубенцами звякала скотина,

и за плечо жена его трясла:  
«Вставай ты, черт... Очухайся, — путина!»

И, натянув рубаху и штаны,  
мотая головой, бока почесывая,  
глаза повинно пряча от жены,  
вставал похмельный Муромец печорский.

Так за плечо его трясла жена,  
оставив штопать паруса и сети:  
«Вставай ты, черт... Очухайся, —  
война...» —  
когда-то в сорок первом на рассвете.

И, принимая от нее рассол,  
глаза он прятал точно так — повинно,  
но встал, пришел в сознание и пошел,  
и так дошел до города Берлина.

## БАЛЛАДА О СТЕРВЕ

Она была первой,  
первой,  
первой  
красавицей в архангельских кабаках.  
Она была стервой,  
стервой,  
стервой  
с лаком серебряным на коготках.  
Что она думала,  
дура,  
дура?  
Кто был действительно ею любим?  
...Туфли из Гавра,  
бюстгальтер из Дувра  
и комбинация с Филиппин...  
Когда она павой,  
павой,  
павой

с рыжим норвежцем шла в ресторан,  
муж ее падал,  
падал,  
падал  
на вертолете своем  
в океан.  
Что же ты стихла?  
Танцуй,  
улыбайся...  
Чудится ночью тебе,  
как плывет  
мраморный айсберг,  
айсберг,  
айсберг,  
ну, а внутри его —  
тот вертолет.  
Что ж ты не ищешь разгула,  
разгула?

Что же обводишь ты взглядом слепым	чьих-то детишек
туфли из Гавра,	и плачешь опять.
бюстгальтер из Дувра	Слушай,
и комбинацию с Филиппин?	откуда такое участие?
Вот ты от сраму,	Может быть,
от сраму,	счастье не учит людей?
от сраму	Может быть, учат
прячешься в комнатке пестрой своей.	несчастья,
Вот вспоминаешь про маму,	несчастья,
про маму.	чтобы мы делались чище,
Вот вспоминаешь вообще про людей.	добрей?!
Бабою плачешь,	...Она была первой,
плачешь,	первой,
плачешь,	первой
что-то кому-то бежишь покупать.	красавиц в архангельских кабаках.
Тихая,	Она была стервой,
нянчишь,	стервой,
нянчишь,	стервой
нянчишь	с лаком серебряным на коготках.

## Глеб Семенов

### БЛОКАДНАЯ ТИШИНА

Пусто в сквере, когда-то звонком.  
 Где-то жарят картошку с луком.  
 Я боюсь уже верить сводкам  
 и боюсь еще верить слухам.

Возвращаюсь пешком с вокзала.  
 Не асфальт, а сплошные кочки.  
 Хорошо ли ты туюк связала,  
 не забыла ли шарф для дочки?

Постою, не вздохнув, не охнув,—  
 с пьедестала царя свергают.  
 Первых раненых  
 в школьных окнах  
 неподвижно бинты сверкают.

Очень тихо — и гулко очень.  
 Все как было — и все как стало...  
 ...Нескончаемым многоточьем  
 перестук твоего состава...

# Анатолий Жигулин

\* \* \*

Полынный берег, мостик шаткий.  
Песок холодный и сухой.  
И вьются ласточки-касатки  
Над покосившейся стрехой.

Россия... Выжженная болью  
В моей простреленной груди.

Твоих плетней сырые колья  
Весной пытаются цвести.

И я такой же — гнутый, битый,  
Прошедший много горьких вех,  
Твоей изрубленной ракиты  
Упрямо выживший побег.

\* \* \*

О жизнь! Я все тебе прощаю.  
И давний голод в недород.  
И что увлек меня, вращая,  
Большой войны круговорот.

Прощаю бед твоих безмерность —  
Они устроены людьми.  
Прощаю, как закономерность,  
Измены в дружбе и в любви.

Для всех утрат былых и близких  
Я оправданий не ищу.  
Но даже горечь дней колымских  
Тебе я все-таки прощю.

И только с тем, что вечно стынуть  
Придется где-то без следа,  
Что должен я тебя покинуть —  
Не примирюсь я никогда.

## Антонина Баева

\* \* \*

*Марине Цветаевой*

Ты не печалься, не тужи,  
Платок покрепче повяжи  
И через Каму вброд и вплавь  
На Жизнь свою и Славу  
Направо.  
Как было холодно тебе!  
Как ветер ночью выл в трубе!  
Скрипела старая кровать.  
Ни спать, ни встать,

Ни спать, ни встать.  
Рябину вижу на горе,  
Краснеют кисти в декабре,  
А в марте ветки — две руки,  
А на воде — круги,  
Круги...  
Ты через Каму  
вброд и вплавь  
В Россию правь.

# Юрий Ряшенцев

## АПРЕЛЬ В ГОРОДЕ

Хороший день! Хороший знак,  
когда на улице сквозняк,  
и возвращается тепло из южной ссылки.  
И падок свет. И тень грешна.  
Какого вам еще рожна?  
Уж если это для любви не предпосылки!..

А вечерами из сплошных  
фруктовых, рыбных, овощных  
к нам рвутся запахи, как джины из бутылок...  
Замрет пиджак. Замрет мундир.  
И каблучок — почти пунктир —  
летит над лестницей, бесшумной от опилок.

Застынь! Пади! Остолбей!  
Ты видишь женщину — на ней,  
того гляди, весь белый свет сойдется клином.  
Она — и сердцу и уму,  
и я троянцев вдруг пойму:  
о, есть еще за что подраться нам, мужчинам!

Да здравствует короткий миг,  
когда на все, что ты постиг,  
ты наплевал, чтоб ощутить в блаженном страхе:  
уже наивность не смешна,  
еще взаимность не страшна,  
и гибнет опыт, как разбойничек на плахе.

Моя любовь — бесценный клад,  
по крайности — на первый взгляд,  
а он, ей-богу, пронигательней второго.  
На всех, на всем ее клеймо:  
и — жизнелюбие само —  
в большой витрине расчлененная корова.

Зачем скрываться по углам  
от счастья с горем пополам?..  
И этот день — невыразим. И место — свято.  
И как пунцовое пятно —  
под чьей-то крышею окно,  
как будто в нем отражена вся суть заката.

# Борис Заходер

## ЛИСТОК ПОСЛЕДНИЙ

Не бывает любви —  
Несчастной.  
Может быть она  
Горькой,  
Трудной,  
Безответной  
И безрассудной,  
Может быть —  
Смертельно опасной,

Но несчастной  
Любовь  
Не бывает.  
Даже если она  
Убивает.  
Тот, кто этого не усвоит, —  
И счастливой любви не стоит!

## ПЕСЕНКА ПРО ВЕТОЧКУ

Ничего особенного  
Мне не говорила,  
Молча ветку сорвала,  
Молча подарила...

Маленькая веточка —  
Не поставишь в вазу.  
Вы бы эту веточку  
Выбросили сразу,

Мне же не расстаться с ней,  
С веточкой зеленой.  
Я ее — в стаканчик,  
Я ее — в граненый...

Веточка, веточка,  
**Зеленые почки!**

Может быть, оправившись,  
Выгонишь листочки?

Стоит моя веточка,  
Да не расцветает...  
Я уж и не знаю,  
Чего ей не хватает:

Я ее выхаживаю,  
Я ее балую,  
Я за ней ухаживаю —  
Напропалую!

Веточка, веточка,  
Зеленые почки, —  
Может, приживешься,  
Пустишь корешочки?..

# Алексей Кафанов

## ОХОТА

Затравлен волк, но страшен он,  
На жизнь отстаивая право!  
Охотники со всех сторон,  
В кольцо сжимается облава.

И свора псов издалека  
За ним идет по следу твердо,  
И видно, как у жоака  
Свисают ключья пены с морды.

Деваться некуда. Тупик!  
Волк молча ждет, угрюмо щерясь.  
Дрожит малиновый язык,  
И челюсть лязгает о челюсть.

Седое брюхо подобрал,  
Метнулся он рывком коротким,  
И рухнул наземь волкодав,  
Хрипя разодранною глоткой.

Загрюк вздулся, как бугор...  
Отпрыгнула собачья свора.

Так что же ловчий до сих пор  
Курки не взводит до упора?!

И грянул выстрел!

В плоский лоб  
Ударил жаркий град картечи.  
Уткнулся с ходу волк в сугроб,  
Вскричав почти по-человечьи.

Из-под полуприкрытых век  
Зрачки как тусклые стекляшки.  
Собаки лижут красный снег,  
Дыша отрывисто и тяжело.

Я не охотник. Не привык.  
Меня не увлечешь кровавой,  
Под улюлюканье и крик,  
Старинной егерской забавой.

О, слабость доблестных мужчин,—  
Всем скопом взять, с веселой злобой!  
Нет! Грудь на грудь! Нет, чтоб один  
И на один...

Вот так попробуй!

# Глеб Еремеев

\* \* \*

Всякий труд наполнен мудрым смыслом,  
Красотой и силой молодой.  
Ты пронесишь два ведра с водой,  
Статно избочась под коромыслом.

Так упруга женственная стать,  
Так медлительны движенья бедер,  
Точно можно не от этих ведер,  
А от собственной красоты устать.

# Татьяна Сырыщева

\* \* \*

Лебеди ли были в чистом поле  
или дрофы? Так и не пойму.  
Впрочем, это не играет роли  
никакой, и думать ни к чему.  
Просто птицы с волжского низовья  
собрались куда-то улетать.

И взглянула я на них с любовью,  
и хочу увидеть их опять.  
Пропустили поезд птицы эти —  
и забыли.

...Утра синий чад.

На московском беговом рассвете  
утки одичалые кричат.

## АРРАТ

Труд — колдовство, наслажденье, награда...  
Камень надколешь, а он зазвенит,  
Красками озера и винограда  
сине-зеленый проникнут гранит.  
Сдавшейся кручей, певучей долиной,  
ликом угаданной красоты —  
так откликается камень змеиный.  
И проступают из камня  
черты.

## Лев Смирнов

### ДРЕВНИЙ ПОРТРЕТ

Я во главе воинственных дружин  
На битюге породистом качался.  
В ворота вражьей гулаком стучался  
И с гусярами лучшими дружил.

Кого-то я пленил и обезглавил,  
Кого-то я разбил и подавил.  
Мне князь свою кольчугу подарил,  
Меня народ за подвиги прославил.

И полилась мне брага прямо в рот,  
Обвили шею руки полонянок...

Но я ушел от княжеских щедрот  
В своих портках мужичьих, полотняных.

Я жег костры и песни пел на воле,  
С бродягами бродил я по Руси.  
Как колесо вокруг своей оси,  
Крутился я вокруг счастливой доли.

Я Разиным по Волге плыл к низам,  
В застенках кровью собственной давился...  
Все потому, что в юности князьям  
Я руки целовать не научился.



# Григорий Левин

## ДОРОГА

*Павлу Дружинину*

1

От спичечной — к шелкомотальной,  
Кожевник, каталь, кладчик дров...  
Была его дорога дальней  
До первых заповедных слов.  
Не больно баловали пищей,  
Ласкали редко и едва.  
Но на листе бумаги писчей  
Рождались точные слова.  
О, это горе горевое,  
Что шло упрямо по пятам,  
Окопное житье лихое,  
Что щедрой мерой испытал...  
Но просветлялись горизонты,  
И пусть цена и дорога,  
Был счастлив, на Восточном фронте  
Разя раешником врага.

2

Упрямо моде прекословя,  
Не сбитый с толку суетой,

Он славил жизнь без суесловья,  
Вплоть до последней запятой.  
И на утеху злым и подлым  
Словца и то не оброня,  
Вершил свой ежедневный подвиг,  
Ни в чем себе не изменя.  
Невесть где пропадала слава,  
Запаздывал прийти успех.  
То озорна, то величава,  
Гостила песня не у всех.  
Но уж гостила так гостила,  
И работаща, и щедра!  
И зрела песенная сила,  
Как средоточие добра.  
И тот, кому сугужно будет,  
Напившись силы из ключа,  
Той доброй песни не забудет,  
С ней рубанет беду сплеча!  
Так будем памятьливы вместе  
К поэту, что во всем един.  
И мужеству его, и чести  
Поклон сыновний отдадим...

\* \* \*

А содержанье каждого стиха  
Накапливают клетки постепенно.  
Терпение. Одно только терпенье.  
Годами завершается строка.  
Не пишется как будто ничего.  
Но дышится — а это поглавнее.  
Мы доживем до слова своего,  
Голгофы нашей или Галилеи.  
И час придет — от первого толчка  
Проснется то, что накопилося годы.  
И душу нам увеселит строка  
Взыскуемой тревоги и свободы.

# Яков Белинский

\* \* \*

«Самое смешное желание — это  
желание нравиться всем».

*Гёте*

Успех у всех — нет, это не успех,  
пускай за ним охотится издатель,  
мне нужен мой — хотя б один! — читатель  
всепонимающий — дороже прочих всех!

Успех у всех — у этих и у тех,  
равновеликий у слепых и зорких?  
Такой успех не повод для утех —  
он основанье для раздумий горьких:

дошел до всех, доехал без помех,  
вошел ко всем, как теле или фикус...

А что когда такой у всех успех  
лишь восторжествовавшая безликость!

Успех у всех... Да что мне делать с ним,  
когда б он был? Я б онемел на время.  
Когда я одному необходим —  
я признан беспределно всеми.

Успех у всех — легко простимый грех.  
Но нам известен странный труд поэта,  
где неуспех есть истинный успех  
и поражение — полная победа.

\* \* \*

Талант любить —  
такой же, как любовь  
другой талант,  
а может быть и выше:  
своей — другую! — разбудить любовь,  
прикрыть собою от беды нависшей...

Талант любить —  
отнюдь не голубой,  
он может быть суровым и колючим,—  
но с каждым днем  
тот, кто любим тобой,  
становится хотя б на малость лучше.

Талант любить —  
упрямо, вновь и вновь  
с любовью рядом  
подниматься выше.  
Да, может быть талантливой любовь!  
Мы о бездарных слишком часто слышим...

# Виктор Боков

## ПУШКИН

Осень накидала медажков  
Самого последнего чекана.  
Пью за пламень пушкинских стихов  
Из хрустально-тонкого стакана.

Как любил он осень. Как болел  
Красотой пылающего леса,  
Как он Родионовну жалел,  
Вот тебе и барин и повеса!

Он любил осенний снег и грязь,  
На ходьбу менял часы уютца.  
Сапогами в лужу с ходу — хрясь —  
И идет, и только кудри вьются!

Пушкин! Пушкин! Золото и медь.  
Взмах орла и дикий рев Дарьяла.  
Хватит одного, как он, иметь,  
Чтобы красота не умирала!

\* \* \*

Рбсная, ббсая,  
Русая Россия!  
Люди задушевные,  
Милые, простые.

Сядешь у околицы,  
Хлебushка отломить,  
Ковшичек с водичкою  
Холодною наклонишь.

И пройдет по горлышку  
Родничок целебный,  
И запахнет солнышком  
Край равнинный, хлебный.

Девушки объявятся  
Там, где конопляник.

Хлебом их попотчуеть,  
Скажут: — Чудо-пряник!

Долго ль этим вольницам  
Обувь снять, разуться.  
В пляс они припустятся,  
За руки возьмутся.

Заиграют мускулы  
Утром среди поля,  
И не будет устали,  
И отступит горе.

Полюшко гречишное  
В теплых летних струях  
Мать-земля российская,  
Вся ты в поцелуях!

## НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Шел по земле волшебник,  
Шел, говорил громогласно:  
— Кому, кому денег?  
Кому, кому счастья? —  
Шел, шумел по народу,  
Всех будил спозаранку:  
— Кому, кому меду?  
Кому самобранку?  
Кому самоходы?  
Кому санаторий?  
Кому карамели?  
Кому параллели?  
Кому, кому снегу,  
Кому, кому бегу?  
Кому, кому сани —  
Выбирайте сами! —  
Подошла старуха,  
Шевельнула бровью:  
— Человек-наука,  
Дал бы мне здоровья!

— Бабушка, извольте!  
Бабушка, берите,  
Минуту постойте,  
Чуть-чуть потерпите.—  
Махнул рукой левой —  
Стала бабка девой,  
Махнул рукой правой —  
Плывет бабка павой.  
Деда бракует,  
С молодым толкует.  
Шел волшебник дальше:  
— Кому, кому дачи?  
Кому, кому зори  
С петухом на заборе?  
В коробке волшебника  
Было три учебника:  
«Как жить»,  
«Как любить»,  
«Как хорошим быть».

\* \* \*

\* \* \*

Около леса не видно подлеска.  
Это, по-моему, ненормально.  
Тут ему самое, самое место,  
Чтобы расти и шуметь беспечально.

Чтобы под смелой защитой старших  
Двигаться вверх, синеву раздвигая,  
Крон государственных и патриарших  
В зрелую пору свою достигая.

Где же подлесок? Ну, как это можно?!  
Бор и не слышит, стоит бессловесно.  
Сам про себя что-то шепчет тревожно,  
Кручею крон обрываясь отвесно.

Слышу и вижу, как бор беспокоен,  
Как его давит тяжелая дума,  
Рядом — ужели он в этом виновен! —  
Нет молодого зеленого шума!

И я когда-то рухну, как и все,  
И опущу хладающую руку,  
И побегут машины вдоль шоссе  
Не для меня — для сына и для внука.

Мой цвет любимый, нежный иван-чай,  
Раскрыв свои соцветья в знойный полдень,  
Когда его затронут невзначай,  
Мои стихи о нем тотчас же вспомнит.

А ты, моя любовь? Зачем пытаться  
Таким вопросом любящего друга?!  
Ты томик мой возьмешь, начнешь читать  
И полю ржи и всем ромашкам луга.

А если вдруг слеза скользнет в траву,  
Своим огнем земной покров волнуя,  
Я не стерплю, я встану, оживу,  
И мы опять сождемся в поцелуе!

## ПАЛЬМЫ

Пальмы томятся у моря от праздности,  
От современной людской буржуазности,  
От отупения, от оглупения,  
От безобразного, пошлого пения.  
Их бы на север — вот красотища-то,  
Разве такая на севере пища-то?!  
Свежей тресочки поесть на песочке,  
Ягод себе принести в туюсочке,  
Иль оленины, иль глухарины,  
Семужки свеженькой на именины.  
Пальмы, поедemте! Бросьте Мацесту вы,  
Будут не так вас на севере чествовать,  
Будут стихи посвящать, песнопения,  
Будет о вас самолучшее мнение!

## МОРЕ

Морю не присуща муть,  
Чистотой оно гордится,  
Стоит только раз взглянуть,  
Чтобы в этом убедиться.

Морю не присуща грусть,  
С ним такого не бывает,  
Рядом постоишь, и грудь  
От восторга распирает.

Вот кого никто за лень  
Никогда не оштрафует.  
Как возьмется, целый день  
Берега волной шлифует.

Рвется море и рычит,  
Велико и необъятно,  
На прощанье мне кричит:  
— Все равно придешь обратно!

## МОНОЛОГ ЯНВАРЯ

Говорит январь: — Я мал!  
Сделал я всего три шага,  
Я еще не подымал  
И не нес земного шара.

Я не выявил себя  
В полной мере, в полной воле,  
Не мои еще снега  
И дороги в снежном поле.

Мой предшественник декабрь  
Был не лодырем на печке:

Это ведь его деталь —  
Прочный лед на каждой речке.

Это ведь не я мостил...  
Но заверю всю Россию —  
Ледяной зимы настил  
Наращу я и усилию.

Я январь. Я путь земной,  
Направляющая века.  
Я пойду, а вслед за мной  
Зазвучит большое эхо!

# Лариса Васильева

\* \* \*

Опять начинается дождь,  
сперва невзначай, понемногу,  
как будто бы тот, кого ждешь,  
неспешно подходит к порогу.

А ливнем когда зашуршит,  
забьет в перекрест переплета,  
покажется, будто бежит  
от дома испуганный кто-то.

\* \* \*

Нет, не тебя я знаю с детства,  
а карий свет похожих глаз,  
ты не достался мне в наследство,  
не ты меня от смерти спас.

Не ты прошел со мной пороги,  
не ты врагов моих валил,  
не ты любил мои пороки  
и добродетели хвалил.

Расправившись с дождливым летом,  
снег заметал мои следы.  
Не ты бежал за мною следом,  
крича: «Вернись!» Не ты, не ты.

Ты ждал меня среди дороги,  
знал — я дойду, я доползу,  
переведу через пороги  
и от беды тебя спасу.

\* \* \*

Глаза твои синее,  
чем воды у ручья,  
а я тебя сильнее,  
сильнее я.

За что мне это горе  
дано судьбой —  
не ты со мною в ссоре,  
а я с тобой,

не я тебя ревную,  
а ты меня,

когда заозорую,  
других маня,

измучает дорога,  
устану я,  
не ты моя подмога,  
а я твоя.

Уж сетуй ли, не сетуй,  
все до поры,  
ручей впадает в Сетунь  
с крутой горы.

# Эдмунд Иодковский

## ПОСЛЕДНИЙ БАРАК

— Бакунинская! — объявил вожатый.  
С трамвая

спрыгивает  
человек.

Здесь, современным городом зажаты,  
гниют бараки. Доживают век.

Вот женщина, живущая в бараке.  
Она мечтает о законном браке.

Я прихожу к ней. Я стихи читаю.

— Ты голоден?  
— Немного... Нет ли чаю?

Бросок на кухню дерзок и отважен —  
ведь там

борцы за чистоту семьи  
из Общества Друзей Замочных Скважин  
перемыкают  
косточки мои.

А я упрям. Я строки подбираю.

Отсюда не уйду я подобру.

К ее душе ключи я подбираю  
и все-таки никак не подберу.

В ее душе, в сырых кладовках мрака  
и в горечи невыплаканных слез  
есть что-то от последнего барака,  
эпохой обреченного на снос.

Как пыльные, ненужные пожитки,  
в сознание притаились пережитки,  
и паутиною в углах повисли  
барачные, безрадостные мысли.

Как утолить ее душевный голод?

... Я лом возьму.

Работай! Бей! Круши!  
О, я воздвигну современный город  
там, где чернел барак ее души!

# Анатолий Землянский

## ГОРСТИНКА

Между ветками, сквозь коряжины,  
Прячась, хмурится: «Не взгляни!»  
Будто стыдно ей, что не ряжена  
Ни в плотины-то, ни в огни.

Что не бужена горлом стуженым  
Пароходных ревун-гудков;  
Что не холила рук натруженных  
Плотогонов и рыбаков;

Что не пугана криком татьевым  
В ночь осеннюю там и тут;  
Что ни в сестры ей и ни в братья ей  
Реки славные не идут.

Но печалиться ли ей, Горстинке —  
Младшей дочке реки-Москвы!..  
Здравствуй, Горстинка, речка с горстенку,  
Вспышки-ропслески среди листвы.

Вспышки-ропслески, птичьи посвисты,  
Неба гулкая синева.  
Тенью тронуты в снеге рос кусты,  
Не примятая мох-трава.

Здравствуй, Горстинка, кинь мне мостицом  
Переходочку в два бревна..  
«А и кину вот. Жалуй в гости-ка»,—  
Прояснилась волной до дна.

# Александр Архипов

## НА РОДИНЕ

Речные травы	Костер косматый
Напоминая сердцу	хворостом похрусты-
о былом.	вал,
Далекий бакен	Облизываясь красным языком.
Вечерний берег	Друзья мои!
Я здесь впервые	Ровесники веселые!
Футбольным ветром	Истлели
Избитый мяч	наши детские кнуты.
С веселым свистом	Сегодня кем-то
Я здесь в ночном	лайнеры оседланы,
Гонял табун	Сгибает кто-то дугами мосты.
широким косяком.	Далась кому-то
	высота разящая,
	А чей-то путь
	извилист и тяжел,
	Но поклониться
	зорям над рязанщиной
	Придете вы,
	как я теперь пришел.

# Кирилл Ковальджи

\* \* \*

Мне кажется, что под землей  
Убитый в первой мировой  
Солдат все ищет, ищет сына —  
Убитого солдата во второй.

Отдалены от воздуха и неба,  
В той безысходной темноте  
Они друг друга ищут слепо,  
Навек ровесники в беде.

Залюбовались небом дети,  
Растут, мечтая на рассвете  
Взлететь к затерянной звезде.

Но те солдаты беспокойны,  
Они во тьме считают войны  
И не желают внуков встретить  
В той темноте, в той слепоте.

# Игорь Лашков

## ДОБРОТА

Был добрым дед.  
На пасеку ведет  
В жужжание пчелиного аврала,  
И достает в прозрачных сотах мед,  
И угощает: — Кушай до отвала!

Был добрым дед.  
В сознании моем  
Таким он и останется на годы,  
Хотя и обучал сырым ремнем  
За лазанье в сады и огороды.

Был добрым дед.  
Он не уехал в тыл,

Когда враги к деревне подступали.  
Пчел выпустил и пасеку спалил,  
На грудь надел старинные медали.  
Был добрым дед.  
Но добыл автомат,  
И зоркие глаза не обманули,  
Когда стрелял он из лесных засад  
И пришивал к земле фашиста пулей.

Был добрым дед.  
Прожить сумел до ста.  
Теперь среди берез его могила.  
Мне по сердцу такая доброта,  
Что с детских лет  
глаза на мир открыла.

# Владимир Осинин

## БЕРЕЗОВЫЙ ОСТРОВ

Полоснет что-то в памяти остро —  
И, как после удачных мазков,  
Выплывает березовый остров  
С белым парусом облаков.

Не фантазия и не сказка.  
Подойди через поле близко —  
Под березами гильзы и каски  
И замшелые обелиски.

Еще больше росы искристой,  
Солнца, плавящего верхушки,  
Соловьиного пересвиста  
И лихой гоготни кукушки.

А в грозу полумрака вдосталь  
И грома, словно пушки, бьют...  
Белый-белый березовый остров,  
Облюбованный птичий уют.

\* \* \*

Ребята с добрыми глазами!  
Я был для вас и друг и брат.  
Стою смущенно перед вами  
И будто в чем-то виноват.

К упрекам праведным готовый,  
Сажусь за деревенский стол.

Я ожидаемого слова  
О вашей жизни не нашел.

Искал его вдали, не рядом,  
Где и друзья мои и мать.  
И может, просто было надо  
Его из рук соседа взять.

## Александр Коваль-Волков

\* \* \*

Едва зарю пробьют над миром  
Куранты звездной стороны —  
Встают бойцы и командиры,  
Что так и не пришли с войны.

Они встают с полей Европы,  
Из глубины земли родной, —  
Покинув доты и окопы,  
Солдаты держат путь домой.

Идут поротно и повзводно,  
Полки и армии идут.

Из небывалого похода  
В любой семье солдата ждут.

Непосрамленные знамена  
Плывут под музыку сердец,  
Там, во главе батальона,  
Шагает где-то мой отец...

Пылит неблизкая дорога  
От бед тяжелых до побед,  
Солдатам лет совсем немного,  
И смерти не было  
и нет...

## МАТЬ

У нее в серебре поредевшие пряди.  
Двадцать лет за плечами  
ожиданий, тревог:  
сын закончил училище до войны в Ленин-  
граде,  
а приехать домой на побывку не смог.  
И она не считает его виноватым.  
Разве можно винить  
не пришедших с войны?  
С той поры почему-то все больше солдаты  
посещают ее беспокойные сны...

Молодые такие... Совсем еще дети...  
Их она принимает, как добрая мать.  
С ними сын.  
И сквозь горькое двадцатилетье  
ей не трудно Павлушу родного узнать.

Вот он лег и уснул, и она в изголовье  
опустилась на стул, а вокруг — никого...  
Все постигла она материнской любовью,  
только взрослым не может представить  
его...

# Владимир Жуков

## ВETERАНЫ

Под нашивками — шрамы-раны,  
но добры и светлы глаза...  
Оттремевших битв  
ветераны  
собираются в ЦДСА.

На такси  
к подъезду  
подкатывают,  
горячо  
друг на дружку  
взглядывают.  
Через двадцать лет —  
узнают...

Генерал на войне был крут.  
А его из машины выхватывают  
и крест-накрест  
в объятия берут.

Хорошо поступают. Правильно.  
Ставкой руганный,  
трижды раненный,  
он сполна заслужил того.  
Ведь случались такие трудности —  
все спасение было в крутости  
да в душевном слове его.  
Приходилось  
не по асфальту ведь,  
а по пояс в грязи —  
по Альфельду  
к Пешту топать месяцев шесть...

Жив останешься —  
сможешь выспаться,  
хочешь — в Эгере,  
хочешь — в Мишкольце...  
Лучше — в Мишкольце:  
в этом Мишкольце  
минеральные  
бани  
есть...

В непролазно-крутой распутице  
вязнут пушки,  
тонут по ступицу.  
А уж мина летит, урчит.  
Упадет солдат —  
как оступится...  
И по каске  
дождик  
стучит...

Мне вот это все  
вспоминается,  
с поездов пока собираются  
ветераны  
со всей страны.  
Подъезжают  
по обстоятельствам,  
что прямое имели касательство  
к судьбам Венгрии  
в дни войны.

Как войны той  
чернорабочие,  
оказались и мы  
меж прочими —  
посчастливилось нам двоим.

Независимо  
на обочине  
с Головцовым Васей стоим.

С генералами рядом. Запросто.  
На душе и робко  
и радостно,  
только делаем вид такой:  
что такое  
нам  
не впервой!

У Василия бровь — дугой,  
говорит он:  
— Ну что ж, мне нравится,  
только как же так получается?  
Маловато все же солдат...

Когда топали к Пешту в мыле,  
генералы, конечно,  
были,  
но чтоб столько —  
не думал, брат...

Дескать,  
списки взять  
да проверить бы:

не по рангам ли славу делите,  
не вписали ли зря кого...

... Позабыл солдат,  
что на Геллерте  
изваяли  
все же  
его.

## Александр Гатов

\* \* \*

Кто старость назовет порой утрат?  
Болезнь — другое дело. Но закат?..  
Он, во всю силу пламеня,  
Зари пышнее во сто крат,  
Великолепен и богат,  
И славен щедростью своею.

... Когда б таким был мой закат!

### КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МИРОЗДАНИЯ

Земля — обжитый древний островок  
В пустынном черном мировом  
пространстве.

Ее сработал торопливо бог.  
Порядка нет с тех пор в ее убранстве.

Да что в шесть дней один он сделать мог?  
Какие были там машины, транспорт?  
В конце создатель повалился с ног,  
И выл над спящим богом ветер странствий.

Земля вчерне закончена была.  
Моря и сушу заливала мгла.  
Остались миллионы неполадок.

И твой нелегкий жребий, человек,—  
В поту лица корпеть за веком век,  
Чтоб на планете навести порядок.

# Марк Соболев

## ОТЦЫ И ДЕТИ

Тернистый путь пролег за мною,  
дороги новые торю —  
и все придирчивей в былое,  
в давно минувшее смотрю —  
на ту версту, где с давних пор  
(о чем твердят статьи и речи),  
как столб дорожный безупречен,  
торчу наследникам в укор.

Я б сам хотел, чтоб так и было,  
но глухо дрогнула верста,  
и дым застлал, и мина взвыла,  
и непонятно ни черта.  
Ура! За Родину, вперед!  
Ура! Спасите наши души...  
И легковерная «катюша»  
своих порою достает.

Еще до почестей далеко  
с посмертной славой заодно,  
и вдоволь страха и упрека  
на долю рыцаря дано.  
Отважный, грешный и земной,  
он без оглядки сердце тратит,  
и есть девчонка в медсанбате,  
и есть Россия за спиной...

Но вот уже взрослеют дети  
моей любви, моей судьбы.  
(Хотя бы в скобках, но заметим —  
бездетны намертво столбы.)  
Как по шаблону ни крои,  
опять — поход, разведка, песня,  
и что с детьми поделывать, если  
они — наследники мои.

## Лиля Наппельбаум

\* \* \*

*Памяти М. С. Наппельбаума*

Отец мой не был скромн.  
Он был по-своему огромен.  
Он целых три четверти века  
Снимал лицо человека.  
И, подняв свой труд как можно выше,  
Он говорил:

— Вы у меня замечательно  
вышли! —

Клиент сомневался,  
спорил:  
— Но

под носом у меня темно.  
И видно только одно ухо,  
Будто бы я лишен слуха.—

Так  
повторялось  
изо дня в день.  
Отец объяснял терпеливо,  
Что лицо человека красиво,  
Что его украшает беглая тень,  
Что его повороты скрывают уши,  
Но раскрывают души.  
Он аргументы сыпал густо.  
И люди, сомнений сперва полны,  
Всегда уходили, убеждены,  
И шел им впрок  
урок  
искусства.

# Юрий Гордиенко

\* \* \*

Голоса с того света!  
В полуночный час  
удивлялись ответам  
спириты подчас.

Допотопные бороды,  
воротнички...  
Были в деле подобном  
они новички.

Мы смеемся сегодня  
над их простотой  
и над их легковерьем...  
Однако постой!

Эти черные диски  
застывшей смолы  
под корундовой искрой  
звучащей иглы,

с голосами актеров,  
умерших давно,  
тех,

с одним из которых  
мы пили вино,

а с другим колесили  
до рассвета в такси,  
заодно с ним базили —  
хоть святых выноси!

Ты постой!  
Да ведь это —  
в полуночный час  
голоса с того света  
нам с тобою звучат.

Словно нет  
на Ваганьковом  
свежей плиты...  
Я уйду.  
Одинокой  
останешься ты.

Позабудешь обиды  
И простишь мне грехи.  
Я тебе с того света  
почитаю стихи.

\* \* \*

Старик,  
брюзжу я  
по старинке.  
Я бражник —  
и валюсь как сноп.  
Я за канатами  
на ринге  
противника  
сбиваю с ног.

Я в одиночестве.  
Сквозь дождик,  
сквозь ночь иду  
в грядущий день —  
я бесконечен,

я художник,  
я обнимаю  
всех людей.

Не верю я  
и уповаю,  
я горько плачу,  
я пою.  
Я фронтовик —  
я убиваю,  
отец семейства —  
жизнь даю.

Еще свою  
встречаю душу,

еще — их столько,  
просто жуть!  
Старуха я,  
когда я трушу,  
я девушка,  
когда стыжусь.

Смотрю в себя  
и, удивленный,  
оглядываюсь:  
черт возьми!  
Я — это город,  
населенный  
такими разными  
людьми.

# Владимир Павлинов

## БЕСЫ

Мечусь бесплодно и устало,  
И мыслить и любить спеша.  
Как далека от идеала  
Ты, грозная моя душа!

В тебе, возвышенной и чистой  
Сестре безоблачных небес,  
Гнездится ревность — черт когтистый,  
И пляшет зависть — мелкий бес.

Влечет постель, и вместе с нею,  
Неверный сокращая день,  
Ласкает, охватив за шею,  
Изнеженная ведьма — лень.

И скупость, чертово отродье,  
И неподъемный, как бревно,  
Пузатый бес чревоугодя  
С зеленым змием заодно.

И мрачный баловень несчастья,  
Тяжелый всадник на плечах —  
Губастый демон сладострастья  
С безумным пламенем в очах.

И яд огнем вскипает в жилах —  
Медлительный, как кровь змеи,

И объяснить себе не в силах  
Дела и помыслы свои.

И призраками увлекаюсь,  
И падаю, и встать спешу,  
Грешу и каюсь, зарекаюсь,  
Вновь каюсь и опять грешу!

Душа, ты расплылась, как глина,  
Любую форму не любя...  
О внутренняя дисциплина,  
Мой бог, как обрести тебя?

Тоскую по твоим оковам  
И тягочусь собой самим,  
Бессмысленным и бестолковым  
Существованием токим...

Я знаю: в каждом сердце смешан  
С извечной тьмой извечный свет.  
Кто говорит, что он безгрешен,  
Тому вовек доверья нет!

Заблудшего да не осудим,  
Соединив в своей судьбе  
Великую терпимость к людям  
С жестокостью к самим себе.

# Василий Степанов

\* \* \*

Мной Россия исхожена,  
Мной полмира измеряно.  
Мое счастье тревожное  
По окопам растеряно.

Мои руки рабочие,  
Не выдавшие отдыха,

До работы охочие,  
Били гадов без промаха.  
Потому без парадности,  
В неумной мятежности  
Сердце тянется к радости,  
К счастью,

ласке

и нежности...





# Роберт Рождественский

## РУЛЕТКА

Рулетка!  
Вот вы не знаете о ней,  
а это  
очень интересно...

Калека,  
превозмогая паралич,  
привстал  
с продавленного кресла!

Девушка,  
чтоб не закричать,  
платочком рот закрыла плотно...  
Крупье спокоен,  
будто он —  
потомок  
целой стаи  
лордов...  
А с краю —  
интернациональный хлыщ  
и нарумяненная дама.

Играют!  
Рулеточное колесо,  
как будто спелый взгляд  
удава!

Рулетка!  
Она летит,  
летит,—  
да так,  
что в горле  
пересохло!..

Налей-ка,  
хитрюга бармен,  
рюмку  
чертового сока!

Собратья!  
Нечего грустить,  
о бременном житии трепаться...  
Сыграем!  
Во что хотите!  
Можно — в карты.  
Можно даже так —  
на пальцах!

Заботитесь?  
 Ну что ж,  
                   давайте сыграем в заботу,  
                   о дальнейшем не кручинясь.  
 Не бойтесь!  
 Мы не обманем.  
                   Не обманем.  
                                   Мы еще  
   не научились...

Поэтому  
 плевать,  
                   что кто-то одинок,  
                                   ждет помощи,  
 а кто-то  
                   плачет!  
 Поехали!  
 Четыре сбоку.  
                   Наших нет.  
                                   Не пляшут наши.  
   Ваши  
   пляшут!..

Поправим!!  
 Пусть будет ставкой —  
                                   совесть!  
 Чтоб глаза осоловели...  
 Сыграем!  
 Давайте кинем кости.  
                   Лучше сразу —  
                                   человечьи!  
 Пусть по степям они покатаются  
                                   и там белеют  
   зряшно...

Крупье спокоен, будто кладбище.  
 Он стар.  
 И это  
                   страшно!  
 Крупье орудует лопаточкой.  
 Плывут  
                   орлы и решки...

И шар земной  
                   летит сквозь ночь.  
 Как будто шарик  
 от рулетки.

# Фазиль Искандер

## БАЛЛАДА О БЛАЖЕННОМ ЦВЕТЕНИИ

То было позднею весной, а может, ранним летом.  
Я шел со станции одной, дрозды трещали где-то,  
И день, процеженный листвою, стоял столбами света.

Цвела земля внутри небес в неповторимой мощи,  
Четыре девушки цвели внутри дубовой роши.

Над ними мяч и восемь рук еще совсем ребячьих,  
Тянущихся из-за спины, неловко бьющих мячик.  
Тянущихся из-за спины, как бы в мольбе воздетых,  
И в воздухе, как на воде, стоял волнистый след их.

Так отстраняются, стыдясь минут неотвратимых,  
И снова тянутся любя, чтоб оттолкнуть любимых.

Так улыбнулись мне они, и я свернул с дороги,  
Казалось, за руку ввели в зеленые чертоги,  
Чертоги неба и земли и юные хозяйки...

Мы поиграли с полчаса на той лесной лужайке,  
Кружился волейбольный мяч, цвели ромашек стайки.  
Четыре девушки цвели, смеялись то и дело,  
И среди них была одна — понравиться хотела.

Всей добротой воздетых рук, улыбкою невольной,  
Глазами — радостный испуг от смелости крамольной,  
Был подбородок полукруг еще настолько школьный...  
Всей добротой воздетых рук, улыбкою невольной.

А я ушел своим путем и позабыл об этом.  
То было позднею весной, а может, ранним летом.

Однажды ночью я проснусь с тревогою тяжелой,  
И станет мало для души таблетки валидола.  
Сквозняк оттуда (люк открыт!) зашевелит мой волос,  
И я услышу над собой свой юношеский голос:  
— Что жизнь хотела от тебя, что ты хотел от жизни?

Пришла любовь, ушла любовь — не много и не мало.  
Я только помню: на звонок, сияя, выбегала.  
Пришла любовь, ушла любовь — ни писем, ни открыток.  
Была оплачена любовь миллионом мелких попыток.  
И все, что мужеством далось или трудом упорным,  
С душой существовало врозь и становилось спорным.

Но был один какой-то миг блаженного цветенья,  
Однажды в юности возник, похожий на прозренья.  
Он был превыше всех страстей, всех вызубренных истин,  
Единственный из всех даров, как небо бескорыстен!

Так вот что надо было мне при жизни и от жизни,  
Что жизнь хотела от меня, что я хотел от жизни.

В провале безымянных лет, у времени во мраке  
Четыре девушки цветут, как ландыши в овраге.  
И если жизнь — горчайший вздох, то все же бесконечно  
Благодарю за четырех и за тебя, конечно.

## Юлия Нейман

### ПЕРЕВОДЧИК

Кто я?..

Только — безымянный голос,  
Переводчик чувств чужих и волю  
На свою отзывчивую боль,

Только тот, кто проникает в полость  
Хаоса, сокрытый зов нутра  
Переводит в разговор добра,

Тот, кто ловит в день обыкновенный  
Первую подачу из вселенной —  
Ленту зыбкую тире и точек...

...Но — скажи, поэт! Кто ты такой?  
Разве не извечный переводчик  
Шумов жизни  
на язык людской?..

## Вадим Ковда

\* \* \*

Я очень незаметный человек.  
Когда пройду —  
никто не обернется.  
Кепчонка из букле на голове,  
И, в общем,  
простовата  
форма носа.  
Хожу, гляжу  
по улице,  
один.

Не гороплюсь,  
рукою  
в такт  
качаю.  
Я очень  
незаметный гражданин.  
И хорошо,—  
Я больше замечаю.

# Игорь Кобзев

## ЛОЖКИ ЗВУЧАТ

Ромашковый луг...  
Подружки вокруг...  
В деревне спать ложатся,  
А ложки: тук-тук-тук...

Покуда на гармошку  
Рублей не наберет,  
На деревянных ложках  
Играет паренек.

Для чего всем ложки?  
Просто — для еды.  
А хочется немножко  
Душевной красоты.

Гитарой или скрипкой  
Легко заморозить,  
Попробуйте улыбку  
На ложках заслужить!

Ложки стучат,  
Ложки звучат,  
А девичьи ножки  
Танцевать хотят...

Такой народ умелец  
В моем краю живет —  
Все-то он умеет,  
Все в руках поет!

# Григорий Корин

## ТРУС

Провозглашал он смелость,  
Везде о ней грубил,  
А сам писал он мелом,  
Чернил он не любил.  
На аспидных страницах,  
Закрытых на замок,  
Жила его синица —  
На крылышке звонок.  
Когда звонил звоночек,  
Он сразу подбегал  
И шелковым платочком  
Страницы вытирал.  
Но щеки вдруг обвисли,  
И стал он уставать

От собственной же мысли —  
Свою же мысль стирать.  
И как-то раз он смелость  
Другую ощутил  
И, распрощавшись с мелом,  
Принес бутылку чернил.  
И выпустил синицу  
Из аспидной тоски,  
И поломал страницы,  
И выбросил мелки.  
Но то, что в сердце зрело,  
Вернуть не в силах был.  
Он жил — белее мела,  
Живет — черней чернил.



\* \* \*

Много лучше  
Могло б все быть...  
Реже — тучи  
И легче — быт,  
Звонче — птицы,  
Прозрачней — лед,  
Горше — пиво,  
И слаще — мед...

...Мерзнут груши,  
И стынут души,  
Глубже лужи,  
И птицы глуше...  
Я судьбу теперь  
Не корю:  
— Хуже не было б...—  
Говорю.

## Булат Окуджава

### ПРОЩАНИЕ С ПОЛЬШЕЙ

*Агнешке Осецкой*

Мы связаны, поляки, давно одной судьбою  
в прощанье, и в прощенье, и в смехе, и в слезах...  
Когда трубач над Краковом возносится с трубою,  
хватаясь я за саблю с надеждою в глазах.

Потертые костюмы сидят на нас прилично,  
и плачут наши сестры, как Ярославны, вслед,  
когда под крик гармоник уходим мы привычно  
сражаться за свободу в свои семнадцать лет.

Свобода — бить посуду? Не спать всю ночь — свобода?  
Свобода — выбрать поезд и презирать коней?..  
Нас обделила с детства иронией природа...  
Есть высшая свобода. И мы идем за ней.

Кого возьмем с собою? — Вот древняя загадка.  
Кто будет командиром? Кто — денщиком?

Куда  
направимся сначала?

Чья тихая лошадка  
минует все несчастья без драм и без труда?

Над Краковом убитый трубач трубит бессменно.  
Любовь его безмерна.

Мотив тревоги чист...  
Мы — школьники, Агнешка. И скоро — перемена.  
И чья-то радиолоа наигрывает твист.

## МОЛОДОГ ГОНЧАРА

Красной глины беру прекрасный ломоть  
и давить начинаю его и ломать,  
плоть его мять, и месить, и молоть...  
И когда остановится гончарный круг,

на красной чашке качнется вдруг  
бык — отпечаток с моей руки,  
серый аист, пьющий из белой реки,  
черный нищий, поющий последний стих,  
две красотки зеленых, пять рыб голубых.

Царь, а царь,  
это рыба раба твоего,  
бык раба твоего,  
больше нет у него  
ничего,

черный нищий, поющий во славу его  
от обид обалдевшего раба твоего!..

Царь, а царь!

Хочешь, будем вдвоем рисковать?

Ты — башкой рисковать,

я — тебя рисовать?

Вместе будем с тобою озоровать:

бога — побоку,

бабу — под бок, на кровать?

Царь, а царь,

когда ты устанешь с золота есть,

вели себе чашек моих принесть,

где желтый бык — отпечаток с моей руки,

серый аист, пьющий из белой реки,

черный нищий, поющий последний стих,

две красотки зеленых, пять рыб голубых!..

## ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ

Л. К.

Осенний холодок, пирог с грибами,  
калитки шорох и простывший чай...  
И снова неподвижными губами  
короткое как вздох:

«Прощай, прощай...»

«Прощай, прощай...»

Да я и так прощаю

все, что простить возможно.

Обещаю

и то простить, чего нельзя простить,—  
великодушным мне нельзя не быть.

Прощаю всех, что не были убиты  
тогда, перед лицом грехов своих...

«Прощай, прощай...»

Прощаю все обиды,

обеда

у обидчиков моих.

«Прощай...»

Прощаю, чтоб не вышло боком.

Сосуд добра до дна не исчерпать.

Я чувствую себя последним богом,

единственным, умеющим прощать.

«Прощай, прощай...»

Старания упрямы.

(Пусть мне лишь не простится одному.)

Но горести моей прекрасной мамы

прощаю я неведомо кому.

Прощаю побелевшими губами,

покуда не повторится опять

осенний горький чай, пирог с грибами

и поздний час — прощаться и прощать.

# Аделина Адалис

## ПОСВЯЩЕНИЕ ЛЮДМИЛЕ

Вот в простоватом личике скуластом  
Вновь просияло царственное что-то...  
Встречается подобное не часто,  
Но это не моя уже забота.

О, эта важность от ума и власти,  
О, эта влажность — серых глаз ненастье...  
Пусть звали бы тебя Анастасия,  
Но только бы не Надя и не Настя!..  
Россия ты моя, моя Россия!

Нет, имя не идет тебе Людмила,  
Ни Люда не идет тебе, ни Люся...  
О, лебеда взмывающего сила,  
Крик дикого промчавшегося гуся!..  
Россия ты моя, моя Россия.

Что может быть любви невыносимей?  
Я слезы лью о том, что ты красива,  
Ни людям, ни богам не подопечна,—  
От ярости, что разум не всемогущ,  
От ужаса, что красота не вечна!..

Россия ты моя, моя Россия!  
Я плачу о бессмертном человеке,  
О том, кого бы войны не сразили  
И не сносили каменные реки,  
Не разгромили грозами стихии,  
И косы бы стальные не скосили,—  
Я плачу о бессмертном человеке...  
Россия ты моя, моя Россия!

# Надежда Мальцева

\* \* \*

Сентябрь! Я выхожу во двор  
Встречать легчайший беспорядок  
Пучков, горстей, охапок, прядок,  
Озябших листьев разговор.

Тропинка, куст. Уж минул год  
С тех пор, как осень провожала.  
С лесного, мокрого вокзала  
Неслышно поезд отойдет.

И я махну ему платком,  
И ветками махнут деревья...  
О, где вы, запахи кочевья,  
Души хрустальной ледолом?

О, где ты, горестный народ  
Ручьев, поющих тайно в чаще,  
Высокий день и лес звенящий,  
Небес прозрачный ледоход?

...Как рой пчелиный, лес гудит,  
Он золотист, он желт, как соты.  
Так большегубо, большеерото  
Рябины гроздь в ветвах глядит.

И мысли тяжелы, черны,  
Остры, как птичьи вереницы,  
И листья падают, как лица,  
В большие руки твинины.

# Инна Лиснянская

\* \* \*

Меня не надо поучать.  
Уже прошли те сроки.  
Уже опасно получать  
Полезные уроки.  
Я как равнинное село,  
Как первый дом барачный.  
Но возникала,  
Как стекло,  
Я создавалась тяжело  
И потому — прозрачна.  
И сердце потому во мне  
Не в панцире улитка,  
А детское лицо в окне,

А шар на долгой нитке.  
Есть тот предел,  
Где все видать.  
И тут-то  
Все небоги,  
Как боги, могут преподавать  
Полезные уроки.  
Ах, бедные!  
Вы ни при чем.  
И это в Лету канет.  
Вам просто проще  
Со стеклом,  
Чем с деревом и камнем.

## СЕНТЯБРЬ

Мечтала осенью хотя бы  
Я поселить в себе покой.  
Ну, отчего же ты, сентябрь,  
Словоохотливый такой?  
Дождями,  
Листьями,  
Крылами  
Лепечешь, шепчешь и шумишь.  
Деревья сталкиваешь лбами.  
Совсем как маленький шалишь.  
Нет, не шалишь!  
Тут все иначе.  
Ты знаешь то,  
Что знаю я:  
Все выговорить — это значит  
Предельно оголить себя.  
И ты идешь на это — смело —  
В запасе год...  
И снова год...  
А я робею,  
Я не смею.  
А вдруг листва не нарастет?

# Анисим Кронгауз

## ВОЗРАСТ

Я восклицаю:  
«Как я стар!»  
И вспоминаю жажду, голод,  
Которые я испытал  
Последний раз, когда был молод.

И настоящий полдня жар,  
Знобящий холодок рассвета...  
И, восклицая: «Как я стар!»,  
Я верю в это, верю в это.

Хотя, сквозь годы напрямик  
Пройдя  
И поглядев обратно,  
Когда-нибудь и этот миг  
Я вспомню с завистью понятной:

Себя припавшего к рулю  
И мчащийся навстречу город...  
И с верой в то, что говорю,  
Воскликну я:  
«Как я был молод!»

# Сергей Поликарпов

\* \* \*

Сапожки красные сафьяновые,  
Серебряные каблучки...  
И мысли скачут словно пьяные,  
От вседоступности легки.

Ах, не клони к согласью голову,  
Ах, взгляд не прячь в воротнике.  
Ах, не воркуй беспечной горлицей  
На ловчей на моей руке!

Не дай силкам моим простаивать  
И хитроумность втуне скрыть.  
Не дай,  
Чтоб в вашей громкой стае я  
Мог повелителем ходить.

Ах, не клони к согласью голову,  
Спрячь взгляд в высоком далеке.  
Не горлицу —  
Орлицу гордую  
Хочу смирить в своей руке!

# Светлана Кузнецова

\* \* \*

Зачем во мне гордыню ты растил?  
Зачем учил запрету и завету?  
Разбаловал меня и распустил  
И отпустил такой по белу свету.  
Одуматься хотя бы помогли,  
Да не смогли, а впрочем — было поздно,  
Глаза я опускала до земли,  
А руки запрокидывала к звездам.  
И небеса росли, до слез огромны,  
И падала мне на плечи роса,  
А под ногами складывались в бревна  
Меня не предававшие леса.  
А я их предавала не однажды  
И строила ненужные дома,  
Там губы сохли от напрасной жажды  
И не было ни друга, ни письма.

\* \* \*

Нет грустнее встречи с братом.  
Двое за столом,  
Всё с обидой, всё с возвратом,  
Всё — наперелом.  
Кровь одна.  
Вина одна.  
Жизнь другая не видна.  
Брат — сестра.  
Брат — сестра.  
Так до самого утра.  
Что было, чего не было,  
Что быть еще могло,

Что девочкой не ведала,  
Что с разума свело.  
Чем прошлое поранил,  
Чем горе поверял,  
Чего там поистерял,  
Чего порастерял.  
Брат — сестра.  
Брат — сестра.  
Дотянуть бы до утра.  
Дотянуть бы, дожить,  
Чтоб снова жизнью дорожить.

# Рувим Моран

## ЗАКАТ

Мы мчались по горной долине,  
Щебенку отбрасывал скат,  
Гигантские перья павлиньи  
Развертывал в небе закат.

Преддверие ночи на юге  
Заставил он так засверкать,  
Что в доводы трезвой науки  
Душе не хотелось вникать.

Но память брала из-под спуда  
Не сказ о жар-птице, а был

О том, что закатное чудо  
Творит атмосферная пыль.

И грязи, и влаги частицы  
Луч неба обязан пройти,  
Чтоб краской живой засветиться  
Впервые на долгом пути.

Пускай это вовсе не ново,  
А все же, друзья, неспроста  
Без теплого праха земного  
Немыслима красота!

# Феликс Чуев

\* \* \*

Спокойно спит майор Устинов  
под бессарабскою травой.  
Два крепыша — веселых сына  
в танкистах служат под Москвой.

Москва, уверенно ликуя,  
выводит танки на парад.  
Москва сурово салютует  
ему который год подряд.

А он не слышит ни раскатов,  
ни даже — рядышком травы,  
майор, подкошенный гранатой,  
не долетевшей до Москвы.

# Владимир Кулагин

## ДРУЗЬЯ МОИ

Друзья мои  
        в семнадцать лет  
Родные хаты кинули.  
Друзья мои  
        в семнадцать лет  
На поле брани сгнули.

Садится солнце за селом,  
И, кстати ли,  
        некстати ли,  
Вхожу,  
        связ кепку,  
        в каждый дом,  
Где жили вы,  
        приятели.

Как будто  
        только из гостей,  
Надев рубахи новые,  
Глядят улыбочиво со стен  
Ровесники бедовые —

Моя мальчишечья родня,  
Драчливая,  
        вихрастая.  
Без вас не мог прожить и дня,  
Хоть с вами дрался  
        часто я.

И, оторвать не в силах глаз,  
Стою как бы прикованный.  
Смотрю двадцатый раз  
        на вас,  
Не стильных,  
        не балованных.  
Потом всю ночь мне  
        не уснуть,  
Опять,  
        стальными,  
        колкими,  
Хлестнет война  
        навылет в грудь  
Калеными  
        осколками.

# Анатолий Преловский

## ГОРОД

Я в России новый человек,  
по Москве иду, как по чащобе.  
Тают крыши. Усыхает снег.  
Воробьи купаются в сугробе.

А над этим всем —  
дома, дома,  
как стволы с обрубленной кроной.  
Окнами нематыми зима  
смотрит в город вечный и огромный.

И среди этих каменных громад  
в поисках живой и нежной твари  
я любой безлистой липе рад  
на любом истоптанном бульваре.

Все равно что друга повстречать,  
все равно что ближнему открыться —  
постоять у дерева,  
помолчать,  
прежде чем уйти и раствориться.

# Дмитрий Нагаев

\* \* \*

Не трешников смятых ради,  
Что тычут со всех сторон,  
Стараются на эстраде  
Труба, рояль, саксофон.

Не робостью вдруг объаты,  
Пижоны отводят взгляд,  
Когда бесшабашно рядом  
О стол кулаки гремят...

Сидят за столом ребята  
Под дребезг оконных рам,  
Сидят за столом ребята,  
Не смотрят по сторонам.

Не слушают музыкантов —  
Им чудятся туже струн  
Под северным ветром ванты  
И пены седой бурун.

Они забывают горе  
И скудный уют кают,  
О море, о синем море,  
О белых чайках поют.

И песня та — не причуда,  
И даже хмель — не беда...  
Они сегодня оттуда,  
Им завтра снова туда.

Их молодость — до рассвета,  
Их зрелость — в краях других...  
Уже гремят по паркету  
Пудовые сапоги.

Уже, обещая скорость,  
Мигнул зеленый глазок.  
Угрюмый и милый город —  
Сырой темноты глоток.

У пирсов в клюзы уткнулись  
Тела тупых якорей...  
Скорей — каруселью улиц!  
Над черной водой — скорей!

И нет для тоски причины,  
И лица их горячи...  
Уносятся в порт машины,  
Тревожно грубя в ночи.

## КОЙКА

Койка номер такой-то.  
Спаспояс под бóком.  
Аварийное расписание — выше.  
В изголовье — плафон.  
Шторки в колере строгом.  
Прочный бортик, чтоб шторм из постели не вышиб.

Койка — для моряка.  
Не мягка, не просторна,  
И вдвоем на нее все равно не улечься...  
Можно вытянуть ноги, курить и, бесспорно,  
Видеть сны — те, что снятся от дома далече...

У меня была койка тринадцатый номер,  
В кормовом помещении номер тринадцать.  
Только номер, лишь он...  
А все прочее — в норме;  
За комфортом большим не приходится гнаться...

Я валялся на койку до дури усталый,  
Сны смотрел, вспоминал, перечитывал книжки.  
За бортом билось море.  
Игрались авралы.  
И спасательный пояс мне резал подмышки.

Мне бывало неважно.  
Бывало и хуже.  
Но ни разу не сбился тринадцатый номер:  
Видно, все, что могло,  
Приключилось на суше,  
На надежной земле,  
В тихом солнечном доме.

Не забыть ничего — ни в конце, ни вначале —  
Вероломство, ошибки, обиды, утраты...  
Но я снова,  
О будущем не печалюсь,  
С чемоданом в каюту спускался по трапу.

И я верил в удачу,  
Воюя и споря,  
И приметам плохим я не верил нисколько...  
Откровенная злость, прямодушные моря,  
И еще —  
Корабельная честная койка...

## Юрий Рудый

\* \* \*

Поет моряк про то, что в Аргентине  
Танцует крошка Мэри в кабаках,  
А сам скучает о москвичке Нине,  
Грустит гитара у него в руках.

Поет про то, что не забудет Мэри  
И не забудет чудные края,  
А самому дороже всех Америк  
Своя страна  
И девушка своя.

# Владимир Лифшиц

## АЭРОПОРТ

Аэропорт — всегда загадка,  
Хоть все известно наперед.  
Уже объявлена посадка.  
Ждет пассажиров самолет.

И странно сознавать, что, скажем,  
Сегодня днем вот этот бритт  
Вот с этим самым саквояжем  
Войдет в свой дом на Беккер-стрит.

И не во сне — на самом деле  
Индус, взглянувший на меня,  
По вечернему Дели  
Пройдет в конце того же дня.

В полете нет былого риска,  
Он совершается легко,  
И так мы друг от друга близко,  
Как друг от друга далеко.

## ТРЕТЬЕ ПРОЩАНИЕ

*Александр Гитовичу*

Мы расстаемся трижды. В первый раз  
Прощаемся, когда хороним друга.  
Уже могилу замечает вьюга,  
И все-таки он не покинул нас.

Мы помним, как он пьет, смеется, ест,  
Как вместе с нами к морю тащит лодку,  
Мы помним интонацию и жест  
И лишь ему присущую походку.

Но вот уже ни голоса, ни глаз  
Нет в памяти об этом человеке,  
И друг вторично покидает нас.  
Но и теперь уходит не навеки.

Вы правду звали правдой, ложью — ложь,  
И честь его — в твоей отныне чести.  
Он будет жить, куда ты живешь,  
И навсегда уйдет с тобою вместе.

# Ирина Снегова

## ПОДРУГЕ

Всегда в горячке, целый век бегом,  
Всех накормить, концы с концами свести...  
Какая-то в кружении таком  
Отчаянность и непреклонность есть.

А люди пьют, как чай, житье-бытье  
И говорят, в нем сладость, в том питье...  
Но жизнь твоя — она ведь не житье,  
Она из тех, что звали:

ж и т и е.

\* \* \*

Я странной хронологии держусь:  
То год, как день,  
То час, как век, тяну.  
Сто тридцать лет тому, а я сержусь  
На Тютчева за первую жену...  
А ялтинских промозглых зим озноб —  
Печаль какая в чеховском дому!  
Да можно ль так! Скорей скажите, чтоб  
Несли огня — впотьмах нельзя ему!..  
Но этот, по ту сторону стола,  
Глумящийся! В лицо! Средь бела дня! —  
Вот он — живой. Он может много зла...  
Он  
    временем  
        отрезан  
            от меня.

## Лев Озеров

### КАЧНУЛАСЬ ВЕТКА...

Отягощенная пчелою,  
Качнулась ветка. Тишина.  
И вот как будто меж землею  
И небом дрогнула струна,  
Натянутая тетивою  
Невидимой, и в гулком зное

Отозвалась голубизна,  
И весь простор, и все живое,  
И всей вселенной глубина.  
А где начало? Тишина.  
Качнулась ветка над землею,  
Отягощенная пчелою.

### ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ

*К. И. Чуковскому*

Идут сутулясь. Темные спины.  
Императорские пингвины.

У них чарличаплинская походка.  
Рапортуют кратко. Ведут себя кротко.

Над ними рассветы. Над ними закаты.  
Снега розоваты и ноздреваты.

Идут, сутулясь, в объятья метели,  
Важные, словно несут портфели.

Не то референты, не то дипломаты.  
Они сановиты, они синеваты.

У них заботами гнутые спины,—  
Императорские пингвины.

# Иван Харабаров

## ЛЕГЕНДА О БЕРЕЗЕ

Есть легенда в Сибири  
с незапамятных лет,  
Есть преданье  
о русской березоньке вечной:  
Будто шла она всюду  
за русскими вслед  
Иль спешила вперед,  
как гонец и разведчик.  
Там, где кедры темнели  
и саранки цвели,  
Среди дебрей шумящих,  
возле рек безымянных,  
Появлялась береза  
из дремучей земли,  
К суеверному ужасу  
старых шаманов!  
Среди кедров угрюмых,  
между темных ветвей  
Появлялась береза,  
будто солнечный лучик,  
И в тайге становилось  
и теплей, и светлей,  
И шептали шаманы:  
значит, близятся люча \*.  
Но глядел с любопытством  
охотник-бурят  
На нее,  
что несла столько ласки и света:  
«Может, русский не враг,  
а товарищ и брат,  
Если добрый такой же,  
как и дерево это».  
С тех приокских полей,  
с тех приволжских полян,  
С берегов,  
где ютились крепостные селенья,  
Появлялась береза  
на отрогах Саян,  
Над Байкалом —  
без царского соизволения!

---

\* Л ю ч а — русские.



# Андрей Досталь

## РОССИЯ

Я знаю и храмы святые,  
И светлые наши поля.  
Россия,  
Россия,  
Россия —  
Бессмертная наша земля.

Я знаю березки степные  
И синие наши леса.  
Россия,  
Россия,  
Россия —  
Бессмертная наша краса.

Ругают нас люди иные,  
А им бы пристало понять,  
Что с именем светлым —  
Россия —  
Придется и им умирать.

# Виктор Урин

## ВЕРШИНЫ

О нет, не просто быть вершиной,  
равняться по большим словам,  
но если все же вы решили —  
деревья пусть помогут вам.

В долготерпенье и в наречье,  
в движениях вершин густых  
есть что-то наше, человеческое,  
но больше стойкости у них.

Смотрите, как их потомили,  
как их обстреливает град,  
ну, а они, как в пантомиме,  
изображают и молчат.

Вот ливни точно розги льются,  
но, презирая злобный вой,  
деревья, как истиннолюбцы,  
качают молча головой.

Не сваливала их усталость,  
и в налетевшую грозу  
вершинным веткам доставалось  
куда сильнее, чем внизу.

Но, принимая испытанья,  
деревья, подвиг совершив,  
в движенье сохранили тайны  
своих задуманных вершин.

# Николай Рыленков

\* \* \*

В чем виноват — винюсь. Я без оглядки жил,  
Доверчиво в пути рассвет встречая каждый.  
Был весел и угрюм, влюблялся и дружил,  
Под солнцем дня палим неугасимой жаждой.

Я жизнь вбирал в себя. Я познавал ее  
В бореньях и трудах. И пусть приходит старость.  
Я пил полынь и мед, не пресное питье,  
И знаю цену слов, где время отстоялось.

\* \* \*

Мы видим мир  
ревнивыми глазами,  
Но кто за это смеет нас корить?  
На всех путях,  
что нам пришлось торить,  
Мы за свои ошибки — платим сами,  
А за чужие — тоже нам платить.

\* \* \*

Да, ты бесчестным не был никогда,  
Но честность тоже разная бывает,  
И если доброты ей не хватает —  
Она всего лишь мертвая вода.

\* \* \*

Разум и совесть, отец и мать.  
Есть кому песню благословлять.  
Если в согласье они живут,—  
В путь несмышленную не пошлют.  
Научат, как ложь по глазам узнать,  
Разум и совесть, отец и мать.  
Если ж согласья меж ними нет —

Смутной уйдет она в белый свет.  
Примет в пути, что остер как нож,  
Ложь за правду, правду за ложь.  
Будут напрасно назад ее звать  
Разум и совесть, отец и мать.  
Разум и совесть, отец и мать —  
Вместе им радоваться и горевать.

# Леонид Шкавро

## ПЛОТОГОНЫЧ

С вересковой зеленой  
хвостинкою во рту  
восседает Плотогоныч  
и державит на плоту.

И плывут легко и ровно,  
обходя бурун-валы,  
окантованные бревна  
за далекий Усть-Балык.

Да ему в ряду бывалых  
разве равного найдешь,  
если он на адмирала  
чем-то чуточку похож.

Он порою на порогах —  
только б флот свой уберечь —  
как закатит в адрес бога  
удивительную речь!..

А потом,  
        шутя, заметит:

— Вот, брат, видишь, и помог...  
Стало быть,  
        еще на свете  
иногда  
        сгодится бог...

И с любовью плотогона,  
где строители живут,  
не по паспорту —  
        Платоныч, —  
Плотогонычем зовут.

По реке  
с кондовым лесом  
в две версты  
        сосновый плот  
под его началом  
к месту  
назначения плывет,  
где от нового причала  
отступила тишина...

Города берут начало  
с корабельного бревна.

# Светлана Янгулова

\* \* \*

Вскочу на лошадь и уеду  
На сенокос, в таежный луг,  
Чтоб есть малину за обедом  
Из розовых от сока рук;

Чтобы из капель, из росинок  
Венок на голове нести;

Чтоб белка шишкой запустила  
И тут же крикнула: «Прости!»

И ты, тайга, недаром пройдена,  
Есть у меня твоя черта —  
Мои глаза, как две смородины,  
Сверкают спело из куста.

# Владимир Соколов

## ВЕНОК

Вот мы с тобой и развенчаны.  
Время писать о любви...  
Русая девочка, женщина,  
Плакали те соловьи.

Пахнет водою на острове  
Возле одной из церквей.  
Там не признал этой росстани  
Юный один соловей.

Слушаю в зарослях, зарослях,  
Не позабыв ничего,  
Как удивительно в паузах  
Воздух поет за него.

Как он ликует божественно  
Там, где у розовых верб  
Тень твоя, милая женщина,  
Нежно идет на ущерб.

Истина ненаказуема.  
Ты указала между.  
Я ни о чем не скажу ему,  
Я ни о чем не скажу.

Видишь, за облак барашковый,  
Тая, заплыл наконец  
Твой васильковый, ромашковый  
Неповторимый венец.

\* \* \*

Мчатся тучи...

«Натали,  
Наталья,  
Ната...»

Что такое, господа?  
Это, милые, чревато  
Волей божьего суда.

Для того ли русский гений  
В поле голову сложил,

Чтобы сонм стихотворений  
Той же  
Надобе  
служил.

Есть прямое указанье,  
Чтоб ее нетленный свет  
Защищал стихом и дланью  
Божьей милостью поэт.

\* \* \*

Мне нравятся поэтессы.  
Их пристальные стихи.  
Их сложные интересы.  
Загадочные грехи.

Как бледностью щеки пышут  
У всех на иной манер.  
И как о мужчинах пишут  
По-рыцарски. Не в пример.

Их подвиг не быть обузой  
Ни в цехе, ни в мастерстве  
И жить — пребывая с музой  
В мешающем им родстве.

Я рад, что в наш век тревожный,  
Где с пылом враждует пыл,  
Их дружбою осторожной  
Порою отмечен был.

## ПАРОМ

Грустно было мне  
Покидать обветренные стены  
Домика на правой стороне...  
Полз паром. На нем мерцало сено.  
И платки помахивали мне  
Розовые, белые, шумя,  
Ссорясь меж собой, крича как чайки.  
То с базара ехали хозяйки.  
Мужики их слушали. Дымя.

Грустно было мне,  
Что под этой синью беспощадной  
Я сидел безбабий, безлошадный,  
Необобществленный, в стороне.  
Здесь провел я лето.

Эти стены,  
Этих жар и ливней перемены,

Этот говор акающий наш,  
Этот в волнах окающий говор,  
Эта дружба выгонов и горок...

Ах, идет, идет  
Паромщик наш.  
Выпиваю с ним по чашке чаю.  
Отвечаю:

«Что ж... Ну, поскучаю.  
Вновь приеду, ежели смогу».  
Говорю с неведомым зазнайством:  
«Может, сам... обзаведусь хозяйством...»  
Кланяюсь ромашке, иван-чаю,  
Как иду к воде, не замечаю...

Что-то там на левом берегу?

## Наталия Шмитько

\* \* \*

*Хиросиме*

1

Секунда — и взрыв,  
Секунда — и смерть,  
И огненный смерч,  
А небо навзрыд  
Роняет звезду  
за звездой.

2

Волосы факелом вздыблены в небо.  
Мечутся молнии рук  
И догорают,  
на землю рухнув.

Как обнаженные нервы  
каркасы домов  
В раненом теле города.  
В горле  
У сотен вопль  
Сливается с воем сирены.

3

А дети продолжают умирать  
у мира  
В ласковых ладонях.  
И обреченно, беспокойно  
Вслед улетающим  
журавликам  
Тянутся худенькой рукою.



# Владимир Цыбин

\* \* \*

Когда пурга лесок  
весь до краев наполнит  
и мартовский ледок,  
как каравай, надломит —  
тогда над кромкой льда  
тепло задышит завязь,  
обмякнут холода,  
на землю осыпаясь.  
Я возле тишины  
остановлюсь погреться  
у елки, у сосны,  
у ясности,  
у детства.  
И возле холодов  
из памяти забытой  
пахнет  
гальцой грибов  
и теплой земляникой.  
И веришь напролом,  
что есть на свете чудо,  
а где семья, где дом —  
не ведаешь покуда.  
Жить вышло как-нибудь,  
все наспех, без порядка.  
Озяб я — не чуть-чуть,  
и даже помнить зябко.

И все же навсегда  
верста поманит та лишь,  
где даже в холода  
всей памятью оттаешь.  
Оттаешь, отойдешь,  
непамятливый, зимний,  
ведь после снега — дождь!  
И ожиданье ливней!  
Мне жить — не уступать,  
мне знать,  
где жар, где холод.  
Ах, только бы не вспять —  
пусть в синеву,  
пусть в прорубь!  
В сугробы ли, в цветы.  
Поверить?  
Не поверишь!  
У вечной мерзлоты  
судьбу ли отогреешь?

Обмякли холода  
и раскалились люто...  
Звонит над кромкой льда  
день хрупкий,  
как сосулька.

## ИЛЛЯ

Илюшенька! За топями,  
шумят леса у Мурома,  
что печь давно не топлена,  
изба давно не убрана.  
Где холодно, где польмя!  
Где снежно? И где зелено?  
— Куда ты?  
— На три стороны.  
— На три идти не велено,  
у трех путей, как надолбы,  
леса,  
где сложишь голову.

А нужно бы, а надо бы  
хоть пешему, хоть конному!  
У явора, у явора  
звезда красна,  
как ягода,  
и даль бела от инея  
от Мурома  
до Киева.  
Где широко, где узенько —  
ищи решенья мудрого!  
Куда тебе, Илюшенька,  
куда тебе из Мурома?

Где головы оставили —  
налево ли? Направо ли?  
Без славы и без времени!  
Направо ли?  
Налево ли?  
А прямо — кружат вороны,  
и мглою путь твой застится.  
Не вовремя, не вовремя  
тоска хватает за сердце.  
По шелесту, по вереску  
угадывай в траве версту.  
Забыта ли? Утеряна?  
У скита ли? У терема?..  
От польмя до польмя  
ведет путь до сих пор меня,

где выдано не в малости  
и нежности и ярости.  
Где звездочка? Где просека?  
Ни отклика! Ни посвиста!  
Ни облака, ни всполоха.  
Ни волоха, ни половца.  
От явора до явора  
все больше лета ярого,  
все больше сока вязкого,  
все больше цвета ясного!  
И песня не состарится,  
неторопливо скажется.  
Пусть время прогибается  
под песенною тяжестью.

## ДОЖДИ

В моей родительской глуши,  
заночевав среди соломы,  
стучат,  
стучат,  
стучат дожди  
о ставни, словно почтальоны.  
Я берегу тоску избы  
который год неотвратимо  
по круглому комочку дыма,  
что выкатился из трубы.  
Она еще жива, изба,  
не зря ведь тычется спросонок  
в глухую ставень, как теленок,  
лучом  
упавшая звезда...  
Я берегу тоску избы  
и в памяти  
и в каждой строчке!  
Туда, где белые столбы,  
бегут года поодиночке!  
Я жду, что вот, за много лет,  
в избе, куда стучится дождик,  
распустится однажды цвет  
и задрожит вдруг, как листочек!

О, тяга в дальние места,  
нам даль сверкнет — и станет тускло!  
У каждого своя изба,  
куда не суждено вернуться!  
Все ж захолодит, как от стуж,  
и так потянет тебя в глушь,  
где в изморози, как в пуху  
цыплячем,  
среди тиши и света,  
прижавшись тесно к лопуху,  
с рососою высыхает лето.  
Немало нас, что от своей  
избы,  
прислушиваясь к веку,  
от дальних дней и от дождей  
разъехались по белу свету!  
Сны высыпали, как грибы,  
в глаза — и стало все не просто,  
что ходит мать лишь  
от избы  
тебя встречать до перекрестка.  
Остановите, поезда,  
возле него свои вагоны.  
Стоит село. Стоит изба.  
Стучат дожди, как почтальоны.

# Давид Петров

## РОЖДЕНИЕ ЖЕРЕБЕНКА НА ПОЛИГОНЕ

Промокшие,  
пропахшие ржавчиной  
невзорвавшихся снарядов и мин,  
мы услышали ржание —  
у кобылы родился сын.  
Он топтался у матери под боком,  
как под солнцем  
веселое облако.  
А потом,  
словно в травы,  
мордой  
ткнулся в зелень гимнастерки мокрой.

# Николай Флёров

## АВРАЛ

Один поэт не разобрал,  
В чем главный смысл большого слова:  
Он слышал где-то про «аврал»,  
Но что оно — того не знал  
И обошелся с ним сурово.

И понял слово то поэт  
Прямолинейно и банально,  
Помесячно и поквартально:  
Мол, где аврал, там плана нет,  
Где плана нет — там все аврально.

Я знаю: мой ориентир —  
Простор морей и океанов.

Но все же не с квартальных планов,  
А с кораблей и капитанов,  
Наверно, начинался мир.

Аврал — и море ждет меня,  
Аврал — всеобщая работа,  
Аврал — как будто зори дня,  
Призыв к борьбе, канун похода.

Горнист на баке заиграл,  
И знай: не скоро перекурим,  
И слово доброе — аврал —  
Зовет в моря,  
Навстречу бурям.

# Варлам Шаламов

## ПТИЦЕЛОВ

Согнулась западня  
Под тяжестью синицы,  
И вся ее родня  
Кричит и суетится.

И падает затвор  
Нехитрого снаряда,  
А я стою как вор  
И не спускаю взгляда

С испуганных пичуг  
И, вне себя от счастья,  
Разламываю вдруг  
Ловушку ту на части.

И в мертвой тишине  
В моем немом волненье  
Я жду, когда ко мне  
Приблизятся виденья.

Как будто Васнецов  
Забрел в мои болота,  
Где много мертвецов  
И сказке есть работа.

Где терем-теремок,  
Пожалуй, по созвучью  
Назвал тюрьмою бог,  
А не несчастный случай.

Где в заводях озер  
Зеленых глаз Алены  
Тону я до сих пор,  
Охотник и влюбленный.

Где, стоя за спиной  
Царевича Ивана,  
Объеду шар земной  
Без карты и без плана.

Уносит серый волк  
К такой стране нездешней.  
Где жизнь — не только долг,  
Но также и — надежда.

В морщинах скрыта грусть,  
Но я не беспокоюсь.  
Я солнцем оботрусь,  
Когда росой умоюсь...

\* \* \*

Не спеши увеличить запас  
Занесенных в тетрадь впечатлений,  
Не лови ускользящих фраз  
И пустых не веди наблюдений.

Не ищи, по следам не ходи,  
Занимайся любой работой,—  
Сердце сразу забьется в груди,  
Если встретится важное что-то.

Наша память способна сама  
Привести в безупречный порядок,  
Все доставить тебе для письма,  
Положить на страницы тетрадок.

Не смутись — может быть, через год  
Пригодится такая обнова —  
Вдруг раскроется дверь и войдет  
Долгожданное важное слово.

# Анатолий Передреев

\* \* \*

*Все*

Эта полночь тиха и пустынна...  
Ты ко мне прислонилась плечом...  
Ты, конечно, ни в чем не повинна,  
Не повинна, конечно, ни в чем.

Ты ни в чем не повинна...  
Но, боже,

Что свело  
на земле этой  
нас?!

Никогда не рассказывай больше  
То, что ты рассказала сейчас.

... Над землей ни луны и ни ветра,  
Неподвижное небо — черно...  
Ты сказала мне все откровенно,  
Я сказать не могу ничего.

Да, все слишком легко и не сложно,  
Трудно только тебе объяснить,  
Что любить мне тебя невозможно,  
Невозможно тебя не любить!

## НОЧНОЙ САМОЛЕТ

Ночной летун, во мгле ненастной  
Земле несущий динамит...

*А. Блок.*

Еле слышимый звук долетает,  
Огонек  
еле видимый

поет —

Высоко над землей обитает  
Одинокий ночной самолет.

Словно собственный голос услыша,  
Испугавшись силы своей,  
Он уходит все выше и выше  
Над жилищами спящих людей.

Он уходит в туманность и млечность,  
Он мигает сигнальным огнем,  
Что его в этот час

бесконечность

Приютила в пространстве своем.

Что, причастен к сияющей бездне,  
Он земле в эту ночь не грозит  
И, кочуя в семействе созвездий,  
Как звезда, над землею горит!

# Антон Пришелец

## СТИХИ

Видно, так уж я  
Создан природой:  
Мне стихи —  
Прежде хлеба и меда.

Запретите  
Стихи мне любить,  
Я скажу —  
Запретите мне жить!

Есть у нас  
Стихотворцы большие,  
Но лишь те из них  
Сердцу в угоду,

Чье дыхание  
Слито с народом,  
Чья душа  
Прикипела к России!

# Анатолий Кудрейко

## ВАЛЬДШНЕП

Деревья, в сумрак ветви простирающие, проходят силуэтами любви.	Пронзая воздух длинным клювом-спицею, пронесся вальдшнеп с хорканьем вдали.
Выходят травы, землю раздирающие, еще не замечаемы людьми.	Но ветви, не затронутые птицею, от дрожи удержаться не смогли.
Весенний воздух — дух уединения — в предзвездной мгле счастливо напоен	Ты выстрелишь? Нет, выстоишь! Не надобен Трофеей у пояса... О, вальдшнеп мой, весна зеленым напоила снадобьем — ей с нами любо буйствовать самой!
не целомудрием отдохновения, а диким хмелем свадебных времен.	

# Владимир Савельев

## РУССКАЯ МЫСЛЬ

Не тебе ли,  
презревшей житей в заперти,  
выпадали на долю крутые пути?  
Не твою ли свободу,  
не твой ли размах  
предавали анафеме в гулких церквах?  
Но в сумятице лет  
ни свинец и ни плеть  
не сумели заставить тебя присмиреть.  
Был бессилен  
морозящий звон кандалов  
перед жаром тобой воспаленных голов.  
Неподкупная сущность мудреной души,  
это ты вызревала в сибирской глуши,  
это ты  
в легендарное время отцов  
поднимала в атаки безусых юнцов!  
И они,  
не смиряя волненья в крови,  
отрекались во имя тебя от любви.  
Спали в седлах,  
делили сухарь на обед  
и не тешились лаврами легких побед.

Годы мчат...  
Увлекая сердца и умы,  
свет и ныне не меркнет под натиском тьмы.  
Ныне, русская мысль,  
от глубин до высот  
справедливое время твое настает.  
Веку, смутному веку  
мила неспроста  
обогрелая кровью твоя прямота.  
По душе ему  
некий заветный причал,  
и мятежность великих и малых начал,  
и наследная щедрость степной доброты,  
и лукавая сказочность дерзкой мечты,  
и пленявшая даже чужие края  
не терявшая мужества правда твоя.  
Так блистай надо мною  
и в дали стремись,  
вдохновляюще гордая русская мысль!  
Нет для глаз человека страшней слепоты,  
если в них хоть порою не светись ты.  
Ничего нет завидней в тревожной судьбе,  
чем идти за тобой,  
удивляясь тебе.

## МУЖИЦКИЙ ЦАРЬ

Кивками отвечавший на поклоны,  
фортеции стиравший в порошок,  
мужицкий царь  
не нашивал короны  
и раз в полгода стригся под горшок.  
Он то с коней,  
выплясывавших сыто,  
то в час по-братски сдвинутых столов  
так гаркал на безграмотную свиту,  
что воронье срывалось с куполов.  
Оружие державший в изголовье,  
он многих,  
оставаясь начеку,

то жаловал доверьем и любовью,  
то вздергивал на первом же суку.  
И, весь пропахший потом и овчиной,  
для куражу прикинувшись царем,  
был мужиком,  
а значит, и мужчиной,  
а значит, и ответым бунтарем.  
В зарницах догорающих чертогов,  
хмелен от крови,  
узок от забот,  
клинок его взлетал,  
касясь бога,  
и падал вниз на головы господ.

Дворцовой знати бредилась картина:  
под гулкий  
колокольный перезвон  
свинцом и плетью меченный детина  
в портах дерюжных валится на трон.  
В палатах  
чернь гудит разноголосо,  
башкирины стреляют в потолоки,  
визжащих фрейлин  
лапают без спроса  
охочие до женок казаки.  
И вот,  
идя сквозь годы на сближенье,  
какого там я чуру ни проси,  
преследует мое воображенье  
мужицкий царь — гроза всяя Руси.

По образу тому же и подобью  
у волжских повторенный берегов,  
и я тяжелым взглядом  
исподлобья  
пытаю сговорившихся врагов.  
Под рев толпы  
давно отживших предков  
кидаюсь из-за стражнина плеча  
туда, где в клетке,  
словно птицу в клетке,  
везут казнить бессмертьем Пугача.  
Минувших лет расталкиваю сотни  
и немо жду,  
уоставившись в упор,  
когда державно буйствующим солнцем  
плеснет в него взметнувшийся топор.

\* \* \*

На людях едва покажись ты,  
как вмиг,  
не по воле причуд,  
бессильно опустятся кисти,  
беспомощно строки замрут.  
Сдавая полон без остатка,  
голов не щадя удалых,  
от хана  
в походных палатках  
батыры скрывали таких.  
В дворцах появляясь впервые,  
слова осмеяв и дела,  
без всякой корысти  
такие  
скупцов разоряли дотла.  
На шутку таким и веселье  
десятки суровых мужчин  
бросались поднять ожерелье  
со дна океанских пучин.  
И слепо  
путями крутыми,  
в метелях,  
в туманах,

в пыли  
романтики вслед за такими  
на штурм невозможного шли.  
Какой же всевышнюю властью,  
спасая за что  
и губя,  
мне счастье дано  
и несчастье  
часами смотреть на тебя?!  
Быть может,  
со смертью играя,  
без спроса махнув за рубеж,  
вдали от родимого края  
возглавлю я грозный мятеж.  
Полки проведу по соседству,  
сквозь слезы прищурюсь на Русь  
и мысленно  
с пулей под сердцем  
к тебе на мгновенье вернусь.  
И снова,  
без слов укоризны,  
у хмурых солдат на виду,  
последним движением в жизни  
к заветным стопам припаду.

\* \* \*

Татьяне

Ничьим увещаниям не внемля,  
от лютой безысходности смела,  
ты пала так,  
как падает на землю  
перо из лебединого крыла.  
Ты пала высоко и справедливо,  
таившиеся где-то невдали,  
твою косу полночного отлива  
сентябрьские ветры расплели.  
Где в мире был  
и где в нем небылица?  
Из мрака к свету вызванная мной,  
сорвись сейчас слеза с твоей  
ресницы —  
и грузно покачается шар земной.  
Не статуей античного сложенья  
ты выглядишь,  
изящество храня, —  
чертою между датами рожденья  
и смерти, караулящей меня.  
Попеременно милует и губит  
очнувшаяся вера в чудеса.  
Целую губы:

удивляюсь — губы!  
Глаза целую:  
господи — глаза!  
Зову тебя молчанием трекратным,  
У пристальных наветов на виду  
ладонь,  
как на оружие для клятвы,  
на хрупкое плечо твое кладу.  
И пусть о том взволнованно и вещь  
напоминает сердца перестук,  
что оба мы с тобой  
за эту встречу  
в долгу перед десятками разлук.  
Покорный зову матери-природы,  
в груди  
звериный вопль затая,  
я посягаю на твою свободу,  
любовь ненареченная моя!  
И память ослепляющей луною,  
луною,  
взятой теменью в кольцо,  
светло и немо всходит надо мною  
твое от счастья бледное лицо.

## Нина Эскович

\* \* \*

Таю как снегурочка,  
сама себя топлю.  
А утешил:  
— Дурочка,  
я ж тебя люблю! —  
Лишнее — не лишнее,  
а верю стгоряча.  
Расцветаю  
вишнею  
на стороне луча.  
Закружилась на лету  
майская обновка!  
На бубенчатом плоту  
уплывал соловка.

Я следила за плотом,  
а отсюда звали.  
А из вишни непутем  
дудку вырезали.  
Как же самая краса  
подберется к вишне?  
Уплыву с тобой, роса,  
как могу неслышной.  
Ах, как пела дудочка  
вдогонку кораблю!  
— Дурочка,  
дурочка,  
я ж тебя люблю!



# Павел Панченко

## УЛИЦА ДМИТРИЯ КЕДРИНА

Черкизово, бузинный старожил,  
Поет, что нет привольнее поселка,  
И мне все уши прожужжала пчелка,  
Что дух садов тебя заворожил.

Здесь в развалюшке Дмитрий Кедрин жил  
И очень дорожил своей светелкой.  
Попросит: — Соловеюшка, пощелкай! —  
А тот готов — хотя б всю кровь из жил!

Вот только год за годом горожане  
Сюда приносят города дыханье:  
Асфальт, автобус, институт,— беда!

Но что я говорю? Да так ли это?  
Ведь я иду по улице поэта,—  
Весна здесь поселилась навсегда.

# Александр Уваров

## РЕЛИКВИИ

По мнению моих друзей,  
Моя квартира как музей.  
Для постороннего — она  
И впрямь экзотики полна.

Трофеи моего труда —  
Зрочки кальмара, как слюда.  
И двухметровый ус кита,  
И рыб крылатых красота.

Вокруг — мое житье-бытье:  
Мартеном светится литье,

Пшеничный шум, кузнечный стук,  
И жар сердец, и доблесть рук.

Хранятся в ящике стола  
Куски металла и стекла.  
Один из них — в меня летел,  
Укоротить мой век хотел...

В моей квартире не музей —  
Дары врагов, дары друзей,  
Что замесили на огне  
Любовь и ненависть во мне.

# Марк Лисянский

## БЛАГОДАРНЫЕ СТИХИ

Ярославу Смелякову  
Я спасибо говорю,  
Ярослава Смелякова,  
Как могу, благодарю.  
А за что?  
Скажу про это  
Не спеша, не впопыхах...  
Мало пишут о поэтах,  
И тем более — в стихах.  
Сердце громче,  
Сердце тише,  
Я дышу и не дышу.  
О поэтах мало пишут,  
Я возьму да напишу!  
Был он молод,  
Был он в славе,  
Был во всем на свете прав.  
Жил тогда я в Ярославле,  
Жил в столице Ярослав.  
И, признаться, между тем как,  
Если вспомнить прежний пыл,  
Был для всех он Евтушенкой —  
Мне он Лермонтовым был!  
В Революцию влюбленный,  
Он писал стихи свои  
О России потрясенной,  
О работе и любви.  
Остроскулый,  
Сероглазый,  
Он с обложек книг смотрел.  
Я к нему в Москву ни разу  
Обратиться не посмел.  
Бесшабашно, бестолково  
Я вздох свое строчил,  
И хвалился Смеляковым,  
И стихи его учил.  
Шел в тревожные метели,  
Шел в предутренний туман...  
Золотые трубы пели  
Мне про Любку Фейгельман.  
И однажды в «Литгазете»  
Появилась — помню я —

Обо мне как о поэте  
Смеляковская статья.  
Сердце громче,  
Сердце тише —  
Я дышал и не дышал.  
Обо мне уж не напишут  
Так, как он тогда писал.  
Я с тех пор держал в секрете —  
Пусть погибнет мой секрет:  
Верно судит о поэте  
Только тот, кто сам поэт.  
Я своим глазам не верил,  
Я читал, читал...  
И московским утром  
В двери  
К Смелякову постучал.  
...Годы в седлах закачались  
По дорогам боевым —  
И Тридцатые промчались,  
Повернув к Сороковым.  
Позади такие дали,  
Что до Марса — пустыки!  
И меня не покидали  
Смеляковские стихи.  
Было трудно — что ж такого!  
Закурить бы — не курю...  
А еще я Смелякова  
Вот за что благодарю.  
Он прошел таежной глушью,  
Был у жизни на краю,  
Но пронес живую душу,  
Незамерзшую свою.  
Пусть мы сетуем порою  
На его колючий нрав,  
Мне он дорог, я не скрою,  
Прямотою,  
Правотою,  
Даже если он неправ!  
Он прощался в жизни трижды  
И с друзьями,  
И с Москвой,  
Мы не раз справляли тризны  
Над бедовой головой.

Все разлуки,  
Все оковы  
Разорвал, развеял в дым,  
И остался Смеляковым,  
И вернулся молодым.

...Мчится поезд-электричка,  
У окна, смотрю, сидит  
Симпатичная москвичка,  
Очень юная на вид.

Москвичей набилось лишку,  
Уплотняется народ.  
А молоденькая  
Книжку  
Из портфеля достает.  
Сразу вижу, что не проза,  
На обложке — Смеляков.

Остановка  
У Семхоза.  
Вышел я — и был таков.

## Игорь Кохановский

### БЮРО ОБМЕНА

Я как-то комнату менял,  
была причина у меня.

Как лужниковская арена,  
галдит весь день бюро обмена,  
перебирает не тая  
перипетии бытия.

Как роды,  
        спору разрешаются...  
Вот эти двое  
        разъезжаются,  
была счастливая чета,  
да вот не вышло ни черта.

А тех двоих судьба носила,  
как осенью листву осины,  
их заносило вкривь и вкось,  
невыносимо больше врозь.  
Так лодка вновь не хочет крена,  
преодолев недавний крен.  
Ты чувствуешь, бюро обмена,  
настало время перемен.

Запутаны людские судьбы,  
но ты не просишься к ним в судьи,  
ты просто хочешь их принять  
и по возможности понять  
и те, что легкие, как флюгер,  
и те, что сложные, как фуги,  
те, что с тобой сегодня тут,  
и те, которые придут.

И обнажен, как под рентгеном,  
неся в руках свою беду,  
сегодня я, бюро обмена,  
к тебе за помощью иду.

Меняю  
        многим в удивленье,  
меняю  
        суету сует,  
холеный,  
        как лицо,  
        паркет,  
меняю  
        на уединенье,  
где раскладушка лишь одна  
и даровая тишина.

# Борис Куликов

\* \* \*

Один в степи.  
Легко и радостно.  
Забыты споры и слова...  
Какая ширь! Какая радуга!  
Какая в небе синева.

Иду, пою, ловлю кузнечиков  
И отпускаю их,—  
живите.  
А жаворонки так доверчиво  
Висят до вечера  
в зените.

Ах, жаворонки. Пойте, милые,  
Чего вам, право, унывать,

Глядите, степь какая мирная,  
Какая в небе синева!

Но — точка черная.  
И с трепетом  
Гляжу я, помрачнев лицом,  
Как точка стала серым стрепетом  
И закружилась  
Над певцом.

И все. И песня вдруг пропала,  
И хмарь покрыла синеву,  
И горе черное упало  
В зашелестевшую траву.

# Николай Новиков

## В МОСКАТЕЛЬНОМ МАГАЗИНЕ

В москательном магазине пахнет лаком,  
Пахнет масляною краской и пенькой.  
Здоровенный молоток я взял с прилавка —  
Как живой он шевельнулся под рукой.  
Будто вырос я в плечах, погладив строго  
Голосистую метровую пилу.  
Все рубанки, все фуганки перетрогал  
И к шурупам примерялся я в углу.  
Любовался откровенным блеском лезвий,  
У прилавка я застрял — и никуда.  
Видно, руки стосковались по железу,  
По увесистым орудиям труда.  
И явилась эта страсть неотразимо —  
Приколачивать, буравить и рубить.  
Так бывает в москательном магазине.  
В парфюмерном, видно, так не может быть.

# Роман Солнцев

\* \* \*

В синий снег  
выбегает из вечерних ЦУМов  
человек  
с тихою фамилией Нешумов.  
Жмут такси  
под ногами в уличных излуках,  
как лещи,  
оставляя золото на брюках!  
«Я чужак,  
Я казанец бывший и разиня.  
Но не так  
думать обо мне должна Россия!  
Хорошо —  
спутников летающее чудо.  
Как яйцо,  
очертания орбит покуда.  
Но из них  
выключутся птенчики иные...  
Вы из книг  
не узнаете про то и ныне!»  
Смотрит в снег  
мимо снобов, мимо толстосумов  
человек  
с тихою фамилией Нешумов.  
Что в ночи  
он еще откроет деловито?  
Ой-лучи?!  
(Налицо нехватка алфавита!)  
Как в туман,  
он идет, желая пива, танцев,  
в ресторан,  
тот, в котором нету иностранцев.  
«Ты да я...  
Это, брат, великие секреты...» —  
болтовня  
мальчиков вспотевших про ракеты.  
Друг мой зол.  
Все же в разговор их не встревает.

Глядя в стол,  
слушает, томится, вспоминает.  
«Эй, старик! —  
ихний кто-то ртом шевелит рыбьим.—  
Ду ю... спик...  
Инглиш... в общем, не скучай, а выпьем!»  
Парень ал.  
Смолкли все, а этот, видно, мудрый.  
«Ты слышал —  
спутник наш сгорел над Брамапутрой!» —  
«Я ни зги...  
Анадысь... Я лаптем щи... их либен...» —  
«Старики!  
А чувачок наивен!»  
В синий снег  
выбегает, как эвенк из чумов,  
человек  
с тихою фамилией Нешумов.  
Мыслям вслед —  
образов мерцающая нитка.  
Рядом с ней  
рифма допотопная, как нимфа?!  
Ремесло,  
ставшее привычкой, тешит нервы...  
Ты — светло  
мучаешься в сотый раз, как в первый!  
Ты — красив.  
Чтоб не подменяли космос стены,  
ты в курсив  
выделил пружиночку антенны!  
...Выпал снег.  
Из лабораторий вышел умных  
человек  
с тихою фамилией Нешумов.  
Боль в глазах...  
И спина твоя гудит чугунно...  
В небесах  
торжественно и чудно.

## ИЗ «НЕОБЩЕЙ ТЕТРАДИ»

Мне 26. Рыжеет волос.  
И сух мой голос в телефон.  
Подходит лермонтовский возраст.  
Торопит он. Торопит он  
бродить лужком, шуршащей рощей  
с обычною тетрадкой общей  
и начинать слагать, писать  
свою, не общую тетрадь.  
(Да, кстати, так вот и назвать:  
«Стихи. Необщая тетрадь».)  
Журчит река. Горит звезда.  
Летит, светла, вода с весла.  
В реке времен валун янтарный —  
он светится, он как резба —  
мой с медом домик, медный, старый.  
Моя сосновая изба.  
Вокруг избы темны леса  
(ночами волчьи в них глаза!..).  
Смотрю я пристально, подробно,  
живу я медленно и ровно  
среди пахнущих сметаной муз.  
А где-то ноют телефоны,  
кричат печально эшелоны...  
Мне некогда. Я тороплюсь.  
Сломлю травинку — наклонюсь...

\* \* \*

Дайте соперника! Если мне жить  
медленно, светленько,  
я позабуду, как можно спешить...  
Дайте соперника!  
Чтоб я завидовать мог и бежать,  
страхи все вынеся,  
и, задыхаясь, счастливым лежать  
около финиша...  
Вот я бегун. Но с обеих сторон  
стены зеркальные! —  
Все мы похожи в лугах, за столом,  
в зори закатыные.  
Семь теорем кто-то выдаст с утра —  
выдадут столь же все!  
Кто-то ничтожеству крикнет: «Пора!» —  
все о ничтожестве!  
Все мы талантливы, да и во всех  
дух современника...

Но хоть пойти ради счастья на грех —  
дайте соперника!  
Дайте соперника! Что же мы все  
стали уступчивы?..  
Нам одинаково солнце в росе,  
солнце за тучами.  
Милая,  
как мы с тобою легко  
встретились, поняли!  
Хоть помешал бы немного нам кто —  
с радостью б вспомнили.  
Выйдем за маленький наш городок,  
улучки, лавочки...  
Точно в прищуре слезинок поток —  
наискось ласточки.  
Запахи гари и ботала стук  
с дальнего берега...  
Сом три луны от себя отплеснул...  
Дайте соперника!..



*Николай Николаевич Асеев*



*Михаил Аркадьевич Светлов*

# Илья Френкель

\* \* \*

Ни корану, ни, тем более, талмуду  
Я не поклонялся и не буду,  
А звезде Давида, а кресту  
Пуговицу явно предпочту:  
С виду невеличка, а попробуй  
Совладай без пуговицы с робой.  
Молнии, бывает, подведут,—  
Так ведь молнии, а не талмуд!

Хлопцы! Я иду своей дорогой,  
Незамысловатой, но прямой.

Так держу,— и за моей кормой  
Закипает след, заметьте, мой,  
И меня не запугаешь тьмой,—  
Церковью, мечетью, синагогой.  
Что со мной поделать,— я таков:  
Супротивник веры и безверья,  
Веток Палестины и штыков...

Извожу чернила, затупляю перья.  
Ради богохульственных стихов.

## КОМСОМОЛЬСКАЯ БАЛЛАДА

Весна... Так что ж? Не в ней вопрос,  
А в том, что мы еще раз юны.  
Товарищ Цуриков, матрос,  
Перебирает струны...

Не верю — он не умирал  
Ни от какой чахотки.  
Такой, как есть,— не адмирал,  
А просто рулевой с подлодки.

Воспоминания плывут,  
Летят по Кудринской-Садовой.  
Конечно, мы встречались тут  
С той самой — как ее? — бедовой.

Который год обоих нас  
Она водила за нос.  
Мы падали в глазах у масс,—  
А может, это нам казалось?

Взяла остриглась нам назло,—  
Девическая шалость.  
Но это бы куда ни шло:  
Любовь отнюдь не уменьшалась.

Гитару Цуриков достал,  
Писать стихи я начал тайно,  
Рифмуя «зал» и «пьедестал».  
Любили оба. Чрезвычайно...

Бренчал «цыганочку» мой друг,  
Учась по цифровой системе.  
О, мелкобуржуазный дух!  
А главное — в какое время!

Тогда мутил село кулак  
С обрезом под полою,  
Покуда занят был моряк  
Своей системой цифровойю.

А что скажу я о себе?  
Мне вовсе нету оправданья:  
Забыл о классовой борьбе,  
Стихи писал и ждал свиданья...

Но принял взносы казначей  
С влюбленного матроса:  
Он брошен был на басмачей.  
Гудок. И понеслись колеса.

И замер — прежде, чем гудок,—  
Неоцененный звон гитары...  
Я шел с вокзала, одинок.  
Брели, обнявшись, пары.

«Целуйтесь!» — мрачно я шептал,  
Как сирота плетясь с вокзала,  
И рифма к слову «пьедестал»  
Меня совсем не волновала...

# Игорь Волгин

\* \* \*

А вечером мне крупно повезло:  
Тобой проведенный без билета,  
Я вновь гляжу на ваше ремесло —  
На гибельность высокого балета.

Но, стиснутый среди прожекторов,  
Как кесарь из правительственной ложи,  
Тебе я улыбнусь поверх голов,  
И ты украдкой улыбнешься тоже.

Гремит оркестр. И кажется мне вдруг,  
Что, не прощая трусость и измену,

Ты всходишь на вращающийся круг,  
Как римский гладиатор на арену.

Есть что-то в вашем деле от коррид,  
От древних игрищ есть в балете что-то,  
Что неизменно душу леденит  
Предчувствием печального исхода.

Ты победила! — думает толпа.  
Но, перекрыв восторженные «бисы»,  
Ты выдаешь им два смертельных па —  
И умирать уходишь за кулисы.

# Владимир Дагуров

\* \* \*

А памятник не нужен, нет,—  
Раздавит он скелет мой грешный!  
*Франсуа Вийон, «Рондо»*

Влюбленные целуются на кладбище.  
Они пришли на кладбище,

как в парк.  
Им вовсе не напоминают ландыши  
про чей-то захороненный здесь прах.  
И с обнаженной грудью, краснощекая,  
бесстыжая от счастья и любви,  
девчонка смотрит,

как свистя и щелкая  
качаются на ветках соловьи.  
Они поют из заросли сиреневой,  
и чудится опять ему и ей —  
перемывает камешки

серебряный  
в том соловьином горлышке ручей.  
На черных крыльях с желтой оторочкой  
садится на ромашку, как на трон,  
царь бабочек —

надменно-осторожный,  
усаами шевелящий махаон.

И ящерка, под лопухами ползая,  
хоть с самого рожденья здесь живет,  
уверена, вертлявая, что по лесу,  
а вовсе не по кладбищу ползет.  
Но горе вы перебороть сумеете,  
прислушайтесь к биению сердец:  
здесь все напоминает не о смерти —  
о жизни все напоминает здесь.

И мертвые когда-то тоже жили,  
влюблялись, целовались и, кажись,  
за то лишь только головы сложили,  
чтоб продолжалась

на планете  
жизнь!

И вижу я —  
среди надгробий мраморных  
над беспробудно спящими людьми  
он и она —

как самый лучший памятник —  
живое изваяние любви!

# Освальд Плебейский

## ЗНОЙ

Превращенья в тайге  
В душный час перегревный!  
Головастик в куге  
Превратился в царевну.  
Никого не жалея,  
Солнце рыщет неистово  
И простого оленя  
Превращает в пятнистого.  
Яйца крикнули птицами,  
Камни клювы раскрыли,  
Сосны сонно (водицы бы!)  
Растопырили крылья.  
А парням, а геологам? —  
Руки алые — волоком,  
Краснорожие, ражие,  
Под тяжелой поклажею.

Спины с солнцем общаются,  
В водопад превращаются,  
Щеки — в две отбивные,  
Сапоги — в два болота,  
Звуки пульса — в стальные,  
В громовые долота.  
В комариной пурге  
Черта крикнули сивого...  
Это слабый в тайге  
Превращается в сильного.  
Он согнулся крючком,  
Свет ему — горше мачехи,  
Но шагает,  
Молчком  
Пробиваясь в романтики.  
Камни клювы раскрыли,  
Растопырили крылья..

# Нина Гребельная

\* \* \*

Само понятие свободы  
и землю, что нам дорога,  
во время войн в былые годы  
мы вырывали у врага.  
То означало: ненавистен  
дух инородного ярма,  
и много разных прочих истин,  
вполне понятных для ума.

Нет ни побед, ни пораженья.  
Мы стали забывать войну.  
Чтоб не попасть нам в окруженье,  
не оказаться вдруг в плену,

мы отсекаем прямо с ходу...  
жестоким властью даже тень —  
мы нашу личную свободу  
отстаиваем каждый день.

Порою ласку и заботу  
стремимся грубо оскорбить,  
чтобы у тех отбить охоту,  
кто властно хочет нас любить.  
Чтоб не согнуться им в угоду,  
не оказаться в их плену,  
ведем за личную свободу  
мы и с любимыми войну.

# Борис Сибиряков

## ДЕКАБРЬ

Пока еще  
над морем  
солнца много.  
Не приступили  
к должности ветра.  
Пока еще  
по Золотому Рогу  
на Русский остров  
ходят катера.

Но скоро лед  
уже затянет петлю,  
скует нас  
по рукам  
и по ногам.  
И вьюга закуражится:  
— Не спеть ли?  
Не станцевать ли вальс  
по берегам?

Что ж,  
можно в лед впаять  
борта и штевни,  
лед довести  
до тяжести свинца.  
Но никакой  
раснежной королевне  
не остудить  
матросские сердца.

Давно известна  
истина простая,

известна и до тютельки ясна:  
матросы захотят —  
и лед растает;  
матросы захотят —  
придет весна.

И разве же  
не ведомо тайфунам,  
что на волну взъерошенную  
тьфу нам!  
Что сколько  
ни страшат нас шторма,  
а только  
пропадают задарма!

Идет зима  
пока что осторожно.  
Но не один  
рубеж осенний взят.  
Ну, что же,  
повернуть ее назад?  
Спроси матросов,—  
скажут:  
— Это можно...  
Да стоит ли?  
Пускай подсыплет пуху.  
Деревья наглядятся  
зимних снов.  
Пускай идет.  
Не трогайте старуху.  
Иначе пропадет  
подледный лов.



\* \* \*

Время нас проверяет, как лакмус:  
— Чем ты дышишь, а ну отвечай?!.. —  
Валентин Фердинандович Асмус  
Пьет из белого блюдечка чай.

Кто-то хочет,  
                  ах, гога-магога,  
Чтоб земная заржавела ось.  
Нынче псевдофилософов много  
От большой суеты развелось.

Но спокоен он, добрый мой гений,  
Не меняет под модный галоп  
Ни оценок своих, ни суждений  
И на звезды глядит в телескоп.

Стала б логика школьным предметом,  
Но безумья он дал ей права  
В день, когда над опальным поэтом  
Молвил слово устами волхва.

В одиночестве слушает Баха  
Он, достойный собрат могикан.  
Блещет мысль, избежавшая праха,  
А над нею грохочет орган.

## ВЕРЕСК

Вереск осенью цветет...

В набег студены ветры кинулись  
С далеких северных морей.  
И журавлей печальных клинопись  
Трубит над головой моей.

Рукой подать до первой проседи,  
И вскинут огненный шатер,  
Под ним тропинки все и просеки  
Похожи на монетный двор.

Пора надежд.  
                  И воздух утренний  
Лось тронув замшевой губой,

В пылу любви и буйной удали  
Зовет соперника на бой.

Стоит лосиха в отдалении,  
Ждет победителя она.  
Ей эта доля в дни осенние  
Природою наречена.

Пора любви!  
                  Пускай вам верится  
В ее отчаянный приход.  
Медовое цветенье вереска  
Пусть вам надежду подает.



# Наум Коржавин

## УСТАЛОСТЬ

Жить и как все, и как не все  
Мне надоело нынче очень.  
Есть только мокрое шоссе,  
Ведущее куда-то в осень.  
Не жизнь, не бой, не страсть, не дрожь,  
А воздух, полный бескорыстья,  
Где встречный ветер, мелкий дождь  
И влажные от капель листья.

## КРОПОТКИН

Все было днем... Беседы... Сходки...  
Но вот армяк мужицкий снят,  
И вот он снова — князь Кропоткин,  
Как все вокруг — аристократ.  
И вновь сам черт ему не страшен:  
Он за бокалом пьет бокал.  
Как будто снова камер-пажем  
Попал на юношеский бал.  
Как будто нет беды в России,  
А в жизни смысл один — гулять.  
Как будто впрямь друзья другие  
Не ждут к себе его опять...  
И здесь друзья! Но только не с кем  
Поговорить сейчас про то,  
Что трижды встретился на Невском  
Субъект в гороховом пальто.  
И все подряд! Вчера под вечер,  
Сегодня днем и поутру...  
Приметы — тьфу!

Но эти встречи  
Бывают только не к добру.  
Пускай!

Веселью не противясь,  
Средь однокашников своих  
Пирует князь,  
богач,  
счастливец,  
Потомок Рюрика,  
жених.



# Валентин Кузнецов

## ДРОВОКОЛ

Как он умел рубить дрова!  
Возьмет вихрастое полено:  
Вперед — глава, как булава,  
Пригнется — в сторону колено.

Как хороша была игра  
Бугристых мышц в накрапах пота.  
Какое чувство топора!  
Как упоительна работа!

Сутул спиною. Гривой сив.  
Облезла шкура от загара.  
Пожалуй, был он некрасив,  
Но Аполлон ему — не пара.

Чугунной силой кулака  
Вколачивал он гвозди в сани,

В один удар валил быка  
Тореадор из-под Рязани.

Попробуй скопом навались —  
Узнаешь нашего Ивана.  
А не такие ли дрались  
В отрядах Разина Степана?

Он подработал и ушел.  
А на душе светло и грустно.  
Где он сейчас, тот дровокол,  
Кому несет свое искусство?

Я славлю силы торжество!  
В эпоху атомного века  
Живет профессия его  
В холщовой робе человека!

# Нина Королева

## РОДНИК

\* \* \*

Из родника я пью горстями,  
Касаясь звездности его,  
С ладони прыгают хрусталики,  
На землю падая легко.  
И чудится мне, город каменный  
На небо сквозь стекло глядит.  
А может, это чей-то памятник  
На родниковом дне лежит...  
А может, в сказочном том городе  
Из звезд царевна тклет ручьи.  
А может, воины там гордые  
Куют хрустальные мечи.  
Я пью таинственность холодную,  
Как пьют студеную росу.  
Я эту тайну благородную  
В себе как веру пронесу.

Мое былое! В эти годы  
Тебе дремать, а мне дерзать.  
Меня любая непогода  
Не сможет дома удержать.  
Весна дежурит у обочин,  
Пройдут дожди за рядом ряд.  
В косом разлете крылья почек  
В мое окошко застучат.  
Я уложу в рюкзак тревогу,  
Я встану в силе и в бессилье,  
И прежде чем идти в дорогу,  
Я посоветуюсь с Россией.  
Она и скажет и укажет,  
Как попрямее мне пройти,  
Чтоб не затронуть всходы пашен,  
Звонящих на моем пути.



# Михаил Цуранов

## ПАМЯТИ МАРШАКА

Брел по лесам, что были тихи,  
Мороз с белесым посошком.  
В ту пору зимнюю в Барвихе  
Я подружился с Маршаком.

Припоминаю день давнишний.  
Лошадки бег вдоль сосняка,  
Со мной в саях Маршак  
и Пришвин —  
Два именитых седока.

А вечером, когда над бором  
Луна всплывет, идем в кино,  
Иль снова Маршака партнером  
Я становлюсь за домино.

Он меток был в шутливом слове  
И трогательно, а не зло  
Меня винил и хмурил брови,  
Когда в игре нам не везло.

Однажды смелости набрался  
И в разговоре с Маршаком  
Как на духу ему признался,  
Что я стихи пишу тайком.

Мол, те стихи храню в тетради,  
Как за печатями семью.

Он глянул с теплотой во взгляде,  
Поняв доверчивость мою.

Сугроб за окнами был губчат,  
Чуть серебрился санный путь.  
И вдруг Маршак сказал:  
— Голубчик,  
А вы прочтите что-нибудь?!

Я в эту самую минуту  
Белее снега стал лицом.  
Пришли на память почему-то  
Мне строки, что сложил юнцом.

«Елки-палки, елки-палки,  
Хорошо на свете жить.  
Наш директор Ваня Скалкин  
Вышел сусликов ловить»...

На льду пруда чернели галки,  
И, улыбнувшись — добрый знак —  
— А что? Ведь складно, елки-  
палки! —

Сказал задумчиво Маршак.  
Благословил...

Плывут белея  
Над морем жизни облака.  
Я ощущаю все большее  
Невозместимость Маршака.

# Майя Борисова

\* \* \*

Гляжу на небо — там твое лицо.  
Я к зеркалу,  
а там — твое лицо.

Иду по саду, погружаю взор  
В цветущий куст —  
и там твое лицо.

Сегодня утром умер мой сосед.  
На похороны — нет! —  
я не пойду:  
Вдруг загляну в широкий черный гроб,  
Вдруг загляну,  
а там — твое лицо...

# Алексей Смольников

## ИСПАНКИ

*Хулио Матеу*

Не знаю уж, как это началось,  
Но в дни твоей, Испания, печали  
Мы все в те дни носить испанки стали —  
О, как у нас их много завелось!

Зеленых, синих, красных, голубых,  
Остроугольных спереди и сзади,  
Какие были где-то там, в Гренаде, —  
Мы это знали — на бойцах твоих.

...Должно быть, первым в тот тревожный  
год  
Надел свою испанку мой товарищ, —  
В огонь твоих, Испания, пожарищ  
Его отец ушел тогда в поход.

В селе моем не знал никто из нас,  
Какой была испанка та тяжелой.  
Но осенью, придя с каникул в школу,  
В испанках оказался весь наш класс.

В тех самых — синих, красных, голубых,  
Того, интербригадного покроя.  
Мы не могли, Испания, — вне строя,  
Мы не могли, Испания, — без них.

В тот день тебя на карте мы нашли.  
Как далеко от нас ты оказалась!  
Почти сажень — рука едва касалась  
Твоих границ, горячей той земли.

Всю зиму мы несли подарки в класс.  
Тебе, конечно, это было надо.  
Но снились нам тогда интербригады,  
Куда еще не принимали нас.

Мы узнавали, как там шли дела,  
«Но пасаран!» — встречали мы друг друга.  
И в кулаки сжимали пальцы туго —  
Ротфронтовцы российского села.

Но было все трудней, все тяжелей  
Там, на твоих, Испания, дорогах.  
И карту мы рассматривали строго —  
Как густ стал цвет коричневый на ней...

Как тяжки сводки тех тяжелых дней!  
В словах твоих: «Мадрид»,  
«Гвадалахара» —  
И в них тогда, казалось, грохотала  
Чужая сталь фашистских батарей.

...Однажды рассказали нам о том,  
Что скоро к нам в страну приедут морем  
Испанские ровесники, которым  
Нельзя остаться там, в краю своем.

Мы слушали, притихнув, тот рассказ.  
Мы собрались все вместе, все отряды.  
Мы знали, что разделим, если надо,  
С мальчишками испанскими свой класс.

Но этот сбор — мне, верно, не сказать,  
Как песни там нерадостно мы пели,  
На сколько лет в тот день мы повзрослели,  
В твои взглянув, Испания, глаза.

Уметь молчать, когда придет беда...  
Мы все на сбор в испанках приходили.  
Мы их не сняли. Мы их не сложили.  
Они для нас — надолго, навсегда.



# Яков Хелемский

\* \* \*

Не надо хвастаться заслугами,  
Не надо подавлять сединами,  
Не надо молодость отпугивать  
Воспоминаниями длинными.

Бесценен опыт. Но внушение,  
Основанное на брюзжании,  
Не порождает уважения,  
Не вызывает обожания.

Не надо быть самовлюбленными  
И тешиться открытым ранее,

Глуша вчерашними шаблонами  
Сегодняшние начинания.

Воздерживайтесь от нервозности  
При виде юношей и девушек,  
Пожалуй, только в силу возраста  
Еще не очень много сделавших.

Они в предчувствии, в преддверии  
Того, что нам самим неизвестно.  
Они отплатят за доверие  
Своими первыми победами.

\* \* \*

*Борису Балтеру*

Один, как бы рожден в сорочке,  
Замечен всеми с первой строчки,  
Срывает смолоду успех,  
Как тот бегун, что, взяв со старта  
Разбег, поставил все на карту  
И позади оставил всех.

Другой замешкался вначале.  
Его с трибун не поощряли,  
Не сразу выложился он.  
К чему горячка и рисовка?  
Ведь впереди не стометровка,  
А многотрудный марафон.

Он одобрения не слышит,  
Он тяжело дышит, трудно пишет,  
В раздумье врет черновики —

Ему претит строка сырая.  
Он медлит, силу набирая,  
Всем предсказаньям вопреки.

Еще он славой не увенчан.  
Но вот просвет все меньше, меньше.  
Тот, первый, выдохся уже,  
Зато второй, в рывке раннем,  
Преображен вторым дыханьем,  
Берет свое на вираже.

Берет, на старте не поддержан,  
Самодовольству не подвержен,  
Задержку на верстах с лихвой.  
Все ахают — не ожидали.  
А он, нажав на все педали,  
Уже на финишной прямой.

# Владимир Семенов

## НЕЗАБУДКИ

Какие синие цветы —  
Простые эти незабудки!  
Ты  
С безымянной высоты  
Глядел на них  
Лишь полминутки.

Оглохшие среди брони,  
Полуослепшие от пыли,  
Тебя  
Увидели они,  
Увидели —  
И не забыли...

Какие синие цветы  
В России,  
В Чехии  
И в Польше!  
Какие синие!

А ты  
Их так и не увидишь больше.

И что ни год —  
Синей они  
От ключевой  
Глубинной сини,  
От синеглазой ребятни  
И от синицы  
На осине.

Всего лишь миг  
В свой смертный час  
Ты видел их,  
Смежая веки,  
Но синеву солдатских глаз  
Они запомнили  
Навеки.

# Петр Вегин

## АРКТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

*Б. Жутовскому*

Быть айсбергом!  
Я понял, что вдали  
я тосковал по айсбергу по белому,  
не по его величию победному,  
а по тому, что льды заволокли.

Вот он стоит!  
Арктический Антей!

Как символ современного искусства,  
в котором все светло и безыскусно.  
Как хочется его — среди людей!  
Быть айсбергом!

Как был Хемингуэй!  
Какая глубина! Какая пластика!  
Здесь понял я, как не хватает айсберга  
и мне и большинству моих друзей...

# Маргарита Агашина

## ГОРЬКИЕ СТИХИ

Ах, мне ли докопаться до причины!  
С какой беды? В какой неверный час  
они забыли, что они — мужчины,  
и принимают милости от нас?

Ну что ж, мы научились, укрощая  
крылатую заносчивость бровей,  
глядеть на них спокойно, все прощая,  
как матери глядят на сыновей.

Но все труднее верится в ночи нам,  
когда они, поддавшись на уют,  
вдруг вспоминают, что они — мужчины,  
и на колени все-таки встают.

## Муза Павлова

### ДИАЛОГИ

Я  
Я бы тебя любила  
возила бы нежность возами  
да не знаю я что мне делать  
с твоими пустыми глазами.

ОН  
Река упала замертво  
волосы разметала  
тебе — зима из мрамора  
мне — осень из металла.

Я  
Во тьме лицо твое вижу  
его плоскогорья ландшафты  
ты стар как земля притихшая  
и как земля моложав ты.

ОН  
Больную эту речку  
мы будем лечить травую  
мы сварим ей лекарство  
укроем с головою.

Я  
Ты переполнен прекрасным  
его сдержать не в силах  
ты как бутылка с медом  
среди пустых бутылок.

ОН  
Еще не упало небо  
на синие травы луга  
реки холодное тело  
забинтовали туго.

Я  
Это та ли река? Это ты ли?  
Ока или Каяла?  
Это я тебе из Путивля  
белым платком махала.

ОН  
Белым платком махала  
и боль моя утихала  
и кровь моя высыхала  
а где уронила слезы  
там выросли березы.

# Сергей Дрофенко

## СНИМОК ИЗ МИХАЙЛОВСКОГО

*С. С. Гейченко*

В доме за ближним леском —  
утро, зевота.  
В сердце студеным ледком —  
та же забота.  
Те же рубаха, чулки,  
шляпа и палка.  
Те же глядятся долги  
в окна из парка.  
Та же в рабочем столе  
сохнет страница.  
В том же враждебном стволе  
пуля хранится.  
Благоразумный сосед —  
так же по чести:  
— Выслушай добрый совет!  
В Питер не ездят! —  
Та же упрямая кровь  
бросит к порогу.

Толпы михайловских крон  
скроют дорогу.  
Что же, прощай, Маленец,  
Сосны и ели!  
Бойкий звенит бубенец,  
тонет в метели.  
Вечер к усадьбе припал,  
рядит да судит:  
— Где-то хозяин пропал?  
Скоро ли будет? —  
Липа и клен за окном —  
стороны спора —  
сходятся также в одном:  
— Будет не скоро. —  
Снежная вьется пыльца,  
с веток слетая.  
Бережный снимок сельца —  
память святая...

## ВСТРЕЧА С ДЕРЖАВИНЫМ

Хочу Державина воспеть  
за то, что со своею одой  
он не торопится поспеть  
за изменяющейся модой.

За то, что ночью, в тишине,  
в минуту внутренней тревоги  
он нашептал однажды мне  
слова о смерти и о боге.

На небосводе наших лет  
строка Державина трепещет:  
«Едва увидел я сей свет,  
Уже зубами смерть скрежещет».

О боге молвил он слова  
среди завистливых и лгущих:  
«Я — средоточие живущих,  
Черта начальна божества».

Временщиков в постелях будит  
Державина могучий стих:  
«Восстал всевышний бог, да судит  
Земных богов во сонме их».

Писал он оды на соседство,  
влюблен в Пленуру и пчелу.  
России громовое детство  
прошло по дряхлому челу.

И в этих-то огнях летая,  
о вас пел старец молодой,  
«Шекснинска стерлядь золотая  
и Мозель с Зельцерской водой»!

Солдат Преображенской роты,  
эпикурец, крепостник —

передо мной, шагнув сквозь годы,  
сегодня снова он возник.

Не зря же Пушкин, ликом светел,  
о том, кто был ворчлив и хил,  
сказал: «Державин нас заметил  
И, в гроб сходя, благословил...»

## Сергей Викулов

### СОСНА ШУМИТ

*(Вступление к поэме)*

Итак, с чего же я начну?  
Начну с присловья.  
Вот такого.  
Здесь председателем в войну  
была Настасья Корешкова.

Не уступая мужику  
ни в чем,  
она была, ей-богу,  
из тех, кто лошадь на скаку  
остановить, не дрогнув, могут!

Строга — погляд из-под бровей,—  
она из баб тянула жилы  
за мужиков, за сыновей,  
что честно головы сложили...

Жила она совсем одна,  
коль не считать, что возле окон  
избы ее  
росла сосна,  
как и Настасья, одинока.

Улегшись вечером в кровать  
(муж до войны пропал без вести),  
любила Настя вспоминать  
и горевать с сосною вместе.

Ах, вдовья ночь, как ты длинна,  
как ты жестка вдове, подушка!  
И знала это лишь сосна —  
ее давнишняя подружка.

И шум ее над головой,  
когда и темень, и ненастье,  
то злой, то добрый — верховой,—  
был утешением для Насти.

Порой барометра точней,  
на удивление народу,  
сосна предсказывала ей  
и дождь, и ясную погоду.

Нажнут, бывало, бабы ржи —  
два поля ржи — сухой и спелой,—  
снопов навяжут, а сложить  
их в скирды все же не успеют.

Уйдут, шатаясь, как с вина,  
в деревню... И заснут сторожко.  
И Настя ляжет.  
А сосна  
вдруг встрепенется под окошком.

И зашумит, и зашумит,  
да так, что сердце защежит!

И слышать ей немоготу,  
как по окну сосна стегает.  
И на крылечко, в темноту,  
босая Настя выбегает.

— Не дождь ли, господи? Как  
раз...—

И в избу. Надевает платье.  
И, не взглянув, который час,  
бегом к своей уснувшей рати.

— Тук-тук! — И в каждое окно  
с тревогою («Успеть хотя бы!»),  
кричит жестокое одно:

— Сосна шумит! Вставайте, бабы!!  
Вставайте, бабы, поскорей!  
Будите, бабы, ребятишек!

— Тук-тук! — И вот уж скрип  
дверей,

а вот и голос чей-то слышен:

— Взять, что ли, вилы-то?

— Бери.

— Гляди-ко, тьма-то...

Дров бы надо.

И замелькали фонари,  
замельтешили вдоль посадов.

И потянулись за осек  
по тропке, мимо крайней бани,  
по направленью к полосе,  
где днем еще трудились бабы.

А председательша в обгон  
на лошади... И тут же, с ходу:  
— Давай, ребяташки, огонь! —  
кричит сопливому народу.

Взялись ребята-мужики  
дуть-раздувать, и вышло дело.  
И заметались, высоки,  
над полем тени Гулливеров.

И — сноп на сноп — растет скирда!  
Растет, как будто колокольня,  
Носилок нету — не беда,  
зато есть в изгороди колья.

К скирде дотащатся с трудом —  
и ну бросать снопы друг дружке.  
А ветер чей-то рвет подол  
уже на самой на макушке.

И дождик — вот он — тут как тут!  
Он на кострах танцует храбро.

Но дело сделано!

Идут  
домой, ступая грузно, бабы.

Подолов мокрых полотно  
противно хлещет о колени.  
Но шагом — им уж все равно  
теперь — бредут они к деревне.

... Давно закончилась война.  
Давно Настасья Корешковой  
нет в Острече: живет она  
у брата, где-то в Подмосковьи.

Но, дружбы старой не забыв,  
едва подует ветер свежий,  
у окон Настинной избы  
шумит сосна, шумит, как прежде.

Я жил напротив.

И не раз,  
не два, прислушиваясь к шуму  
сосны той старой в поздний час,  
брал карандаш и думал думу.

И справа-слева от тропы  
своей,

я, сам с собой в бореньи,  
моих тревог, моих прозрений  
вязал и складывал

снопы.

# Александр Коренев

## ПРОСТО О ЖИЗНИ

(Монолог)

Страшно жить,  
Если задуматься:  
Вечность? «Я»?.. Как странно это «я».  
Нет в мире

ничего древнее —  
юности.

И искра взвившаяся  
жизнь  
твоя.

Вот жил, и нет...  
Век твой короткий  
Кристалликом растаял,  
не жил будто,  
Так разглаживается  
след  
за лодкой...

И так от мыслей этих  
неуютно,  
Что поскорей хватаешься за что-нибудь,  
Ну вроде чаепитья...

В быт простой —  
Бежать от истины холодной той!  
Бежать:

— в любое шумное застолье,

Ум успокоить  
Общей слепотой!

Ведь где кучнее,  
Где — все вместе,  
Опасность незаметней,  
Мрак не густ!  
Так муравью  
Страх смерти неизвестен.  
Их слишком много

для таких высоких  
чувств.

А я?..  
Моя стезя  
Прервется?..  
Этого постичь  
Нельзя!

Зачем же тут, меж ребрами, привинчено  
Мне сердце... если кану все равно?  
И поскорей

за что-нибудь  
п р и в ы ч н о е  
Хватаешься,  
ну вроде домино.

# Юрий Смирнов

\* \* \*

Вела на кладбище дорога.  
Был пасмурный осенний день.  
В ушах — обрывок диалога:  
— Ты теплое белье надень.

За гробом шли не очень дружно,  
Шли незначительным числом,  
Шли только потому, что нужно,  
Злясь, что расстались с теплом.

А ветер, что же он затеял!  
Дождем смочил кому-то плешь  
И под конец совсем рассеял  
Весь жалкий траурный кортеж.

Поспешно закрывались двери,  
Гремел, не то что б сильный, гром.  
За гробом шел один Сальери  
И под дождем стоял потом...

# Димитрий Благой

## МОГИЛА ГРИГА

Ты был самим собой  
В моей надежде, вере и любви.  
*Ибсен. Сольвейг — Пер Гюнту*

### 1

Жить без воды — без моря, без озер, без фьордов —  
он, как и все норвежцы,  
не мог.

Раз поздно вечером  
он возвращался в лодке с рыбаком.  
Сгущался сумрак. Озеро темнело.  
На небе черные теснились тучи.  
Впереди — утесы, мрачные и днем,  
вздымались круто, заслоняя  
от глаз его знакомые места:  
холм троллей; белый как корабль,  
что паруса раскинул вширь по ветру,  
дом на верху холма, где он живет,  
где Нина сейчас ждала его с тревогою невольной,  
как искони норвежки

своих мужей, ушедших в море, ждут.  
Не видно было и его избушки,  
куда был доступ одному ему,  
куда он шел, когда вскипали звуки  
в его груди и пальцы искали клавиш;  
той избушки, где реяло над ним  
виденье Сольвейг, где нежный голос, им ей данный,  
в ответ на тайные сомнения в себе,  
которые порой и в нем роились,  
по-матерински ласково,

по-женски беззаветно,  
по-детски мудро  
ему звучал.

Не только  
в надежде, вере и любви твоей подруги  
ты был самим собой,—  
ты был им и тогда, когда порывы страсти,  
наплывы мыслей, клокотанье чувств  
ты претворял в созвучья, полня ими  
и самого себя, и все вокруг...

Подуло ветром, влажным и холодным.  
Он зябко передернул плечи,

на спину плед накинул  
и огляделся.

Темным-темно  
на небе и в воде, за ним и перед ним.  
И всею дрожью тела он ощутил:  
да, скоро, скоро в ночь слепую,  
в тьму беззвучную уйдет он навсегда...  
И вдруг верхушки скал озолотило  
пробившимся сквозь толщу туч и мрака  
прощальным солнечным лучом.  
И струйка золотая  
все шире, шире разливалась,  
и вот — весь темный скат скалы  
внезапно потеплел, утратил тяжесть  
и стал сквозить, как огненный хрусталь.  
И рыбаку сказал он:

— Наша  
Норвегия — край скал. В этой,  
когда умру, меня похороните...

## 2

Автобус остановился круто у ворот.  
Туристы повысыпали шумною толпой.  
Услышав, что еще с полкилометра  
пешком идти придется, кто-то громко  
стал изъяслять неудовольствие.  
Но чуть переступили за ворота,  
все притихли — такая ясность и такой покой  
здесь были разлиты. Безмолвие, безлюдье...  
И только соловьи, сокрытые в кустах густых,  
своим любовным заливались пеньем.  
Так — соловьиным садом — мы шли и шли,  
пока сквозь зелень дом не проглянул,  
белый как корабль.  
Теперь музей в нем. Расположение комнат, вещи,  
портреты по стенам с автографами:  
Генрих Ибсен, Бьернсон и наш Чайковский —  
все как было. Но жизнь, та жизнь,  
что была здесь ключом гремучим,  
иссякла навсегда...

Потом нас провели  
к заветной григовской избушке.  
Сквозь дверь стеклянную мы заглянули  
внутрь.

Все до предела просто: пианино  
налево у стены. Прямо — стол  
у тройного высокого окна.  
Близ пианино — скрипка. Подалее —  
пальто и шляпа. Трость в углу.



# Нина Новосельнова

## БЕЛАЯ ПТИЦА

Как мы вырвались из-под Лепеля —  
Знает бог да шофер-лихач:  
Там на улицах — серый пепел,  
Серый пепел да женский плач.

В Витебск! В Витебске — все спасенье:  
Ведь не вечно ж вот так кружить!  
Может, двинемся в наступленье,  
Может, нам еще жить да жить...

Все молчат: наглопались дыма,  
Балагурит один шофер:  
— Видно, крепко вы все любимы,  
Коль не умерли до сих пор!

Кто вздыхает, а кто смеется,  
Только мы, тишиной полны,  
Смотрим: кружатся над болотцем  
Стражи радости — бацаны\*.

---

\* Б а ц а н ы — аисты (белорусск.).

Стражи счастья — над этим адом,  
Над воронками у дорог, —  
Но стоим мы так близко рядом,  
Счастья крохотный островок.

Ни обняться нам, ни проститься,  
Только думать, потупив взгляд,  
Что они не случайно, птицы,  
Вслед за нами летят, летят.

Все любимые — бережены?  
Но ведь скоро — конец пути,  
А оттуда к невестам, женам  
Ой не всем-то судьба дойти.

Ты молчишь. Тяжелы ресницы,  
А под ними — светлым-светло:  
Над тобою Белая Птица  
Распростерла свое крыло.

# Александр Глезер

## ЗРЕЛОСТЬ

Что такое зрелость? Онемелость —  
Если миру нечего сказать.  
Зрелость — духа выросшего смелость  
Не кричать, а малость помолчать.

Отыскать единственное слово —  
Лишь потом его проговорить.  
Вот и все. Быть может, и не ново.  
Только как бы это не забыть.

# Константин Ваншенкин

\* \* \*

Там, где сосны шелухой своей сорят,  
У косы береговой, перед рассветом,  
Гулко шлепнул разорвавшийся снаряд,  
Поднял столб воды, и стихло все на этом.

Над рекой уже растаял горький дым,  
А солдат лежит и двинуться не хочет.  
Понапрасну соловей поет над ним,  
Понапрасну василек его щекочет.

## СКУЛЬПТОР

Начал работу он страшно давно.  
Но награждаются наши исканья —  
Смутно лицо проступает из камня,  
Собственной радостью озарено.

Так отворяются двери темниц,  
Не устояв перед мощным ударом.  
Скульптор молчит. Он трудился недаром.  
Белую пыль он стирает с ресниц.

Слышите?! Каждый художник таков:  
Труд свой окончив и мучаясь снова,  
Звук, или цвет, или самое слово  
Освобождает всю жизнь от оков.

## ЗАКАТ В ГОРОДЕ

Как скован в городе закат! —  
Нет горизонта, нет простора,  
Нет белых в отдаленье хат  
И поля самого простого.

Среди клубящихся дымов  
Горит закат, лишенный дали.  
Он как бы поднят меж домов,  
Восходит ввысь по вертикали.

И лишь ряд верхних окон рыж  
Да сжатое краями крыш  
Геометрическое небо.  
Внизу — все холодно и слепо.

В числе недоданных даров —  
И эти бледные закаты,  
Что в ранних сумерках распяты  
На стенах городских дворов.

## ПРИРОДА

Я покинул грохочущий город,  
Я в иной окунулся дурман,  
Распахнул опостылевший ворот,  
Сдернул галстук и сунул в карман.

А ромашек молочная пена  
Вот уже достигает колен.  
Нелегко, говоря откровенно,  
Средь внезапных таких перемен  
Распознать — вырываюсь из плена  
Иль теперь попадаю я в плен.

\* \* \*

Такая даль прозрачная за Волгой,  
Такой покой в себе она таит,  
Такая осень долгая стоит,  
Что верится: жизнь тоже будет долгой.

\* \* \*

Дурная привычка души,  
Проклятое свойство:  
Повсюду — в глуши и в тиши —  
Гнетет беспокойство.

В реке среди летнего дня  
Берез отраженья.

Но не отпускает меня  
И здесь напряженья.

Полей остывающих гладь  
И небо из ситца...  
Но вместо покоя — опять  
Душа суетится.

\* \* \*

Прохладней стало на душе —  
Жара немного отпустила,  
И не заметили уже,  
Как осень тоже отгостила.  
О чем задумался бог весть  
Старик семидесятилетний.  
Молчит. Но смерть, что в каждом есть,  
В нем проступает все заметней.





# Александр Говоров

## СНЕГИРЬ, ЯВИВШИЙСЯ ВО СНЕ...

В белый снег завернулась деревня.  
И сегодня приснилось опять:  
Окликали на черных деревьях  
Снегири мою слабую мать.  
В эти снеги и в эти туманы —  
Слышишь, мама? —  
Всегда я спешу,  
Но прости,  
что я редко пишу,  
что я трудно  
открытки пишу,  
что я долго  
ношу их в кармане.

Вот опять накопились открытки.  
Но проснешься опять без письма...

Не кричи ж ты, снегирь, у калитки,  
Не тревожь материнского сна!

Но — напрасно.  
Все злей, все болтливей,  
В сон вгоняя тревогу и дрожь,  
Он кричит:  
— Раз на маму похож,  
То живи в этом мире счастливей!..—  
Он кричит:  
— Сам во всем ты виновен —  
В неудачах своих и любви.  
Даже матери  
Ты  
Недостоеин,  
Стыдно ей за тебя пред людьми!..

§

# Дмитрий Смирнов

\* \* \*

Крикни — полетит над миром эхо,  
Отзовется в тысячах сердец.  
И вернется плачем, или смехом,  
Или тихим вздохом, наконец.

Улыбнись — и миллион улыбок  
Побежит по синеве морской...  
Но ударит время снежной глыбой,  
Если в счастье обретешь покой.

Кровь звенит, и колокол планеты  
Отражает в вечность этот звон,  
А не звон торгашеской монеты  
И не крик откаркавших ворон.



# Герман Флоров

## СВЯЗЬ

С товарищем мы тянем связь —  
Катушку с проводом сквозь чащу.  
Темней и строже становясь,  
Мы дышим тяжелей и чаще.  
Мы надрываемся почти,  
Глазами меряем участок —  
И все еще на полпути  
До цели, до конца, до счастья —  
До черной трубки в шалаше,  
До этой рубки бригадирской...  
Я связь тяну к твоей душе.  
И все не так. И все не близко.

Пробьется провод сквозь листву,  
По небу синему просвищет —  
И снова застревает вдруг  
В каком-то цепком корневище.  
И снова топь. И снова грязь.  
И бездорожие нелепо...  
Как просто мы тянули связь  
Вдвоем с товарищем в то лето!  
Какие полчища цветов  
По каждой двигались опушке,  
И сколько песенных пудов  
В любой размотанной катушке!

## ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

Кедровник путался у ног,  
Вставал и падал снова.  
Тайга чернела без дорог,  
Тайга немела без дорог,  
Тайга искала слово.  
Такое слово,  
        чтоб пропеть  
Уставшим людям,  
        коням,  
Такое, чтоб и сам медведь  
Прочувствовал и понял.  
И вдруг, на шутку не скупа,—  
Смеялись даже сосны! —  
Строка  
        сверкнула, как тропа  
К реке золотоносной.

Читал геолог, прислонясь  
К скалистому откосу,—  
И власть стихов — седая власть —  
Крутила папиросы,  
Гремела типе у реки  
Посудиной порожней  
Во славу искренней строки  
И маеты таежной.  
И след медвежий  
        утром был  
Невдалеке замечен —  
Сам косолапый приходил  
На стихотворный вечер.  
Сидел, от мошкары рыча,  
Глядел на нас и слушал,  
Смолистой веткой кедрача  
Обмахивая уши.

# Николай Глазков

1944 год

Отбился солдат от своих,  
А в доме он мог отдохнуть...  
Был вечер спокоен и тих,  
Был долгод заснеженный путь.

А снегом засыпанный дом  
С трубой, над которой дымок,  
И светом манил, и теплом,  
И ужин в том доме быть мог.

И спирт мог там быть, и салат,  
Но шел мимо дома солдат.

И на небе голубом  
Ему улыбалась звезда:  
«Солдат, зачем тебе дом?  
Иди, бери города!»

## ЯКУТСК

Когда безумный воевода  
Якуцкий основал острог,  
То выбрал для него болото,  
И хуже выдумать не мог.  
А он хотел, чтоб было хуже,  
Чтоб у любого казака  
По вечерам щемила душу  
Солончаковая тоска.

Но годы шли. Трудились годы  
Над ничтогой болотных недр.  
Острог Якуцкий вырос в город  
И в административный центр.

Вокруг забытого острожка  
Велит история сама  
На сваях, как на курьих ножках,  
Большие возводить дома.

Вступают в быт асфальт и камень,  
Электросвет ломает тьму,  
И после драки кулаками  
Махать, пожалуй, ни к чему.  
И можно городом гордиться:  
Он не приземист и не сер,  
А процветает, как столица  
Якутской всей АССР.

# Владимир Сергеев

\* \* \*

Когда стою среди знатоков-зевак,  
Дивясь друзьям, шагающим высоко,  
Боюсь за их последующий шаг  
Из-за оваций, вспыхнувших до срока.

Кому вершить над тем искусством суд?  
Канат натянут.

— Экая потеха! —

А смельчаки по-совести живут  
На рубеже провала и успеха.

Тот путь открыт для избранных судьб.  
Другим на нем загадочно и пусто...  
Не им орать, чей голос не окреп,  
Чьи позвонки не выдержат искусства.

Гордиться чем, «показывая класс»  
На самой кромке мнимого колодца?

Чтоб стать хоть тем похожими на вас —  
Изображают труд канатоходца.

# Василий Журавлев

## ВОСПОМИНАНИЕ О КАЗАХСТАНЕ

*Дихану Абилеву*

Каким я был, каким я ныне стал.  
И все же,  
словно выпрямив сутулость,  
увидев вас, Дихан,  
я вспомнил Казахстан,  
и мне, скажу по совести,  
взгрустнулось.

Скажу вам, ни полслова не тая,  
мне загрустилось  
и в стихах и в прозе  
о той земле, где молодость моя  
куражилась верхом на бензовозе.  
Где степь,  
как степь, была полным-полна  
и человечности, и беспокойства;  
где лишь в одно понятие «целина»

вмещались  
и влюбленность и геройство.

Где брачные  
в своей хмельной поре  
бесились соловьи в ночах бедовых,  
и где в Нуре, в красавице Нуре  
мы брали карасей полупудовых...

Нет, как хотите, а не тем я стал.  
И может, потому,  
пряма сутулость,  
увидев вас, Дихан,  
я вспомнил Казахстан,  
и мне, скажу по совести,  
взгрустнулось.

# Екатерина Шевелева

## „УОНТ ТУ СТАДИ ИН МОСКУ“\*

Первый раз вижу странную марку такую:  
Птичий клюв королеву почти атакует.  
Это — Гамбии почта.

Письмо от подростка.

Просит, требует, хочет:  
«Уонт ту стади ин Москву!»  
...Говорят ему:

— Парень, ты — странная птица!  
Надо в Кембридже или в Оксфорде  
учиться.

Ни свободы в России, ни платья  
по моде.

Надо в Англии: в Кембридже  
или Оксфорде!

Марка Африки юной,  
марка Африки древней —  
Птица с дерзостным клювом в ответ  
королеве.

...Где-то пальмы полет,  
Солнца буйная роскошь.  
Где-то парень орет:  
«Уонт ту стади ин Москву!»

---

\* «Хочу учиться в Москве» (англ.).

## СНИМОК ИЗ ПОРТ-САИДА

Я не знаю — запомнился вам или нет  
Среди прочих событий тот гордый момент  
В Порт-Саиде,  
Когда при всеобщем вниманьи  
Флаг победы по-воински вы поднимали.  
Вижу площадь, и море, и солнце воочию.  
Вижу в белых одеждах крестьян и рабочих.  
Было много гостей. Много разного люда —  
Из Нью-Йорка, из Лондона и не знаю откуда.  
Отодвинул меня журналист парижанин,  
А его африканцы к трибуне прижали.  
И уже непонятно — какими судьбами  
Оказалась под флагом я и перед вами.  
Лишь таким с той минуты вас вижу на фото:  
С обостренными ветром чертами лица,  
Со следами заботы и каплями пота  
Рядового бойца. Волевого бойца.  
...А толпа в Порт-Саиде стояла немая,  
В память павших суровые губы сжимаю.

# Владимир Гордейчев

\* \* \*

Я на вокзал иду, как на реку,  
на звоны мартовского льда,  
и мне вагонного фонарика  
мигает свойская звезда.  
В толпе, чей облик многолик,  
я внемлю окликам и толкам  
и сам толкаюсь, как язык  
толкается о стенки колокола.  
Не знаю я, куда иду,  
о чем печалюсь я и думаю.  
Чужую горькую беду  
я принимаю, как беду мою.  
Во сне вздыхает инвалид,  
в углу пацан с игрушкой возится,  
и внятно мне, о чем молчит  
с узлом сидящая колхозница.  
От гама пухнет голова,  
но здесь во мне, с моими бедами,  
высвобождаются слова  
того, что мне еще неведомо.  
И, не прослав за постороннего,  
я слышу отзвуки того,  
что в душу каждую заронено  
за тенью тела моего.

# Леонид Решетников

## НЕ АСТРОНОМ, НЕ АСТРОФИЗИК...

Не астроном, не астрофизик,  
не летчик даже — не лечу,  
отнюдь с галактикой не близок, —  
чего ж о ней я хлопочу?

Зачем хочу я всею силой,  
чтобы ракета, взмыв вдали  
и опалив траву тротилом,  
ушла к Венере от Земли?

Зачем мне это, в самом деле?  
Моя земля — мой мир и свет,  
и ни в каком другом пределе  
роднее не было и нет...

О том пекусь, покуда в небо  
глядит ракета на лугу,  
как о воде и черном хлебе, —  
чтоб знать:  
и это я могу!



\* \* \*

Позавьюжило все —  
Запуржило.  
Припорошило раны,  
Как рвы...  
Будто грязные руки  
Умыло  
Над купелью  
Моей головы.  
Ах, как ровно,

Как гулко,  
Как славно,  
Интригующе,  
Словно в кино.  
Жаль, не нам  
В чем-то  
Дьявольски главным  
Разобраться, наверно, дано.

\* \* \*

Я живучий, я после тления  
Обернуся вдруг темнотой.  
Ни секундочки, ни мгновения  
Я не дам тебе быть одной.

Только стану умней и строже,  
Стану мужественней стократ,  
Стану ласковей и моложе,  
Но к тебе не вернусь назад.

Буду всюду я, всюду, всюду,  
Буду возле и над тобой,

Тишиной сумасшедшей буду.  
Страхом судорожным и мольбой.

И ничто тебя не утешит,  
И никто тебя не поймет.  
Ждет меня, разрывает, режет  
Лживых глаз твоих хрупкий лед.

Наступают дожди да слякоть...  
Тянет кости мои земля...  
Обожди, еще будешь плакать.  
Будешь маяться без меня.

## Владимир Файнберг

\* \* \*

А не пора ли выйти в море  
на веслах или на моторе,  
чтоб глубь зеленая вставала  
и оседала на губах,  
чтоб кровь соленая узнала  
стихии родственный размах!

Земля кончается у моря,  
маяк качается во взоре,  
победы все и все обиды

остались там, на берегу,—  
отсюда мне масштаб их виден,  
я улыбаюсь как могу...

Спасибо, жизнь, что можно в море  
уйти от радости, от горя,  
своим печалям удивиться,  
понять, что ты опять готов  
вновь великаном появиться  
среди неподвижных городов!

# Дина Терещенко

\* \* \*

Я по-новому жизнь осмыслю.  
Я по-старому стану жить.  
В этом нет никакого смысла?  
Может быть.

О, как тяжело больна тобою!  
Лихорадит меня по ночам.  
Со своей проклятушей любовью  
превратился ты в палача.

Как же сердце твое не застыло,  
не разжалась рука сгоряча

в этот миг, когда разрубила  
мое сердце вразмах, сплеча.

О, как тяжело больна тобою!  
Где же вы, мои доктора?  
Я больна непонятной любовью.

Пощадите меня, рупора!  
Вы с утра о любви поете  
обнадеживающие слова.  
Вы поете все, вы поете...  
Вы покоя мне не даете,  
так что кружится голова.  
Пощадите меня, рупора.

# Николай Тарасов

## ПАМЯТНИК

Плечи туманами кутающий,  
черный  
на белом снегу,  
он обещает мне  
в будущем  
все, что хочу  
и смогу.  
Дышит он дальними странами,  
сбитый из боли и бед,  
на пьедестале,  
подставленном  
под озаренье  
и бег.  
Нашими трудными планами,  
нашей тревожной судьбой...  
Окаменевшего пламени  
шорох  
над головой!



Успех моторизованной орды —  
И чудный край становится тайгою,  
Травой уничтожаются глухою  
Возделанные нивы и сады.

И там, где предлагали продавщицы  
Пластмассовых оленей, где отель  
Белел в листве, — рычит, как зверь, метель  
И спят в логах брюхатые волчицы.

## Валентин Проталин

### ТРЕВОГА

И запоздалые,  
и ранние,  
одновременно —  
крик и эхо,  
мы ощутили,  
как призвание,  
тревогу середины века.

Отцы нас окружали правилом:  
расти,  
придут еще заботы,  
как будто что-то им не нравилось  
и берегли нас от чего-то.

И мы росли за их спиною  
(так держат речку берега).  
Но душу для чего сыновью  
молчанием оберегать?

Они в обычные заботы  
так уходили,  
что во сне  
все говорили о работе,  
все вспоминали о войне.

А что не так —  
не очень никли:  
мол, мы-то что,  
о нас ли речь.  
Мы приработались,  
привыкли.  
Нам их бы надо побережь...

И вот мы выросли.  
Не много  
напутствий память набрала,  
и безотчетная тревога  
нам первым компасом была.

Нетерпеливо ищем дела,  
иль закрутили нас дела:  
она над головой гудела  
в незримые колокола.

Во всем,  
напрягшись до предела,  
она невидимой стоит —  
и в том,  
что удалось нам сделать,  
и в том,  
что сделать предстоит.

# Юрий Левитанский

## ИЗ КНИГИ „КИНЕМАТОГРАФ“

### ВСТУПЛЕНИЕ В КНИГУ

Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет.  
А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет.  
А потом в стене внезапно загорается окно.  
Возникает звук рояля. Начинается кино.

И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной.  
Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной!  
Этот луч, прямой и резкий, эта света полоса  
заставляет меня плакать и смеяться два часа,  
быть участником событий, пить, любить, идти на дно...

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!  
Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер  
этот равно гениальный и безумный режиссер?  
Как свободно он монтирует различные куски  
ликवानья и отчаянья, веселья и тоски!  
Он актеру не прощает плохо сыгранную роль,  
будь то комик или трагик, будь то шут или король.  
О как трудно, как прекрасно действующим быть лицом  
в этой драме, где всего-то меж началом и концом  
два часа, а то и меньше, лишь мгновение одно!..

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!  
Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты  
от нехватки ярких красок, от невольной немоты.  
Ты кричишь еще беззвучно. Ты берешь меня сперва  
выразительностью жестов, заменяющих слова.  
И спешат твои актеры, все бегут они, бегут —  
по щекам их, белым-белым, слезы черные текут.  
Я слезам их черным верю, плачу с ними заодно...

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!  
Ты накапливаешь опыт, и в течение этих лет,  
хоть и медленно, а все же обретаешь звук и цвет.  
Звук твой резок в эти годы, слишком грубы голоса.  
Слишком красные восходы. Слишком синие глаза.  
Слишком черное от крови на руке твоей пятно...

Жизнь моя, начальный возраст, детство нашего кино!  
А потом придут оттенки, а потом полутона —  
то уменьье, та свобода, что лишь зрелости дана.  
А потом и эта зрелость тоже станет в некий час

детством, первыми шагами тех, что будут после нас  
жить, участвовать в событиях, пить, любить, идти на дно...

Жизнь моя, мое цветное, панорамное кино!  
Я люблю твой свет и сумрак — старый зритель, я готов  
занимать любое место в тесноте твоих рядов.  
Но в великой этой драме я со всеми наравне  
тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне.  
Даже если где-то с краю перед камерой стою,  
даже тем, что не играю, я играю роль свою.  
И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны,  
как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны,  
как сплетается с другими эта тоненькая нить,  
где уже мне, к сожаленью, ничего не изменить,  
потому что в этой драме, будь ты шут или король,  
дважды роли не играют, только раз играют роль.  
И над собственной ролью плачу я и хохочу.  
То, что вижу, с тем, что было, я в одно сложить хочу.  
То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно,  
жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!

## НАЧАЛО СЦЕНАРИЯ

Вот начало фильма.  
Дождь идет.  
Человек по улице идет.  
На руке прозрачный дождевик.  
Только он его не надевает.  
Он идет сквозь дождь не торопясь,  
словно дождь его не задевает.  
А навстречу женщина идет.  
Никогда не видели друг друга.  
Вот его глаза.  
Ее глаза.  
Вот они увидели друг друга.

Летний ливень.  
Поздняя гроза.  
Гром гремит, но мы не слышим звука.  
Лишь во весь экран — одни глаза,  
два бездонных, два бессонных круга,  
как живая карта полушарий  
этой неустроенной планеты —  
и сквозь них,  
сквозь дождь,  
неторопливо  
человек по улице идет,  
и навстречу женщина идет,  
и они увидели друг друга.

Я не знаю, что он ей сказал,  
и не знаю, что она сказала —  
но они уходят на вокзал.  
Вот они под сводами вокзала.  
Скорый поезд их везет на юг.  
Что же будет дальше?  
Будет море.  
Будет радость или будет горе —  
это мне неизвестно пока.  
Место службы,  
месячный бюджет,  
мненья,  
осужденья,  
сожаленья,  
заявленья в домоуправленье —  
это все не входит в мой сюжет.  
А сюжет живет во мне и ждет,  
требует развития, движенья.  
Бьюсь над ним до головокруженья,  
но никак не вижу продолженья —  
лишь начало вижу.

Дождь идет.  
Человек по улице идет.

## ЧЕЛОВЕК С ТРАНЗИСТОРНЫМ ПРИЕМНИКОМ

Вы еще привыкнете к нему,  
к этому звучанию резковатому...

Человек плывет по эскалатору —  
он стоит от вас невядалеке.  
Ящичек свистящий и грохочущий,  
ящичек поющий и хохочущий  
держит, как воробушка, в руке.  
Он таскает ящичек по городу,  
по бульварам бродит  
да по скверикам.  
К морю выйдет —  
ходит по-над берегом,  
собственной музыкой томим.

Кто ж он, этот странник, очарованный  
ящичком играющим своим?

Эту вещь,  
недавно уникальную,

хитрую шкатулку музыкальную  
на себе несет он  
как печать  
времени,  
которое молчать  
разучилось, да и не желает.

— Эй, — ему кричат, — убавьте звук!  
— Сделайте, — кричат ему, — потише!  
— Прекратите шум!.. —  
Да вот поди же,  
шум не прекращается никак.  
Спящие в домах раздражены.  
Сколько раз его ни унимали,  
всяческие меры принимали —  
так и не добились тишины.  
Продолжает ящичек звучать —  
петь, кричать и всякое другое.  
Потому что время не такое —  
не такое время, чтоб молчать!

## Анатолий Павлухин

### ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

От спячки  
Отдыхаем мы.  
Теперь  
Какие сны?  
Вся тундра  
Пьет дыхание,  
Дыхание весны.

С делами управляютя,  
Весенний день  
Хорош.  
А солнце поправляется  
И жаром наливается,  
Как в море  
                                жиром  
                                морж!

# Владимир Бурич

*В Стамбуле, когда я учился в последнем классе лицея, мой учитель по литературе следующим образом охарактеризовал поэзию: «Поэзия — это отображение наших мыслей и чувств с помощью размера и рифмы».*

*Правильно ли такое определение? Нет! Потому что за основу взят размер и рифма. За свою жизнь я прочел бесчисленное количество стихов без размера и без рифм. Кроме того, например, в античной греческой поэзии есть размер, но нет рифмы. Я прочитал также и множество стихов, где есть и размер и рифма. У большинства классиков дело обстоит именно так. Наличие или отсутствие в стихе размера и рифмы не является проблемой национальной формы или национальной традиции. В определенное время в поэзии одного народа становится типичным размер и рифма, а в другое время — отсутствие размера и рифмы. То есть я хочу сказать следующее: поэзию делает поэзией не ее форма. А что же в таком случае? Содержание, мысли или чувства? Да, но я прочел множество вещей, некоторые с размером, с рифмой, некоторые без размера и без рифмы, и большинство из них претендовало на то, чтобы считаться поэзией. И в основе их в большинстве случаев лежали очень глубокие, очень справедливые, очень возвышенные, очень человеческие и очень передовые мысли и чувства, но, увы, это были не стихи. Как же в таком случае определить поэзию? Что такое поэзия? До сего дня я не услышал более или менее конкретного определения поэзии. Тут не помогут ни такие рассуждения, вроде того, что поэзия — это птичий щебет или львиный рык. Авторы подобных определений берут за основу то же, что и мой учитель в лицее. Трудность определения поэзии состоит еще и в следующем: поэзия, которая возникла раньше других родов искусства слова, по-прежнему идет впереди всех других родов литературы, возникших после нее, и по сравнению с ними развивается гораздо быстрее. Разрушив стены, которые были возведены вокруг нее в определенное время, она расширяет свои границы, свои возможности. Как же вписывать в рамки вечного, неизменного определения такое искусство, которое само не вмещается ни в какие границы? Все это я говорю, конечно, неспроста. Мне попались в руки стихи молодого поэта Владимира Бурича. По-моему, это прекрасные стихи. Они не впадают ни в одно из классических определений поэзии. В стихах Владимира Бурича разум преобладает над чувством. По второму определению поэзии, приведенному мной, которое гласит, что поэзия — это вдохновенный порыв чувств, стихи Бурича нельзя назвать поэзией. Но стихи Бурича — это и есть поэзия. Бурич не щебечет, как птица, и не рычит, как лев. Бурич не пишет с размером и с рифмой, но и не отрицает ни размера, ни рифмы. И все-таки это не проза, а именно стихи.*

*Как я уже говорил раньше, на дереве советской поэзии, корни которого уходят в народную и классическую поэзию и ветки которого полны зрелыми плодами, распускаются новые почки. Они быстро зеленеют, развиваются и дают все новые и новые плоды, а вкус их и похож и не похож на вкус других, предыдущих зрелых плодов. И я стою перед этим деревом, украшенным плодами разной формы, цвета и вкуса, и представляю его лет через двадцать, и сердце мое сильнее бьется от радости.*

Н а з ы м Х и к м е т

1962

## ЗАПОВЕДИ ГОРОДА

Уходя гапу свет  
Перехожу улицу на перекрестках  
Сначала смотрю налево  
Дойдя до середины — направо  
Берегусь автомобиля  
Берегусь листопада  
Не курю  
Не сорю

Не хожу по газонам  
Фрукты ем мытые  
Воду пью кипяченую  
Перед сном чищу зубы  
Не читаю в темноте и лежа  
Так дожил до двадцати шести лет  
И что же?  
Хранить свои деньги в сберегательной  
кассе?

## УТРО

\* \* \*

Я проснулся  
и с удивлением понял  
что оставлял свое тело  
без присмотра  
на попеченье  
звезд  
травы  
сосен  
и ветра

Нация  
ощущивает себя  
руками скульпторов  
  
Ошеломленная  
величественно поднимается  
на пьедесталы  
своих  
городов

\* \* \*

Около ста человек знает меня на том свете  
Ну и скучная будет у них тема для разговоров

\* \* \*

Человечество  
непотопляемое судно

три миллиарда  
отсеков  
надежды

\* \* \*

Мир наполняют  
послевоенные люди  
послевоенные вещи  
  
нашел среди писем  
кусочек довоенного мыла  
не знал что делать

мыться  
плакать  
  
Довоенная эра —  
затонувшая Атлантида  
  
И мы —  
уцелевшие чудом

\* \* \*

Так что ж я боюсь умереть  
если спать я ложусь с мольбой  
чтобы все пережили меня

# Дмитрий Голубков

## ТВОЕ ЛИЦО

Сверкнуло,  
                    усмехнулось — и  
Вверх,  
                    за угол, в снега и ветер...  
И вниз спускаюсь в забыты —  
Еще не понял, не ответил.  
«Стоит как столб!»  
Как столб, да, да...  
И вдруг, очнувшись — первым к двери,  
По эскалатору — туда,  
Наверх... Найду ли? Верю, верю.  
И задыхаюсь, и бегу  
За ней, под небеса, наружу.  
Я клоч толпы. Мечусь в снегу —  
Настигну, окружу, завьюжу!  
Лицо. На всю толпу — одно,  
На всю судьбу одно, как солнце,  
Распахнутое в синь окно  
Взамен подвального оконца!  
Темно я жил, лукаво жил,  
Несмело всматривался в лица.

Я переулками кружил,  
Мечтая к площади пробиться.  
И вот — внезапно письмо,  
Конверт сорвавшей, как рубашку, —  
Лицо...  
И охнула зима,  
Москва, как шуба — нараспашку!  
Заброшен в темный снегопад  
И ветром свищущим подхвачен,  
Я появляюсь не попад  
Среди компаний, сборов, складчин.  
Все не по мне. Я никому  
Не ко двору. Шучу никчемно.  
Что говорят мне? Не пойму.  
Чему учили? Не припомню.

Ушла, завев снегом след,  
В метельном многолюдье смерклась.  
Но в сердце бьет высокий свет,  
Поет очнувшаяся смелость.

## НА ТЕПЛОХОДЕ

Плывем на теплоходе,  
Поволжье покидаем,  
При солнечной погоде  
В реку Оку впадаем.  
Последний теплый ветер,  
Последних листьев вспышки.  
Лиловы на рассвете  
ТЭЦ дымовые вышки.  
Березы пыльной веник,  
Склонясь над шлюзом, машет.  
Слюнит лоскутья денег  
Официантка Маша.  
На пристани на милой  
Сойти б в селе родимом...  
Но проплываем мимо,  
Дымим синюшным дымом.

Провинция — уходим,  
Деревня — проплываем,  
На шумном теплоходе  
Скучаем, забываем.  
За книгою, за чаем,  
В каюте, в ресторане  
Уходим, уплываем  
От роц и от преданий.  
Лишь на мгновение выйдешь,  
Наставив выше ворот,  
И с палубы увидишь  
Какой-то сад и город —  
Какая-то Коломна,  
Какие-то деревья  
Улыбчиво и скромно  
Светлеют в отдаленье.

И кремль, высок и кроток  
В заре румянолицей,  
Как деревенский отрок,  
Своей красы стыдится.  
Он виден всем деревьям  
И даже дальним зданьям.  
По метрике он древен,  
Весь ворогом изранен.  
Но смотрит юно, смело  
В кругу домишек мгlistых —

Как гриб веселый белый,  
Пробивший ветошь листьев.

Капустный клин по скатам  
Синеет купоросно,  
И запыленным златом  
Мерцает луг покосный.  
Здесь, верно, дремлет тайна —  
Недаром столько света...  
Но мы здесь — лишь случайно,  
Тут остановки нету.

## СТОГ

Зацветающий дрок  
Медом льется в ночь.  
Ни тревог,  
Ни дорог —  
Уплываем прочь.

Стог, качаясь, плывет —  
Медленный плот —  
В дерева,  
В небосвод,  
В близкий восход.

В лунном свете тону,  
По небу бреду.  
Надо выключить луну —  
Мы на виду.  
Мы на самом виду.  
Самом верху.  
Спрячь лицо —  
Украду  
И не верну.

«Не кури. Спички спрячь:  
Стог, как порох, сух.

Воздух глух и горяч —  
Подожжешь весь юг!»

Полночь. Скоро рассвет.  
Скоро конец —  
Новых дней, новых мет  
Яркий венец.

Обернешься? Едва ль.  
Сердце в бегах...  
Позади — эта даль,  
Степи размах.

Но — высокий наш стог,  
Тихий как вздох,  
Ночи вкрадчивой дух —  
Охнет он вдруг.

И дохнет он в твой сон  
Жаром тех дней,  
Невзначай подожжен  
Памятью моей.



# Алексей Марков

## ГУДОК В ГОРАХ

Из-за гор да с переливом  
Заводской гудок вздохнул.  
По ущельям, по обрывам  
Эхом прокатился гул  
И пастушеской свирели  
Заглушил зеркальный звук...

А ведь жалко, в самом деле,  
Старой музыки, мой друг!

# Владимир Британишский

## КНИГА И КОФЕ

Царство разума: библиотека.  
Но ведь люди мы, что с нас возьмешь!  
Снова хлеба потребует тело.  
Снова кофе потребует мозг.

Утомили нас оргии алгебр,  
голой логики танец бесстыжий...  
Будь здоров, металлический ангел,  
кофе чашечку мне отпустивший!

Мозг и книга.  
Война и братанье  
«я» и автора,  
буквы и духа.  
Мы вернемся, вернемся обратно.  
А буфет — это тихая бухта.

Будто розу, проносит читательница  
чашку кофе на блюдечке белом  
и безоблачно так улыбается,  
улыбается мне между делом.  
Промелькнет, как цветная закладка

посреди монотонного тома...  
Мы сюда из читального зала  
ненадолго ушли,  
ненадолго!

Ритуальная чашечка кофе  
коротка, будто магния вспышка.  
Соблазнительна чашечка кофе,  
будто магии старая книжка.

Мозг и кофе.  
Кремень и огниво.  
Тайный договор разума с бесом.

А потом продолжается книга —  
сочетание черного с белым.

Я читаю.  
Я слышу их обе  
(снова истины пляшут нагие).  
Слышу обе:  
и чашечку кофе,  
и органную музыку книги.

# Римма Казакова

\* \* \*

Я училась у обид —  
а уж их всегда немало.  
Ноготочки все о быт  
ободрала, обломала!

Я училась у друзей,  
предающих почему-то,  
всей душою, жизнью всей  
поворачиваться круто.

Я училась у тебя,  
перенявши хваткой мертвой,  
как, воистину любя,  
по любви — из пулемета!

Вот ученой стала я  
в день, как ночь, беззвездно-черный.

Но — добра звезда моя! —  
оказалась неученой.

Словно был — сплошной озон,  
а не город пропыленный.  
Словно был — один газон  
равно-стрижено-зеленый...

И по-прежнему мечусь,  
и нелепо время мчится,  
и по-прежнему учусь,  
не умея научиться.

И сквозь дебри, по тропе,  
с этой храбростью незрячей  
все равно иду к тебе —  
научи меня иначе!

\* \* \*

Человек — не кожа и не кости...  
Но, хоть в сердцевину загляну,  
как сказать? Я — что, сходила в гости?  
Съездила в далекую страну?

Ох и хороша была держава!  
Но — держала, да не удержала...  
И сама купила мне билет —  
очень просто, будто на балет.

Удираю! Так через границы  
к нам на талый снег несутся птицы  
с крыльями в запекшейся крови,  
тощие, несчастные мои.

Все же ты прости меня, прости  
хоть за то, что счастьем не балованы  
перышки мои попереломаны,  
крылья поободраны в пути.

И за то, что честно я плачу  
за дорогу из страны прекрасной,  
по которой в храбрости напрасной  
нынче восвоюсь я лечу.

А еще за то, что я простила —  
вольного на волю отпустила.  
Ах, как современно, суверенно...  
Очень верно. Ни черта не верно!..

## ИЗ СТИХОВ О РЕМЕСЛЕ

Кличут, кличут мастера —  
эхо по стране!  
Закрываю окна:  
это не ко мне.

Мне и в подмастерья  
еще не пора.  
Где там, лесом, степью,  
ходят мастера?

Кличут, кличут мастера —  
эхо по стране!  
А я бы и рада,  
да не ко мне.

Мне еще — забавы,  
шуточки, игра...  
Да и разве бабы —  
мастера?

Кличут, кличут мастера —  
пока не нашли.  
Начинали засветло —  
за версту ушли.

А когда найдут его,  
побегу просить:  
возьми меня, мастер,  
хоть глину месить!

Возьми меня, мастер,  
а то я умру!  
Выроют могилу  
в голубом бору.

Будет мальчик маленький  
без меня расти.  
Возьми меня, мастер,  
за дурость прости...

Но кругом такая  
стоит тишина.  
Но кругом такая  
лежит целина.

А люди надеются,  
идут и идут.  
Кличут, кличут мастера!  
Никак не найдут.

\* \* \*

Я — как девчонка из деревни.  
Роса и лес в моей крови.  
Поговорим с тобой на древнем,  
на грубом языке любви.

На том тяжелом, первобытном,  
с шершавым рубленным лицом,  
что, как по камушку — копытом,  
по первопутку — колесом.

Поговорим с тобою молча,  
как дым горчащий — из трубы,

как летний дождь дорогу мочит  
и как растут в лесу грибы.

Поговорим на том прекрасном,  
который знаем ты и я,  
на том очищенном — и грязном,  
как в непогоду — колея.

Поговорим на этом вечном,  
не зная больше ничего,  
поставив тоненькую свечку  
тому, кто выдумал его.



# Дмитрий Ковалев

\* \* \*

Вдруг — потемневший лиственный  
навес  
и в нем, как в водорослях —  
лампочка кувшинкой,  
и нахлобучена гроза на лес,  
и молния на туче —  
бледной жилкой,  
и — зной  
в прохладной ветреной волне,  
и капли —  
как птенцов глазенки в гнездах...  
И твой сквозной  
неистощимый воздух,  
и жадность на него  
моя  
во мне.

## С БОРТА

Лиловый мол обмыт, обветрен.  
А волны зелены и снежны.  
И так со счастьем беды смежны.  
И знает лишь молва об этом.

А за бортами — пестрость Даний.  
И лик России далью спрятан...  
Но почему она так рядом?  
И почему они так дальни?..

Пестрят холмы от стад.  
У мельниц  
Мелькает часто тень от крыльев.  
Вы остров сказок мне открыли.  
Ваш ум — чудесник.  
Труд — умелец.

И голос ваш во мне не глуше.  
И глубина сердец — сквозная.  
Но был,  
Но боль России — глубже.  
И что молва об этом знает?..

Душа Руси не горделива  
И гордости природной шире.  
А мир людской —  
Как море в мире  
В часы прилива и отлива.

То бирюза.  
То сгустки синьки.  
То низ.  
То круча с валунами.  
И вымпел твой — твоя косынка  
Летит сквозь тучи над волнами

## ЗАБАВНЫЙ УГОЛОК

Зеркально-черные и как в пыли  
Носы жуков у душиной конопли.  
Соломенное солнце.  
Ясли.  
Прясло.  
А в озерке синё — и ясно, ясно.  
И лягушня — смешиные лилипуты.  
Оранжевые брюшки их надуты.  
Их певчая орава не видна.

И только кумканье в просветах дна.  
А гуси — величавее балета.  
Плывут — и чуть заметна в струях дрожь.  
Смотри хоть без конца. И без билета.  
А уплывут — не отбивай ладош.  
Пьет — как поет (еще не диво ль это!)  
Цыпленок — к солнцу клювик восковой.  
Забавный уголок в колосьях лета,  
Какой улыбчивый, какой ты свой!

## Михаил Демин

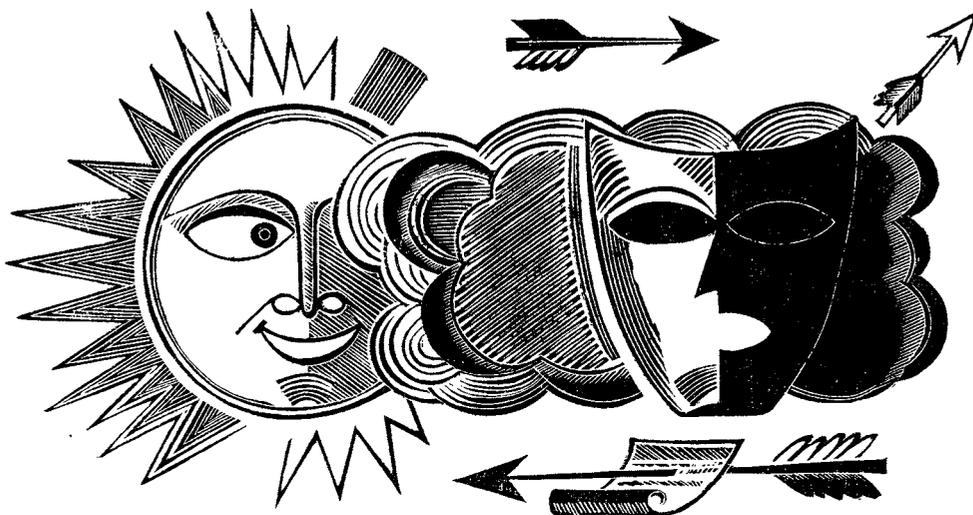
\* \* \*

Опять трубят  
и плещутся в лицо  
четыре ветра  
с четырех концов.  
В них соль и штормы  
и дыханье льдин.  
И не сулит покоя  
ни один.  
И листопад  
тревожно и протяжно  
шуршит — шаманит  
в тишине овражной...  
Вот я возьму  
шершавый лист любой,  
опавший лист,  
украшенный резьбой.  
Красна резьба,  
причудлива,  
остра.

Она остра,  
как языки костра.  
И я опять  
бываю таежный вижу.  
Огонь сопит,  
свивается клубком.  
Он, как покорный пес,  
лежит  
и лижет

мой подметки  
острым языком.  
Вот что листва творит!  
(В глуши овражной  
она из рыжей  
сделалась рябой.  
Она у ног вскипает,  
как прибой.  
Как ледовитый  
яростный прибой.)  
...Звезда проснулась.  
Пахнет солью влажной.  
Восходит ночь  
над голубой губой.  
Четыре ветра  
плещут на просторе.  
Зовет меня  
глухое Лукоморье,  
вновь  
кочевая молодость  
меня

зовет в дорогу.  
В мире нет покоя.  
Я первый снег свой  
встречу над рекою,  
в косматой мгле,  
у смиренного огня!



## Александр Раскин

### ЛЮБЛЮ ГРОЗУ В НАЧАЛЕ МАЯ...

*Литературные пародии*

Лев Ошанин

Люблю грозу в начале мая,  
Когда весенний первый гром,  
Как бы резвяся и играя,  
Грохочет в небе голубом.

Ф. Тютчев

НИЧЕГО, НИЧЕГО

*Песня*

Это ничего, что мы солдаты...

Л. Ошанин

Как бы написали на эту тему поэты:

Я люблю грозу в начале лета,  
Первый гром, весенние капли...  
Это ничего, что мы поэты,  
Только бы читали нас и пели.  
Я пою и ты, дружище, тоже,  
Мы поем, резвяся и играя.  
Это ничего, что мы похожи,  
Слава богу, музыка другая.  
До свиданья, города и хаты!  
Пойте нас и никого другого!  
Это ничего, что мы солдаты.  
Сочиним чего-нибудь такого...

## СТРУГАЯ ЛЮБОВЬ

Он летит голубым ядром  
 Над Республикой, не иначе,  
 Над убогим моим двором  
 И над чьей-то богатой дачей.  
 Этот первый весенний гром  
 Я встречал в пальтеце потертом  
 В тридцать первом, в тридцать втором,  
 В тридцать третьем, в тридцать четвертом...  
 Май добрался до ФЗУ,  
 Где стругали мы и тачали,  
 Но чихали мы на грозу,  
 Будь в конце она, будь в начале.  
 Ведь далекою той порой,  
 Чувства нежные презирая,  
 Яшка, яростный мой герой,  
 Не резвяся и не играя,  
 Прорубался через года,  
 Член Освода и Медсантруда,  
 Не куда-нибудь, а сюда,  
 Не откуда-нибудь — отсюда.  
 Яшка был еще не старик,  
 Но, стремясь к укреплению тыла,  
 Он не брился, ногтей не стриг  
 И рубли не бросал на мыло.  
 И поэтому Яшкин вид,  
 Боевая его примета  
 Вас, наверное, удивит,  
 Но ему наплевать на это.  
 Ведь стремится он (не вполне  
 Одобряя сюжет и тему)  
 Не к кому-нибудь, а ко мне,  
 Не куда-нибудь, а в поэму.  
 И в сумятице строк и струй  
 Мы встречаемся с ним, как братья,  
 Он наносит мне поцелуй,  
 Я ему выдаю объятья.  
 И комсоргом, или судьбой,  
 Словно фея и активистка,  
 В старой кожанке голубой  
 Появляется наша Лизка.

## БОЛЕЙТЕ!

И волнуйтесь, волнуйтесь,  
 Это очень полезно!

*М. Матусовский*

После каждой простуды  
 Неужели же дома  
 Слушать грохот посуды  
 Вместо майского грома?  
 Завести бюллетени?  
 Обрасти докторами?  
 Трусить собственной тени?  
 Примириться с ворами?  
 Развалиться хворая?  
 А сосед пусть как хочет?  
 Пусть, резвясь и играя,  
 Он хамит и грохочет?  
 Вы не верьте в склерозы!  
 Полно врать о флебите!  
 Лучше майские грозы  
 Вы любите! Любите!  
 Что нам кризы и шоки?  
 Это, в сущности, враки!  
 Лезьте в ссоры и в склоки  
 И в трамвайные драки!  
 И курите и пейте  
 В блеске дня голубого!  
 И — болейте! Болейте!  
 Это очень здорово!

## Роберт Рождественский

## ВЕСНА — ЯСНА!

Парю  
 в облаках  
 торжественно,  
 Как  
 первый  
 весенний  
 гром...

Ну  
     что же,  
         мистер  
             Рождественский,  
 Америка!  
         Аэродром!  
 Весна...  
         Начинаю  
             хмуриться.  
 В глазах  
         и ушах  
             пестрит.  
 Такая  
         хорошая  
             улица,  
 А  
         называется  
             «стрит».  
 Люблю  
         суету  
             весеннюю.  
 Хожу,  
         брожу  
             и гляжу.  
 Но  
         капитализму  
             спасения

От  
         краха  
             не нахожу.  
 И  
         тут  
             никакими  
                 Колумбами  
 Америке  
         не  
             помочь...  
 Я  
         брежу  
             московскими  
                 клубами...  
 Москва!  
         Просыпается  
             дочь...  
 Будущее  
         за  
             младенцами!  
 Любимая!  
         Как ты?  
             Держись!  
 Иду!  
         На пресс-  
             конференцию!  
 Эй, вы,  
         которые!  
             Брысь!

## Павел Хмара

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

*(Пародия)*

С-под ладони смотрю на планету,  
 На родную свою сторону,  
 А она запускает ракету  
 И сажает ее на Луну!

Эх, ребята, едрена Матрена!  
 До чего ж мы бедовые — страх!  
 Прилуниться не меньше мудрено,  
 Чем поведать об этом в стихах.

Но не в тех, что нахально в печати  
 Треугольно мелькают порой.  
 Вы, ребята, стихов не читайте,  
 Окромя сочиняемых мной.

Вы поэтов других не поймете:  
 Их корма — для другого коня...  
 Лучше нету стихов об омете.  
 Самолучший омет — у меня!



# Эдуард Гай и Борис Ганин

**ЕВГЕНИЙ ВИНЮБУРОВ**

*(Пародия)*

Моя любимая вздыхала.  
Она вздыхала всегда,  
когда я чем-нибудь огорчал ее.  
Воздух, который, в сущности,  
не что иное, как смесь кислорода с азотом,  
суматошно врывался в трахею  
и устремлялся  
в ее нескладные легкие.  
Они наполнялись,  
и происходили  
те сомнительные химические реакции,  
которые связаны с обменом веществ.  
Это многообразие  
проявления величия жизни

называлось коротко: «вдох».  
За вдохом постоянно следовал выдох.  
Выдох также был чрезвычайно интересен.  
Воздух,  
обогащенный ее внутренним миром,  
уносился наружу.  
Я не догадывался раньше,  
что он  
насыщен вредной двуокисью углерода.  
Она вздыхала, если я огорчал ее.  
С годами  
она стала вздыхать все реже.  
Она  
почти перестала  
вздыхать.

# Александр Безыменский

**ЕГО АМПУЛА**

*(Фельетон)*

Перед всеми он хранит весьма суровый вид,  
А вот с директором суровым он не будет.  
Он никогда директору не возразит,  
Не остановит, не поправит, не осудит.  
Что сделает директор — все добро...

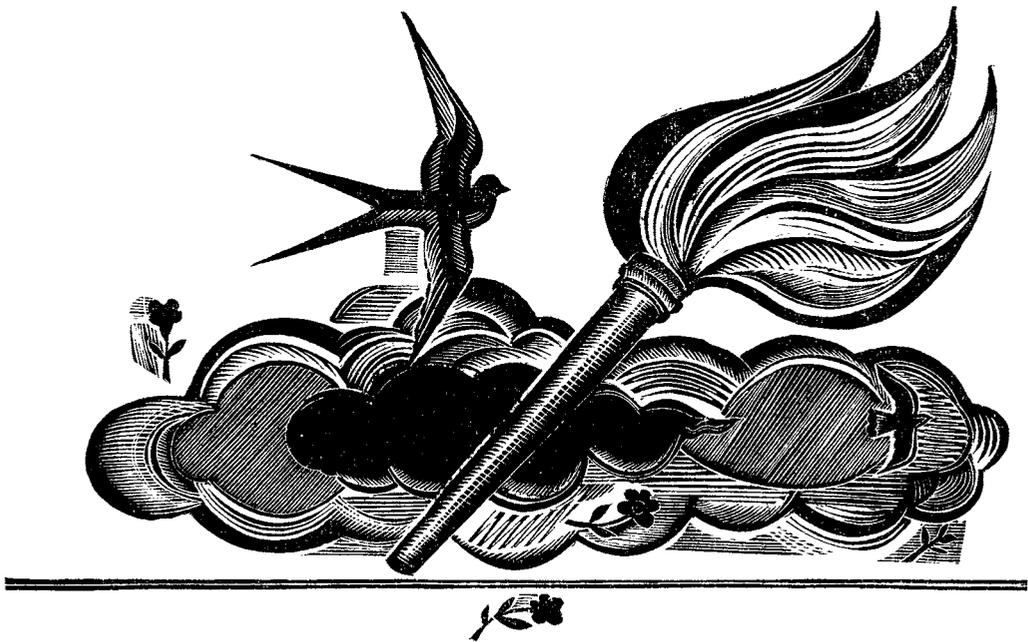
Ну, что ж? Работничка такого рода  
Понять и разгадать не очень-то хитро:  
Он у директора завода  
Карманный секретарь партийного бюро...

**КАНЦЕЛЯРСКИЙ СТОЛ**

*(Маленький фельетон)*

Он твердо верит в то, что он  
Работал с каждым человеком,  
Поскольку множество имен  
Он сам разнес по картотекам.

А что такое человек?  
Предмет безгласный и безлицый...  
Словечко в груде картотек...  
Синоним штатной единицы...





# Владимир Огнев

## ПОЭТ И ПАМЯТЬ

*(Еще об Александре Твардовском)*

У дарований органичных, подлинных есть удивительное свойство: они стоят «на своем», не уклоняясь в сторону даже тогда, когда, казалось бы, говорят об ином предмете. Не то чтобы всё на свое сводили, иначе говоря, обедняли мир, а попросту — в чужом находят они себе дорогое. Сопрягают со своим далекое, чтобы сделать и его близким.

Когда беззащитная со стороны таланта личность с пристрастием защищает в печати такого же собрата по ремеслу — это понятно: без круговой поруки житие серости в искусстве немислимо. Когда же истинный поэт пишет о другом художнике, он всегда отстаивает свое или находит общее, объясняется с читателем. Так же, как он сделал бы это в стихах. Иначе, без серьезного повода, он попросту не возьмет перо в руку.

Когда я читал статью А. Твардовского о книге стихов Аркадия Кулешова, я ловил себя на том, что почти все адресованное белорусскому поэту хочется отнести и к автору статьи. Почему? А. Твардовский, во-первых, и любит поэзию А. Кулешова и пишет о ней не случайно — у них во многом, главном общая эстетика, общее понимание роли поэзии. Кроме того, думая о пути Кулешова, о его логике развития, о трудном порою «молчании», Твардовский, может быть не совсем осознанно, а может быть и явно, переносит на свою судьбу то, что думает о Кулешове. Или так получается невзначай. Но я нашел в «Зрелости таланта» не одно только дружественное расположение к другому серьезному и несуетному художнику, но и глубокую автохарактеристику самого А. Твардовского...

В 1961 году, вскоре после полного издания «За далью — даль» вышла серенькая, неказистая с виду книжечка в «Молодой гвардии». «А. Твардовский» — значилось на обложке, а на титуле — «Стихи из записной книжки»... В книжке этой читатель нашел стихи Твардовского, помеченные 1933—1960 годами. Прочитанные подряд стихотворения такой дистанции показали и напряженное духовное движение поэта, и не столь уж частое для едва ли не тридцатилетней поры единство морально-нравственных принципов.

Вспомнил я «Стихи из записной книжки», читая статью Твардовского о Кулешове.

«Конечно, автор ведет один счет своим писаниям, — читаем мы в «Зрелости таланта», — для него, как для родителя, и незадачливые дети, за редкими исключениями, ослаются родными и дорогими. Другой счет им ведут критика и история литературы, помечают своими знаками подъемы и спуски. Но есть еще третий счет писаниям всякого подлинного талантливого автора — это счет, который ведет само время, счет наиболее строгий, выборочный и привередливый. Но зато уж самый верный и неподкупный».

Твардовский полагает, что если на этом счету за четверть века удержались в памяти людской пусть только безусловные по удаче творения, «это уже немалое дело, счастливая судьба поэта».

Так слышать ход часов, так, пусть горестно, но честно судить о возможностях слова в наше переломное время — уже заслуга немалая. И немногие здесь разделят ее с Твардовским. Он же, очевидно, не торопится отказываться от своих

довоенных стихов, в которых,— если распространить на них формулировку, обращенную к ранним произведениям Кулешова,— «отразилась одна только сторона довоенной колхозной жизни...». И верно, что не спешит покаяться, ибо в ранних стихах его, помимо известной, и ныне всем понятной, односторонности, были и «живой народный песенный лад и склад речи, живописность картин родной природы, меткость деталей сельской жизни...».

Вот из стихов 1939 года:

Рожь уходилась. Близки сроки,  
Отяжелела и на край  
Всем полем подалась к дороге,  
Нависнула — хоть подпирай.

«Уходилась» — слово «далевское», стародеревенское. Попробуйте найти другое здесь! Уходиться — устать, умяться, утихнуть, смириться. В слове этом есть все оттенки, образно необходимые. Это и усталая труженица, пришедшая с поля. И роженица, которой «близки сроки». И живая картина — само поле с удаляющейся стеною густых хлебов, нависшею над дорогой. Одно слово, счастливо найденное поэтом, дало уйму простора образу и сосредоточило этот образ в одном эмоциональном направлении.

В одном из стихов Твардовского меня поразило наблюдение: остановившиеся колеса движущейся с паромом телеги. Это детское воспоминание, поразившее ребенка,— психологически сильный образ. Это как сон. Как что-то неотвязное, необъяснимо волнующее.

Твардовскому можно не заполнять в анкете графу о происхождении. За него ответят образы. «Простуженные кони» и «снаряд *боднул* землю» — красноречивое подтверждение, что для поэта крестьянский труд ведом не понаслышке. Иначе трудно так любить коня, болеть за него, а во вспышке земли и огня увидеть упрямый рывок бодающего быка...

С. Я. Маршак как-то в беседе обратил мое внимание на фразу «к нему *работаю плечом*» — о человеке, проталкиваемом к другу сквозь толпу... «Кто так скажет? Никто!» И, подумав, добавил: «До Твар-

довского говорили о народе. Здесь заговорил сам народ. А это — не шутка».

Да, у Твардовского свой язык, свой стиль, свой, как говорится, «слог». Он говорит не «праздник», а «красное число» (русское и радостное!). Не жизнь просто, а «жизненный срок» — и сразу подтягиваешься, как солдат. Отпущен, мол, тебе такой-то срок. Все хочется делать лучше, вовремя.

Некогда. Времени нет для мороки,—  
В самый обрез для работы оно.  
Жесткие сроки — отличные сроки,  
Если иных нам уже не дано,—

как сказано в одном из стихотворений Твардовского.

Читая книгу Твардовского «Статьи и заметки о литературе, его слово о Пушкине или речь на XX съезде КПСС, поражаешься органической эрудиции, широте и смелости мышления, природной культуре. От слова Твардовского, которому в сердце читателя давно открыт прочный кредит морального доверия, веет спокойной прочностью, как от созданий древнего русского зодчества. И сам путь поэта — не зыбок, не уклончив, не робок. Конъюнктурщики быстро забывают свои былые опусы при каждом повороте истории. Художники истинные все помнят. Они знают, что мы были такими, какими хотели быть или какими нас делало (через наши же усилия!) время. Время — это мы сами. И прошедшее — тоже. Мы можем судить себя прошлых, но изменить не в силах. Остается лишь одно, коли уж мы умнее стали,— изменяться, не держась за старое.

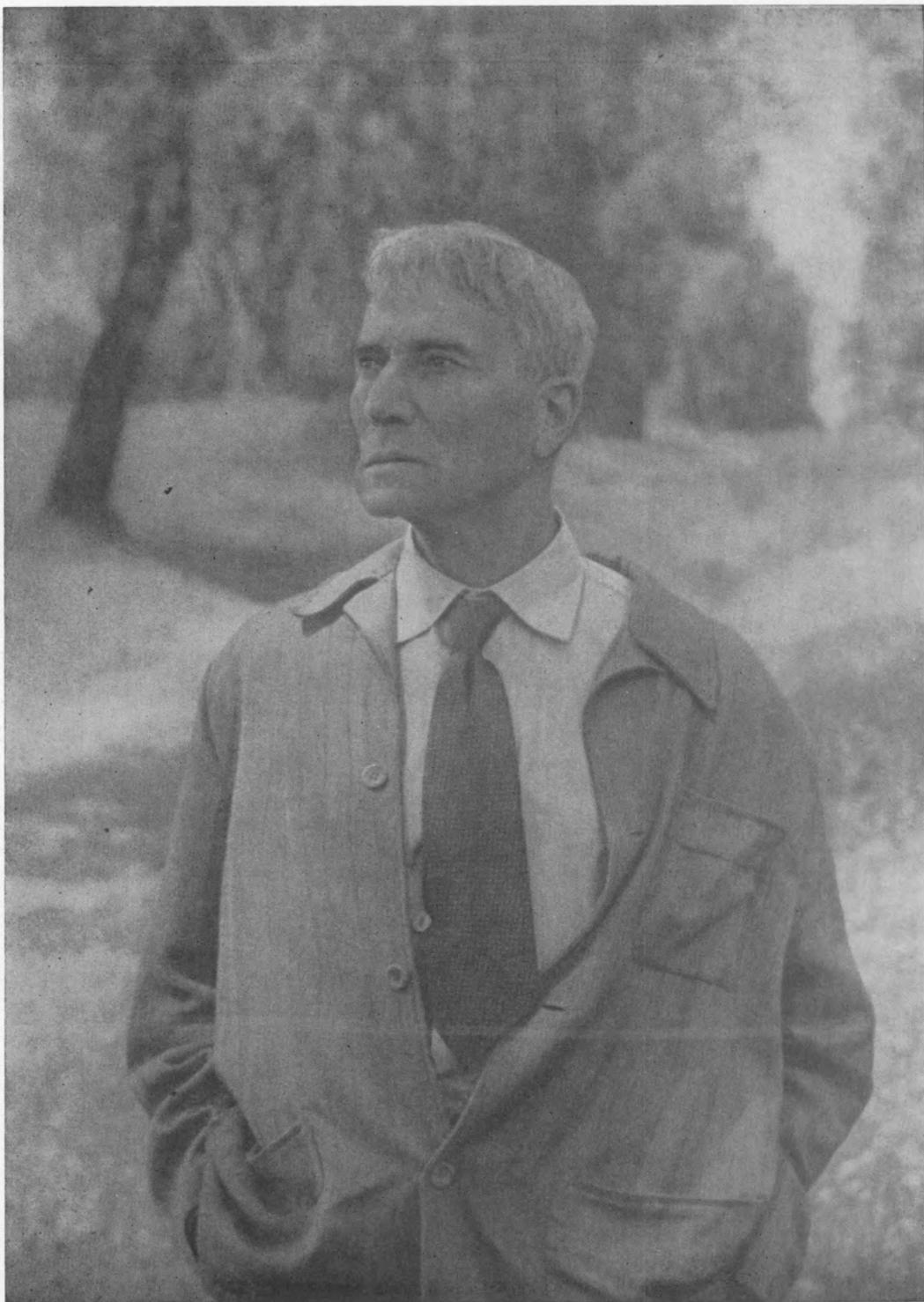
Что-то я начал болеть о порядке  
В пыльном лежалом хозяйстве стола:  
Лишнее рву, а иное в тетрадки  
Переношу, подшиваю в «дела».

Что ж, или все уж подходит к итогу,  
И затруднять я друзей не хочу?  
Или опять я собрался в дорогу,  
Выбрал маршрут, но покамест молчу?

Или гадаю, вступив на развилку:  
Где меня ждет озаренье и свет  
Радости той, что, быть может, я в силах  
Вам привести, а быть может, и нет?..



*Назым Хикмет*



*Борис Леонидович Пастернак*



Горькая судьба одного человека откликнулась на беду другого и — «бывают дела» — повернула социальную природу этой судьбы. Бывают? Бывают дела. И не такая уж случайность лежит в основе этого стихотворения.

О выходе из рабства — оба примера. Но первый, хоть и наглядней внешне, остается все же частным, «семейным» решением, случайным исходом. Второй пример, к слову, внешне может показаться и не столь общей проблемой. В самом деле, там речь идет о пережитке собственности, распространяемой на родного брата, — явление социальной природы, касающееся деревни, то есть корней народной жизни. Здесь же — узкая будто бы писательская проблема. Но начнем с того, что не только писательская:

Сказать хочу. И так, как я хочу.

Сказать... Не написать, не сочинить, а сказать. Это более расширительный смысл. Речь идет о праве человека на суждение, мнение. А энергия, с какой это право утверждается, равна силе сопротивления косности, с какой мы сами этого права бежим, боясь иной раз и ответственности.

Поэт говорил о других, многих — в первом случае. Но остранинно, давая общие широко социальные оценки. Теперь он говорит о себе, ставя узколичностные критерии. А эффект воздействия резко возрос. Стихи обрели форму, им свойственную по самой природе стиха, — «сообщать предметам мощь и крутизну».

И если, опять-таки прибегая к методу автохарактеристики, процитировать Твардовского, то место его статьи об А. Кулешове, где он говорит о непосредственном влиянии на стихи белорусского поэта родного фольклора и русской классики, — то и к самому Твардовскому отнесем мы логику развития его поэтики от «Страны Муравии» и «За далью — даль» к после-

военной лирике. А. Кулешов признавал, что ритмикой поэмы «Знамя бригады» он обязан Лермонтову. Я уже отмечал воздействие пушкинской стихии (в частности, «онегинского» стиха) на ритмико-интонационный строй книги «За далью — даль». А разве раздумчиво-страстная речь, переносы и разрывы строки в стихотворении «Вся суть в одном-единственном завете...» не заставляют вспомнить напряженную и высокую дуэль Моцарта и Сальери?

«Все шире диапазон содержания поэзии Кулешова, давно вышедшей за пределы сельской темы, все увереннее стих, разнообразнее ритмические решения».

И это — тоже о нем, о Твардовском. И так — о себе. А только одно главное: остается он самим собою, попеременно пропуская через себя великую традицию, остается Твардовским. И ни Толстой, ни Пушкин не сказали бы того, что сказал он. И так, как он сказал.

Не знаю, как бы я любил  
Весь этот мир, бегущий мимо,  
Когда б не убыль прежних сил,  
Не счет годов необратимый.  
Не знаю, как горел бы жар  
Моей привязанности кровной,  
Когда бы я не подлежал,  
Как все, отставке безусловной.

Тогда откуда бы взялась  
В душе, вовек не омраченной,  
Та жизни выстраданной сласть,  
Та вера, воля, страсть и власть,  
Что стоит мук и смерти черной.

И пусть несет нас пушкинская волна и слышится очарование пушкинской мелодии — нет, не только по словечкам и оборотам («убыль», «подлежал... отставке безусловной») узнаем мы Твардовского, — по той «жизни выстраданной», по упорству здоровой природы, по той, я бы сказал, широкой кости, что пришла в большую русскую поэзию.

# Анатолий Имерманис

## РАЗГОВОР О РАЗГОВОРНОМ ЖАНРЕ

Я вырос в буржуазной Латвии. Советские книги редко доходили до нас. У истоков моей поэзии стоял поздний Блок в берлинском издании, Есенин и Маяковский в белогвардейских изданиях. Единственной тонкой книжкой, дошедшей до меня, была «Работа и любовь» Ярослава Смелякова. Эта книжка представляла в моих глазах тот поэтический поток, что пошел после Есенина и Маяковского, и произвела большое впечатление. Весной 1961 года я лично познакомился со Смеляковым в Доме творчества под Ригой. Мы много говорили и часто спорили о современной советской поэзии. Вскоре после этого Смеляков написал стихотворение, в котором характеризует свои поэтические позиции. Как он сам рассказывал, оно отчасти возникло под влиянием наших споров. В этом стихотворении Смеляков, в частности, говорит, что его поэзия не эстрада. Признаться, тогда я думал, что он, как и многие другие поэты старшего поколения, не очень искренен и в какой-то мере завидует молодым поэтам, которые в то время завоевали любовь молодежи, завидует овациям и конной милиции... Мол, все мы люди, и хотя мы — большие поэты, у нас есть человеческие слабости.

В 1962 году я присутствовал на вечерах, где выступали Евтушенко и Вознесенский. Должен сказать, что своему возврату к русской поэзии (до 1931 года я писал по-русски) я обязан во многом стихам Мартынова и Слуцкого, но, пожалуй, главным образом поэзии Евтушенко, Вознесенского. Мне казалось тогда, да и сейчас кажется, что это — новая струя, что они несут в себе огромную энергию современного поколения, которая ломает все преграды и прокладывает дорогу новому. В этом я убеждался, когда слушал их

выступления и видел, как восторженно их приветствовала публика.

С тех пор прошло четыре года. Я читаю их и других талантливых поэтов, вижу публику, которая реагирует не менее восторженно на их произведения и на произведения других, и замечаю большую разницу. Мне кажется, прав был Смеляков, поэзия действительно в большой мере стала эстрадной.

Если можно вообще говорить о личной ответственности, то она ложится на Вознесенского и Евтушенко в такой же мере, в какой им принадлежит заслуга, что поэзия в течение короткого срока стала настолько популярной. Я думаю, что Вознесенский и Евтушенко стали жертвами своей популярности... И они повели за собой других молодых и не только молодых поэтов.

В эстраде есть так называемый разговорный жанр. Когда я присутствую сегодня на поэтических вечерах, мне временами кажется, что это не поэзия, а именно разговорный жанр... Почти все сводится к тому, чтобы доставить слушателям удовольствие, как от выступления актера. Известная доля остроумия, известная доля фрондерства, какой-то блеск. В 1962 году на поэтические вечера, в том числе на выступления Евтушенко и Вознесенского, люди приходили готовые вложить себя всего, готовые мыслить, переживать, чувствовать. Сейчас нередко идут как на вечера отдыха, вечера развлечений. Да и стихи часто пишутся не столько для того, чтобы их читали глазами, а для того, чтобы читать их соответствующей публике и иметь соответствующий успех. Но поскольку эти стихи написаны, они автоматически публикуются в журналах и включаются в сборники.

Мы говорим, что такого успеха поэзия не имела никогда и нигде, и часто кичимся тиражами русских стихотворных сборников. Но в Латвии, например, уже много лет поэтические сборники имеют минимальный тираж 16 тысяч. Если иметь в виду, что в Латвии 1,5 млн. людей, читающих на латышском, по-русски это соответствовало бы тиражу в 1,5 млн. Так что в общем слишком кичиться не стоит! Мне лично кажется, что значительная часть успеха обусловлена не тем, что поэзия стала выше, глубже, стала больше воздействовать на людей, а тем, что каждому приятно поглядеть на известного поэта и послушать его легкое, остроумное, к тому же иногда «проперченное» известной долей фрондерства, стихотворение.

Многие молодые поэты во главе с Вознесенским и Евтушенко, то ли чтобы завоевать симпатии «современной» аудитории, то ли полагая, что это единственный путь к современности, пользуются жаргонными словечками, якобы передающими «запах» XX века, каким-то особым «словарем», будто бы присущим всему молодому поколению, особыми «современными» рифмами.

Думаю, что не это определяет современность. Современная форма поэзии, как и в любые времена, — в точном выражении времени, в таком слиянии оболочки и начинки, когда форму перестаешь воспринимать как таковую, когда строки начинают пылать.

У молодежи пользуются популярностью стихи Евтушенко, в последнее время особенно «Братская ГЭС». Многим кажется, что с точки зрения мысли это здорово. Но когда это низведено до небрежно зарифмованного прозаического пересказа, то встает вопрос, не лучше ли было бы сказать то же самое прозой.

Правда, мне могут возразить, что Евтушенко высказывает много откровенных и нужных гражданских мыслей, которые трудно высказать в статье или в романе. Но я лично думаю, что поэзия — не только содержание, но и форма, поэзия **требу**ет от поэта «глаголом жечь сердца

людей», а мы жжем сердца глагольными рифмами, как остроумно сказал Смеляков.

Недавно я прочел характерное для него новое стихотворение про простую женщину, которая пьет пиво в закуской... В общем, хорошо известный автору пейзаж. Стихотворение написано в сугубо разговорной интонации, на сугубо непоэтическую тему. Но вместе с тем каждая строчка — настоящая поэзия. Тут форма и мысли сливаются, они живут единой жизнью. Это отнюдь не значит, что я принимаю все стихи Смелякова. У него, как у всякого талантливого поэта, бывают и неудачи. Речь в данном случае о методе, о поэтическом «мировоззрении».

А если вспомнить римский цикл Евтушенко (между прочим, с таким же успехом он мог принадлежать перу Вознесенского или другого современного поэта), то это как будто очень здорово, очень остроумно, найдены интересные детали. Но вместе с тем никак не могу понять, где же тут поэзия.

Могут сказать, что это продолжение традиции Маяковского, особенно его сатирических стихов, продолжение некраковских традиций.

Могут сказать, что я консервативен. Но думаю, что это не так.

Могут сказать серьезно, вдумчиво, диалектически, что это примета времени. Мол, мы живем во второй половине XX века и расщеплению атома соответствует «расщепление и распад поэтического ядра». Я этому не верю. В свое время цивилизованному человечеству Тридцатилетняя война казалась абсолютной гибелью, кануном светопреставления. Однако были поэты, которые на уровне той эпохи не «распадались».

Многие молодые поэты идут по этому пути, по пути поэтического распада. Широкие слои молодежи с восторгом принимают их стихи. В результате говорят об огромном успехе поэзии. Но скорее надо говорить о том, что стихотворный фельетон пользуется большой популярностью у публики.

# Евгений Долматовский

## МЕНЬШЕ ПЛОХИХ ПЕСЕН!

### *Критические раздумья*

Мы часто слышим и читаем призыв — больше хороших песен! Он уже стал штампом, повторяясь из года в год. Должен признаться, что я скептически отношусь к этому кличу. Хороших песен много не выпускается на коротком отрезке времени. Это не та продукция, производство которой можно расширить. И вообще это не продукция.

Хороших песен всегда появляется мало. Таких, чтобы стали событиями, вошли в духовную жизнь народа как необходимая ее частица. Сложно подводить итоги за определенный срок — в этом году появилось столько-то хороших песен... А что будет с этими песнями через три, пять, десять лет? Останутся ли они в человеческой памяти или уйдут в небытие? А если не останутся, кто же скажет, что были они хороши?

Трудно найти критерий достоинств песни. Несомненно требование мастерства, предъявляемое и композитору, и поэту. Но что делать с мастерски написанной песней, если она не запелась, не полюбилась? И как расценить слабую в профессиональном отношении песню, если её поют на каждом перекрестке?

Все эти вопросы являются предметом постоянного обсуждения, и дискуссии этой нет и не будет конца.

Между тем песен у нас появляется много — как никогда охотно печатают их газеты и журналы, разносят радиоволны. Внедрение в быт магнитофона тоже содействует пропаганде песни.

И мне бы не хотелось становиться на шаткий путь оценки положения при помощи цифровых данных или сведений об итогах многочисленных конкурсов. Кстати, премии на конкурсах получают чаще

всего песни, слава которых на этом и заканчивается.

При всей проницательности и компетентности любого жюри, оно может судить лишь о мастерстве создателей песни, но не о том, как будет песня жить в народе.

Среди дискуссий о песне в последнее время был и бурный разговор о «микрофонном» исполнении, и спор, в итоге узаконивший песни, сочиненные любителями. Это хорошо, что о песне много спорят. Не беру на себя смелость подводить итоги дискуссий: создание песен — дело творческое и новаторское, спор здесь всегда необходим, его прекращение и было бы настоящим кризисом и упадком, которого столь опасаются многие участники спора.

Знаю, что не заглушу хора требований — больше песен! — а все же скажу: по моему глубокому убеждению, сегодняшнее положение с песней характеризуется тем, что песен появляется слишком много. Хороших? — спросит недоумевающий читатель. Отвечу — неплохих. Ну, и плохих, конечно, больше чем достаточно.

Вот в чем, как мне кажется, причина сегодняшней нашей неудовлетворенности «песенным фронтом».

Я глубоко уверен, что написать песню гораздо труднее, чем стихотворение. Более или менее грамотное стихотворение может написать любой ученик десятого класса, поскольку значительно повысился общий уровень литературного образования.

Ну, а песню? Кажется, чего бы проще: три куплета, больше не нужно... Припев или рефрен. Всего шестнадцать строк, а то и двенадцать...

И постепенно утвердилось заблуждение, результаты которого так раздражают нас.

Оно существует и в литературской и, особенно, в композиторской среде: песенный текст (обратите внимание — текст, а не стихи) — дело нехитрое. Слово «текст» подразумевает некое словесное оформление музыкального произведения. Интересно, что бы сказали композиторы, будь все наоборот — вдруг объявляют по радио: песня — стихи такого-то поэта, музыкальное оформление такого-то.

Нет, не будем спорить, что важнее и главнее — стихи или музыка. Но хорошие стихи при плохой музыке не запомнятся, не запоются, а вот плохие стихи при хорошей музыке могут на какое-то время и запеться и в общем-то принести вред.

Я уверен в том, что совершенно необходимо рассматривать работу поэтов в области песни как высокую литературу. Этот вопрос имеет две стороны: наше литературоведение и критика пренебрежительно относятся к песне, наверное, потому, что литературная сторона — лишь половина произведения, а вторая половина — это уже вроде бы область музыковедения и музыкальной критики. В свою очередь наша музыкальная критика основное внимание уделяет музыке. Вот и получается междужанрье.

Вторая сторона вопроса — тоже результат неопределенного положения песни. Иные поэты позволяют себе в работе над песней небрежность, которую никогда не допустили бы в работе над стихотворением. Специфика жанра ни в коем случае не должна служить оправданием слабости рифмы или шаблонности образа.

Недостаточно изучено, не стало предметом исследований творчество больших мастеров песни — Михаила Исаковского, Василия Лебедева-Кумача. Кумач вообще почти забыт, а ведь это целый этап развития советской песни.

В моем поколении наиболее активно работает над песнями Лев Ошанин. Есть у него песни разного достоинства, но очень много серьезных удач. Критика же, отворачиваясь от этих удач, упражняется в мелких и порой несправедливых уколах и уколах. Не лучше ли употребить свою

проницательность и образованность, чтобы раскрыть секрет — почему столько песен Ошанина вошли в жизнь многих людей, стали переживанием, воспоминанием, а то и частью судьбы.

Очень интересна одна из последних удач Михаила Матусовского — «На безымянной высоте». Эта песня и по стиху, и по музыке идет вразрез с модой и поветрием, ее стихотворный и музыкальный язык более близок фронтовой гармонике, чем эстраднему джазу. Но ее полюбили люди разных поколений, признали своей, утвердили как современную.

Песня играет большую роль в нашей общественной жизни. Быть может, не только литературоведам и музыковедам, но и социологам стоило бы заняться исследованием взаимоотношения людей и песен.

Еще в недавнюю пору, перечисляя наиболее известных поэтов, работающих над песнями, называли лишь несколько фамилий. Эти пять-шесть фамилий настолько примелькались, что дикторы радио подчас произвольно объявляли — музыка такого-то, слова Матусовского, или Ошанина, или Исаковского, даже в тех случаях, когда данные песни этим авторам не принадлежали.

Сейчас круг поэтов, пишущих песни (не хочу употреблять эстрадный термин «поэты-песенники»), расширился.

С большой охотой пишут композиторы на стихи Константина Ваншенкина. Его прозрачный и точный стих оказался удивительно песенным. Посмотрите, сколько удач у Ваншенкина:

Я люблю тебя, жизнь...  
Я спешу, извините меня...  
От затемненного вокзала...  
Вы служите, мы вас подождем...  
Женька...

И каждый раз — ни строчкой, ни словом Ваншенкин не изменяет стиху, слово и музыка слиты. Правда, в одной песне, «Как провожают пароходы», припев жиденский, дежурный. Оказалось, что строки:

Вода, вода, кругом вода...—

сочинил... композитор, а у Ваншенкина не хватило настойчивости, чтобы решительно отвергнуть эти чужеродные слова.

Меня радует то, что Роберт Рождественский уделяет много внимания песне. Его размашистый стих оказался очень подходящим для музыкальных произведений большой формы. Ставший широко известный «Реквием» по праву объявляется творением двух авторов — Роберта Рождественского и Дмитрия Кабалевского.

Есть у Рождественского несколько песен, написанных в содружестве с композитором Флярковским. И в них поэт остается верен себе, не меняет поступь своего стиха.

Быть может, Евгений Евтушенко сам не понимает и недооценивает роли песни в его творчестве. Мне дороги его песни гражданственного звучания, но я не большой поклонник некоторых его сугубо эстрадных песен, вроде «Не спеши», вполне соответствующих не столько легкой, сколько облегченной музыке.

Запомнились песни Анатолия Поперецкого «Рязанские мадонны», «Шаги».

Своеобразен, упорен в своей линии Виктор Боков, крепко держащийся за фольклорную основу. Он убедительно доказывает своим творчеством, что русский фольклор неисчерпаем и современен.

Не случайной удачей кажется мне песня на слова Евгения Винокурова «В полях за Вислой сонной» («Москвичи»).

Интересно стал работать молодой (или уже не совсем молодой) ленинградец Лев Куклин. Особенно хороша его песня «Голубые города».

С. Гребенников и Н. Добронравов пишут преимущественно с композитором Александрой Пахмутовой. (Я лишь однажды пробовал писать вдвоем с товарищем — Владимиром Луговским «Белорусия родная, Украина золотая». По-моему, писать вдвоем не в два раза легче, а в два раза труднее.) У этих поэтов есть свой почерк, их песни можно узнать. Они работают над одним кругом тем, хорошо

знают материал, много ездят по стране, побывали на стройках, в воинских частях, на целине.

Содружество поэтов и композиторов, постоянная работа одного маленького коллектива, несомненно, дело плодотворное.

Марк Лисянский наибольших успехов достигает в содружестве с композитором Александром Долуханяном. Видимо, совпадают их душевные устремления. Лучшей песней этого маленького коллектива я считаю «Моя родина». Это подлинная удача гражданской поэзии.

Тульский поэт Владимир Лазарев написал несколько хороших песен с Марком Фрадким.

Работают над песнями Юрий Полухин, Борис Гайкович, Владимир Карпеко.

Не случаен успех Сергея Острового написавшего с Аркадием Островским очень запоминающуюся «Песня остается с человеком».

Жаль, что мало внимания уделяют песне сегодня Алексей Сурков, Александр Коваленков, Михаил Дудин, Сергей Михалков, Яков Шведов. Творчество этих поэтов близко песне, а такими возможностями пренебрегать не надо.

Наша литература всегда была и будет сильна сочетанием усилий поэтов разных поколений.

Меня радуют успехи Инны Кашежевой. Популярность ее песни «Опять стою на краешке земли» не случайна, не дуновение моды, а успех хороших стихов, тонко понятых композитором.

Вдумчивей и серьезней, чем раньше, пишет песни Эль-Регистан. Он уже не гонится за эстрадным успехом, поняв его тщету. Это очень правильно и свидетельствует о зрелости.

У Л. Дербенева появилась славная песня «Костер на снегу».

Очень активны в последние годы Михаил Пляцковский, Михаил Танич и Игорь Шаферан. Без их новых песен не обходится, кажется, ни один концерт, ни одна радиопередача. У них есть немало популярных песен, и несомненны их це-

сенные дарования. Меня огорчает только вервная поспешность этих поэтов и их невзыскательность, иногда пролетающая незаметно на крыльях музыки, но порой проступающая с досадной очевидностью.

В песенном творчестве нельзя «брать количеством».

Сочиняя новую песню, эти поэты порой рассматривают все стихи, сочиненные разными поэтами раньше, как некие полуфабрикаты, которые пригодятся на их песенном конвейере.

Это литературное дублерство опасно прежде всего для них самих.

Быть может, «потребитель» и не заметит этих повторений, но уважение товарищей по профессии тоже немалую роль играет в судьбе литератора, и им надо дорожить.

Приведу ряд примеров вольного использования уже имеющихся стихов, допускаемого некоторыми авторами.

Есть песня Якова Хелемского с музыкой Табачникова, напечатанная в «Неделе» и звучащая по радио:

Как по солнечному лугу  
От бойца к бойцу спеша,  
Ходит песенка по кругу,  
Согревается душа.

Спору нет, это не шедевр, популярной эта песня не стала. Но достаточно того, что она существует: уже нельзя с уважением отнестись к песне Танича и Шаферана (музыка Фельцмана) «Ходит песенка по кругу». Кстати, в одной из песен того же Фельцмана уже было — «круглая планета».

«Вы служите, мы вас подождем» — уже упоминавшаяся песня Ваншенкина; «Я тебя подожду» — известная строчка из цикла песен Ошанина «А у нас во дворе есть девчонка одна».

Но вот Михаил Пляцковский выпускает новую песню (музыка Серафима Туликова) — «Девчонки, которые ждут». И становится досадно за молодого поэта, и не радуется успеху песни — ведь она заемная.

В песне «Над кромкой леса» (музыка С. Туликова) М. Пляцковский пишет:

А мой любимый далеко в море,  
Где за волною бежит волна.

Не бог весть какое открытие — последняя строчка, но ведь она уже была в других песнях, в других стихах. И нельзя не согласиться с одной из последующих строф этой песни:

Тревожит мята и пахнет сладко,  
Лишь ветер с поля ко мне снесит.  
Чужая где-то поет трехрядка,  
А наша временно молчит.

И эта мята, и это поле, и этот ветер уже были у Михаила Исаковского. А Михаил Пляцковский в данном случае играет на чужой трехрядке, и нам бы очень хотелось, чтоб его собственная трехрядка не молчала.

Вот еще одна песня Пляцковского «Мама сына ждет с войны» (музыка С. Кадца):

Давно ребята-одногодки,  
Кто уцелел, пришли назад,  
Шинели сняли да пилотки  
И в жены выбрали девчат.

Слушаешь это четверостишие, а сквозь него все равно пробивается оригинал — винокуровское «Девчата, их подруги, все замужем давно». То же настроение, та же душевная волна, та же лексика.

Игорь Шаферан порою пишет песни, элементы сюжетов которых он черпает из стихов других поэтов. Были стихи о дублере космонавта, — Шаферан пишет песню о дублерах. Песня имеет успех, но это успех девушки, надевшей чужое платье на вечеринку.

То, что торопливые авторы свободно используют «готовые детали» из чужих стихов и песен, может происходить потому, что у нас до сих пор не создана атмосфера взыскательности к песенному тексту. Достичь успеха любыми средствами — дело мало почтенное в искусстве.

Слушая радио, я подчас ловлю в новых песнях такие «готовые детали», как «семнадцать мальчишеских лет» из «Орленка» Шведова в песне Черных и Фиготина или «цветущая, растущая, любимая Москва» из «Москвы моей» Кумача — в песне Хуторянина и Новикова.

Каждая новая песня — это изобретение, это открытие. Не может быть хороша

песня, повторяющая уже сказанное. Рассчитывать на то, что эстрадный успех все покроет, — безнравственно. Это уже не о литературе разговор, не об искусстве, это — за их пределами.

Понимая искреннее желание работников концертных организаций, радио и телевидения создать изобилие песен, порой удивляешься невзыскательности в отношении поэтического материала, составляющего основу песни.

Несчастье в том, что при броской и легкой музыке существуют слова (текст), которые ниже интеллектуального уровня нашего общества, нашей жизни. О любви составляется три куплета и припев, не вызванные чувством, волнением, а лишь отвечающие заданию, характеру музыки: нечто лирическое! Персонажи и лирические герои таких песен либо никак не могут встретиться, либо у них произошла размолвка, но в третьем куплете или все кончается благополучно, или есть обещание, что все будет хорошо.

Все это выглядит глуповато, — слушая такие сочинения, испытываешь чувство неловкости.

Это касается не только песен с лирическим, любовным сюжетом. Поверхностность легко просматривается и в гражданской и гражданской теме.

Еще об одном обстоятельстве надо сказать. Эстрада всегда была проводником песен. Эстрады бывают разные. И на массовых праздниках они есть, и в ресторанах, и в фойе кинотеатров. Но некоторые наши авторы стихов и музыки в самой задумке песни стали рассчитывать именно на эстрадный успех. И часто просчитываются. Жажда успеха вообще не очень верный стимул творчества. Куда более достойно желание сказать людям нечто очень важное, сокровенное. Именно этого недостает многим песням, потому-то успех их — кратковременный и непрочный.

Жажда эстрадного успеха является од-

ной из причин увлечения авторов песнями, под которые непременно можно было бы танцевать. Ну, а если песню просто будут петь, переживая и волнуясь? Или слушать... Разве этого недостаточно?

Модный танец начинает подсказывать авторам бездумный характер песни, облегченность ее содержания. Я отнюдь не против танцев. Но пусть потом, когда песня полюбилась, пришло по душе, ее воспримут и в танцевальном ритме. Такое бывало, и ничего плохого в этом нет. Любимая мелодия, связанная с дорогим и пришедшим по душе словом, обычно приобретает несколько звучаний; почему бы одному из них не стать танцевальным?

Заранее сочиняя песню-танец, авторы сужают свои возможности. Это стало чрезвычайно распространённым явлением. Иные современные танцы требуют чрезвычайно острого ритма, отрывочных фраз, выкриков. А советская песня — в лучших ее традициях — мелодична, так же как русская песня вообще.

Народ наш чрезвычайно ценит мелодию. Не ставя никаких рамок, ища многообразия, просто не полезно забывать традиции — в них большая наука и опыт, пренебрегать которыми бесхозяйственно. Иные традиции в других странах и языках. Что ж, они нам пригодятся, но стоит ли пренебрегать своим богатством? Ведь в тех же далеких странах наши мелодичные песни слушают затаив дыхание. А когда мы возьем на какой-нибудь международный конкурс эстрадной песни нечто подобное тому, что там, по нашим предположениям, должно нравиться, соответствовать вкусам, получается конфуз — не того от нас ждали, там и без нас есть очень хорошие «ча-ча-ча».

Умножить славу советской песни мы сумеем, лишь повысив требовательность к себе, неторопливо и вдумчиво изучая накопленный опыт, изобретая новое неустанно и вдохновенно.

# Лев Гинзбург

## РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

Недавно мы с Евгением Винокуровым составляли антологию «Всемирная поэзия в переводах русских поэтов» — от Ломоносова до наших дней; закончили, сами удивились собранному нами богатству: многие переводы оказались величайшими и редчайшими поэтическими сокровищами, могучими творениями отечественной поэзии.

Вот строки из Анакреона, переведенные Ломоносовым, — обращение к художнику, просьба написать портрет любимой девушки (любезной):

...Напиши ей кудри черны,  
Без искусных рук уборы,  
С благоволием духов,  
Буде способ есть таков.

Дай из роз в лице ей крови  
И как снег представь белу,  
Проведи дугою брови  
По высокому челу,  
Не сведи одну с другою,  
Не расставь их меж собою,  
Сделай хитростью своей,  
Как у девушки моей...

Все в этом отрывке удивительно: первородная свежесть и сила слова, эмоциональный напор, естественность интонации.

Мы перечитывали книгу и не могли скрыть волнения.

...В двенадцать часов по ночам  
Из гроба встает барабанщик  
И ходит он взад и вперед,  
И бьет он проворно тревогу.  
И в темных гробах барабан  
Могучую будит пехоту.

«Ночной смотр», Жуковский, из Цедлица. И из того же Цедлица те же стихи, но уже в другом, гениальном переложении:

...И топнув о землю ногою,  
Сердито он взад и вперед  
По тихому берегу ходит  
И снова он громко зовет.

Зовет он любезного сына,  
Опору в превратной судьбе,  
Ему обещает полмира,  
А Францию только себе...

Лермонтов.

Вот что такое русский перевод: «Пьяной горечью Фалерна...» и «Узнают коней ретивых...» — Пушкин из Анакреона, «Ворон к ворону летит» — Пушкин из Вальтера Скотта, «Будрыс и его сыновья» — Пушкин из Мицкевича.

...Не бил барабан перед смутным полком...

Это — Иван Козлов из Ч. Вульфа, а «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он...» — тоже Козлов, из Т. Мура.

И еще перевод:

Пара гнедых, запряженных с зарею...

Русский сенатор П. М. Донауров пописывал стихи на польском языке, который хорошо знал. Стихи попались Апухтину — в переводе поэта упражнения сенатора стали замечательными русскими стихами. Композитор Прыжев положил их на музыку.

Лучшие русские поэты отдавали часть своей души переводу. В нашей антологии — Баратынский и Вяземский, Тютчев и Фет, Михайлов и Курочкин; затем — второй раздел — советская эпоха: глубокое и неустанное освоение мировой культуры, в том числе мировой поэзии, давнее переводческие шедевры Маршака и Пастернака, Багрицкого и Лозинского, Мартынова и Антокольского. Назову еще несколько имен наших «авторов» — создателей образцовых переводов: Ахматова, Вересаев, Корней Чуковский, Щепкина-Куперник, Юрий Тынянов, Шенгели, Эренбург, Тихонов, Заболоцкий, Сельвинский, Бенедикт Лившиц, Мандельштам,

Цветаева, Адриан Пиотровский, Шервинский, Пеньковский, Левик, Арсений Тарковский, Сурков, Твардовский, Симонов, Михалков, Алигер, Кирсанов, Самойлов...

Итак, в России переводные стихи влились в поток оригинальной поэзии, стали ее составной частью, и не только в силу традиционного «гостеприимства» русской литературы, ее традиционного уважения ко всем подлинным ценностям, создаваемым другими народами (Достоевский писал, что «всякий европейский поэт... кроме земли своей, из всего мира наиболее и природнее бывает понят и принят всегда в России»), но также из особенностей русского языка, из самой его природы. Все, наверно, знают известное высказывание Пушкина, предвидевшего, какие переводческие возможности таит в себе «русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь перемчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам...».

На протяжении двух веков русская поэзия ищет, вырабатывает методы и средства, чтобы до тонкостей, до мельчайших ритмических и психологических оттенков, до едва заметных поворотов слова воссоздать «чужую лиру». Поиску этому нет и не будет конца: сейчас, например, мы ищем ключ к Рильке, расширяем об его стихи лбы, но ключ к нему будет найден, как семнадцать — пятнадцать лет назад был найден, наконец, ключ, открывший нам золотые ворота «Фауста»...

Что же касается иностранцев, то они перед нами в долгу, хотя долг этот стал понемногу и постепенно уменьшаться: в социалистических странах проделана большая работа; Гуго Гупперт, австриец, и Герберт Маршалл, англичанин, подарили читающим на немецком и английском языках чуть ли не всего Маяковского; выдающаяся роль в ознакомлении французов с русской поэзией сыграла знаменитая антология Эльзы Триоле; немецкий поэт из Парижа — Пауль Целан хорошо перевел Блока, Мандельштама и отчасти Есе-

нина, да и в других странах наблюдается стремление освоить русскую (главным образом новейшую советскую) поэзию.

И все же многие переводы, сделанные на Западе, обладают одним общим для них недостатком. В большинстве случаев они носят откровенно информационный характер, при котором всякое эстетическое значение игнорируется. С выхолощенным ритмом, с отколотыми рифмами эти переводы утрачивают неповторимые особенности подлинника, индивидуальную манеру и стиль автора. Это какие-то стихи-скелеты, а поскольку у скелетов нет лиц, все они похожи друг на друга, так что порой бывает трудно понять, «кто есть кто». Вообще происходит ужасная путаница в результате одинаково бездушных, однообразных и безликих переводов. Дело иногда доходит до курьезов. В Гамбурге, например, я видел журнальную рекламу, где в «обойму имен», которые должен знать «каждый, кто считает себя знатоком поэзии», были включены «такие имена, как Ахмадулина, Пастернак, Маяковский, Евтушенко, Есенин и Цыбин...».

Дело здесь не только в историко-литературной неосведомленности, но и в том, что при «информационном» подходе к переводу читатель не в состоянии разобраться в объективной ценности того или иного поэтического произведения...

Немало говорят о значении поэтической формы в переводе стихов. Но что значит «форма»: размер? система рифмовки? Или существует еще нечто, какой-то дополнительный «икс», без которого нет верного и живого поэтического перевода?

Наши учителя завещали нам переводить не просто «форму», а *мир* данного стихотворения, данного поэта, а следовательно, и *мир* данного народа, данной страны, самый дух языка, на котором пишет переводимый поэт.

В чем величие Маршака? Он открыл русскому читателю мир Бернса, Блейка, английских и шотландских народных баллад. Но он же, как никто другой, средствами русской поэзии создал как бы портрет английского языка и английского

стиха, и, читая его англичан, мы никогда не спутаем их ни с немцами, ни с французами, ни с испанцами.

Таков и «Фауст» в переводе Пастернака — произведение, ставшее русским, но оставшееся немецким: вслушайтесь в ритмы, в музыку стиха хотя бы в сцене «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге», и вы тотчас же всем нутром почувствуете *Германию...*

Следовательно, перевод стихов есть вид поэтического творчества, суть которого состоит в том, что, создавая «новые», «свои» стихи, вы всячески сохраняете национальную, психологическую, лексическую, интонационную, ритмическую основу первоисточника, более того — вдохновляетесь, зажигаетесь им. Подлинник для вас — горячее, которое приводит в действие «двигатель» вашего поэтического вдохновения.

Пожалуй, именно такой подход к переводу лучше всего способен преодолеть пресловутое противоречие между «красотой» и «верностью» («переводы как женщины: если они верны, то некрасивы, если красивы, то — неверны»).

Составляя антологию, мы убеждались в том, сколько у советских поэтов «красивых» и «верных» переводов или, лучше сказать, красивых благодаря своей верности.

С безукоризненной четкостью и силой воссоздал «латинский дух» Овидия С. В. Шервинский.

Счастливым даром воспроизводить по-русски интонации польской речи обладал недавно ушедший от нас Николай Корнеевич Чуковский — переводчик Тувима.

Хорошо чувствует современную Францию — звуки, краски, запахи Парижа — Михаил Кудинов.

В стране, поэзию которой вы переводите, нужно бывать. За последние годы куда только не ездили наши переводчики! Теперь, с моей точки зрения, настало время созвать у нас в Москве нечто вроде совещания или встречи зарубежных переводчиков советской и русской поэзии. **Надо дать им возможность походить по**

московским улицам, побывать в Ленинграде, в селе Михайловском, в Ясной Поляне, посмотреть на старинный Суздаль, а главное — увидеть и лично узнать тех живых советских поэтов, которых они изучают, воссоздают на своем языке, над стихами которых проводят бессонные ночи.

...Я часто задумываюсь вот над чем: советская литература имеет значительные достижения в переводах братских поэзий народов СССР. Я знаю великолепные русские стихи, которые являются переводами с грузинского, армянского, аварского, узбекского и других языков. Эти стихи действительно обогатили каждого из нас — духовно, эстетически, нравственно, внесли серьезный вклад в дружбу народов. Иных переводчиков я назвал бы жрецами, служителями этой дружбы, — кто так умеет слышать, видеть, понимать и любить Армению, как Звягинцев и Петровых, Северный Кавказ — как Гребнев и Козловский, Грузию — как Межиров, Ахмадулина, Николаевская, Белоруссию — как Хелемский, Эстонию — как Леон Тоом? Имена поэтов, отдавших свой талант переводу братских поэзий, у нас известны и почитаемы. Но зачастую неизвестно, является ли то или иное стихотворение в русском переводе всего лишь искусным «стихотворным оформлением» текста подстрочника или оно полнокровно воссоздает не только содержание, но и «национальную музыку» оригинала. Если тот или иной национальный поэт по-русски звучит не так, как у себя на родине, то при всех достоинствах «стихотворно оформленного подстрочника», оснащенного самыми богатыми рифмами, аллитерациями, ритмом и пр., перевод этот столь же недостоверен, как и те бесформенные, холодные переложения, которые «производят» на Западе.

Нет, дайте нам услышать настоящую, живую музыку армянской, грузинской, аварской, таджикской, литовской речи! Ведь фонетика — звучание, музыка языка — не просто «художественная форма». Это — голос рек, ветра, деревьев, это — ритм сердца народа. Можно представить

себе, как обогатят русскую поэзию мелодии и ритмы других национальных поэзий народов СССР, насколько «оснащенной» станет она технически! Вспомним, какую в свое время роль в развитии русской поэзии сыграло привнесение в нее гекзаметра, «александрийского стиха», позднее — традиционных английских и немецких ритмов, как органически вошла в русский стих пленительная мелодия украинской поэзии!..

Мы давно, еще на заре прошлого века, научились преодолевать в переводе разницу в стихосложении, в метрических системах, так что ссылки на необходимость придерживаться — в целях «благозвучия!» — только привычных русскому уху размеров явно несостоятельны. Между прочим, о несостоятельности такого рода аргументов сильно и зло было сказано выдающимся революционером, поэтом и переводчиком Михаилом Михайловым, который — сто лет назад! — в связи со своей работой над переводами Гейне писал:

«По привычке нашей к рутине многое кажется диким в манере Гейне; но сохранить именно эту дикость, эту своеобразность было моею задачею...»

Теперь иным поэтическим чистоплюям «многое кажется диким» в манере поэтов Кавказа, Средней Азии или Африки,

Ближнего и Дальнего Востока: национальные ритмы игнорируются, «всеобъемлющий» спасительный ямб становится средством нивелировки. Часто это происходит от простой недобросовестности, от лени, от нежелания искать и находить новые и непривычные средства поэтического перевоплощения. Между тем опыт таких поэтов, как Вера Маркова, Мария Петровых, Арсений Тарковский, Владимир Державин, Семен Липкин, Лев Пеньковский, Наум Гребнев, Юлия Нейман, Яков Козловский, Вера Потапова, Татьяна Спендиарова, Рувим Моран, многому мог бы научить некоторых любителей «легкой жизни» в поэтическом переводе!..

Мы толкуем о достоверной передаче музыки, формы оригинала, а тем временем сама жизнь выдвинула еще одну, совершенно новую и неожиданную проблему: передачу бесформенности и амзыкальности.

Работы Корнея Ивановича Чуковского, покойного И. Кашкина, Мих. Зенкевича, молодого поэта Андрея Сергеева и других доказали, что в «бесформенности» есть своя форма и своя гармония — в дисгармонии. Однако проблема эта еще не решена полностью и еще ждет своего теоретического обобщения...

Словом, переводчику стихов есть о чем поразмышлять в День поэзии.

# Анатолий Елкин

## РЕБЕНОК СТАЛ ВЗРОСЛЫМ...

*Заметки на полях „Библиотечки  
избранной лирики“*

В январе 1964 года на прилавки газетных киосков и магазинов впервые легли изящно оформленные тоненькие книжечки.

Еще гремели баталии и споры — как пропагандировать поэзию, «любит или не любит» читатель стихи, — издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» от дискуссий перешло к делу: самыми массовыми тиражами по минимальной цене к молодым пошли книги лучших стихов поэтов старшего и младшего поколений.

Издательство чутко уловило читательский спрос: собственно, «Библиотечка» и родилась как итог изучения писем рабочих и колхозников, школьников и студентов, комсомольских активистов, работающих среди молодежи.

24 книжки в год, 2 — в месяц...

Первыми вышли Тихонов и Симонов.

А далее... Если только перечислить уже выпущенное — чувствуется огромная широта издания, стремление раскрыть как можно многограннее огромный мир советской поэзии. М. Светлов, М. Львов, С. Маршак, Н. Анциферов, Е. Винокуров, М. Борисова, Р. Гамзатов, М. Карим, Б. Ручьев, В. Гордейчев, Н. Грибачев, Д. Гаврилов, М. Луконин, В. Карпеко, М. Рыльский, В. Цыбин, А. Жигулин, А. Прокофьев, С. Есенин, Д. Кедрин, Р. Рыскулов, Д. Ковалев, И. Грудев, Б. Слуцкий, Н. Старшинов — и это только за один год. Все книжки здесь невозможно перечислить.

Да и не в этом суть дела. На сжатой «площадке» раскрыть характер и смысл творчества, идейных, нравственных, художнических поисков писателя, дать концентрацию лучшего, созданного поэтами за долгие годы напряженных исканий, —

вот цель составителей этих сверхсжатых книг «Избранного».

Многое в «Библиотечке», получившей широкую популярность, удалось. Маленькие книжечки, с любовью составленные авторитетной редколлегией, не залеживаются на полках магазинов, хотя их тиражи огромны — 2,5—3 миллиона общий тираж минувшего года, не менее ста тысяч каждого выпуска, некоторых — до 200, 250, 500 тысяч.

Отлично составлены книжки Николая Тихонова, Анатолия Жигулина, Риммы Казаковой, Мустая Карима, Дмитрия Ковалева — многих и многих, — перечисление вряд ли здесь необходимо.

Вероятно, следует и далее совершенствовать сам принцип отбора стихов, чтобы не опускать какие-то существенные грани творчества поэта.

Иногда, закрывая последнюю страничку очередной книжечки «Библиотечки», чувствуешь, что некоторые важные для понимания таланта писателя стихи почему-то оказались «за бортом» книги.

Если книги Михаила Светлова (составитель Ярослав Смеляков) и Михаила Дудина (составитель Владислав Шошин) отличаются тщательно продуманной цельностью, то этого нельзя сказать о сборнике Владимира Карпеко (составитель Валерий Дементьев), производителем впечатление довольно случайного отбора.

Мы понимаем, что объять необъятное невозможно, но как, скажем, поэтический путь Николая Тихонова невозможно представить без «Баллады о гвоздях», Ярослава Смелякова без стихотворения «Хорошая девочка Лида» или Павла Когана без «Бригантины», так творчество Расула Гам-

затова — без блестящего философского цикла «Письмена», почему-то начисто выпавшего из сборника «Библиотечки». Да и не только этого цикла. Многие программные стихи Гамзатова не вошли в книгу. Почти одновременно с ней в библиотечке «Огонька» вышла одинаковая по объему книжка Расула «Не торопись». Сравнение этих двух сборников не в пользу первого.

Читатель недоумевает — почему «за бортом» книги Новеллы Матвеевой начисто оказались все ее песни. В том числе и лучшие...

Всем нам стоит подумать и о принципах составления поэтических «вводок» к таким книгам.

В практике книгоиздательства еще бытует великое множество «вступлений» — коротких рецензий-близнецов, размящихся разве что именами авторов, о которых идет речь, и являющих собой дань бездумному аннотированию, бескрылой перечислительности фактов и дат. Как бы ни был краток рассказ о писателе, в нем обязательны «опорные пункты» — позиция поэта, его миропонимание, судьба литературная и гражданская. Болезнь здесь — две крайности: либо канцелярско-анкетная засушенность, либо «парение в небесах» — беседа обо всем и ни о чем, «всплеск» чисто эмоционального отношения одного литератора к другому.

Издательства ведут поиск. Многое дискутируется. Как, например, писать предисловия к молодым, еще формирующимся поэтам — наверное, в данном случае должны быть элементы раздумий, советов. Как «рациональней» использовать «площадь», избежать бескрылого аннотирования: родился тогда-то и там-то, выпустил такие-то книги. Мертвые факты ничего не скажут ни уму, ни сердцу читателя. «Дверь» в книгу остается наглухо заколоченной.

Может быть, мы слишком много требуем от короткого жанра? Нет! Доказательства тому — лучшие предисловия-эссе той же «Библиотечки». «Огрехи» и неудачи связаны здесь прежде всего с данью устоявшимся неживым канонам.

Об одном из них следует сказать специально.

Вдумайтесь, например, что хочет сказать Вл. Гусев, рассказывая о трудной гражданской и поэтической судьбе Анатолия Жигулина: «...Кое-кто говорит о подобных Жигулину: «Что ж, ему хорошо. У него тема, она и вывезет, а каково нам? «Нам» — это людям, которым не о чем писать».

Мне же кажется, что писать о трудном гораздо труднее, чем болтать о пустяках».

Сказано вроде бы весомо. Но что, собственно, сказано?! С чем спорит Гусев? Это очевидно всякому, что «писать о трудном гораздо труднее, чем болтать о пустяках». За «солидным» «мне кажется» — пустота.

Была одно время в критике своего рода мода — борьба с выдуманнными, реально не существующими оппонентами. Категорически заявлялось: «Кое-кто» (или «некоторые критики», «в некоторых работах») «утверждает...» Далее шло подлинное избиение этих таинственных незнакомец. «Концепция» «аргументировалась» солидно и воинственно. Победу неизменно одерживал автор: таинственные «кое-кто», как существа мифические, заступиться за себя не могли.

Но любовь к стрельбе по подставным мишеням не исчезла бесследно. Она вылилась в своеобразные формулы похвалы.

Если бы в нормальной характеристике человеку написали: «разбоем на больших дорогах не занимался», «сберегательные кассы не грабил», «станок на работе не выводил из строя» — такое было бы воспринято как не совсем остроумная шутка.

Но читаем о поэтах:

Его стихи — «не дневниковая скорпись, а зрело и тщательно обдуманная вещь... Его лирика не утрачивает основных своих свойств — волновать и увлекать других». О другом: «риторического пустозвонства в стихах» его «нет», «нет и мертвых схем, штампов». О третьем: стихи поэта «не эгоистичны» и т. д. и т. п.

Вдумаемся — какой реальный смысл, необходимость, цель таких формул?! Кто

сказал, что стихи поэта Н. должны быть «дневниковой скорописью», ежели Н. талантлив и самобытен? С чего это серьезный литератор К. должен ни с того ни с сего ударяться в «риторическое пустозвонство»?

К сожалению, ввелось в наш критический обиход это «доказательство от противного», за которым ничего не стоит.

Богатство чувств, многоцветность — они необходимы, когда мы говорим о поэзии. Это та стихия, где казенщина убивает цвет, запах, музыку.

И как нет двух одинаковых поэтов, так и подлинно творческий разговор о них не может не отличаться несхожестью. И хорошо, когда редколлегия «Библиотечки» ведет поиск, в одних случаях представляя слово друзьям и родным ушедших от нас поэтов (теплые, проникновенные эссе Ярослава Смелякова о Светлове, Василия Федорова о Василии Кулемине, предисловие Людмилы Кедринной «О поэте и друге моем» Дмитрию Кедрине), то предпочитая самохарактеристику, когда она объективна и интересна. Так книжеч-

ке Есенина очень удачно предпослана его автобиография 1925 года...

«Библиотечка» — дело живое, молодое и нацеленное на молодых. И тем более никак не сопричастное со спокойной «налаженностью» принципов пропаганды поэтического слова...

Как встретил «Библиотечку» читатель? Единодушно-восторженно. Письмо в редакцию Г. Суслевой из Челябинска в этом смысле не исключение: «Большое спасибо не только от меня, но и от всех любителей поэзии за вашу замечательную «Библиотечку избранной лирики». Но все дело в том, что книжечки ее не так-то легко достать. Нужен какой-то выход. Или увеличить тираж книжек, или же организовать на них подписку. Ведь есть же подписка на «Библиотечку «Комсомольской правды»?..»

Мне кажется, это дельное предложение. Конечно, без ущерба для розничной продажи. Во всяком случае, подумать об этом стоит. И «Молодой гвардии», и нам, литераторам.

«Ребенок» стал взрослым.

Ему далеко идти. Перед ним — широкие горизонты.





# Алексей Сурков

## О „СОНЕТАХ ГНЕВА“

Случилось так, что после перемещения на восток в октябре 1941 года московских литераторов, не связанных с армией, группа писателей, состоящих сотрудниками газеты Западного фронта «Красноармейская правда», стала, неожиданно для себя, центром притяжения для пишущих людей, по тем или иным обстоятельствам заброшенных в прифронтовую Москву.

В нашей редакции появлялись и «маститые», такие, как Алексей Силыч Новиков-Прибой и Владимир Ставский, и писатели помоложе, занесенные в столицу военным транзитом, и писательская молодежь.

Я помню, как в нашу редакцию, перемещаясь из фронтового резерва в штат одной из дивизионных газет, зашел мой старый друг, ныне покойный, еврейский поэт Арон Кушниров. Своим негромким голосом он рассказывал нам трагическую историю гибели под смоленской станцией Семлево Краснопресненской ополченческой дивизии, в ряды которой встали в начале войны десятки московских писателей, нашедших могилу в полях возле этой ничем не примечательной станции. Он рассказывал нам о том, как шел из окружения, обрстая по пути отрядом, желающим пробиться к своим. Он рассказывал о том, как возле брошенного грузовика с политотдельским имуществом какой-то части нашел большой мешок с незаполненными партийными билетами и, сам беспартийный, сквозь все бои на выходе из окружения пронес эту ношу и сдал по назначению. Он, этот уже немолодой человек, провоевавший первую мировую войну в Сибирском стрелковом полку, как ребенок радовался тому, что пронес этот груз сквозь все препятствия, и спрашивал меня, дает ли это право ему подать заявление о вступлении в партию.

Несколько позже, опять-таки в период напряженнейших боев на подступах к Москве, появился в редакции близоруко щурящийся сквозь стекла очков офицера сапер, в котором я не вдруг признал своего доброго товарища Николая Ивановича Рыленкова.

Ползая на ближних подступах к Москве по осенней ростепели и раннему черствому снегу, он, вместе со своими солдатами, расставлял мины там, где могли появиться немецкие танки или пехота.

Беспокойная саперная участь не помешала ему в редкие свободные минуты доставать из дальнего кармана записную книжку и заносить в нее уже выкипевшие в сердце строки честной и сильной фронтовой лирики. Затаив дыханье мы слушали эти строки, и душа радовалась тому, сколь одинаковы у всех нас волнения и сколь одинакова уверенность в том, что не всегда так будет, как было в эту страшную осень.

В те же дни из вереницы начинающих солдатских поэтов моя память выделила уже немолодого возрастом пехотинца из учителей, Силаева. В стопке его довольно ординарных стихов как яркая искра выделялись короткие, как вспышка ночного выстрела, строки:

Когда наш писарь полковой  
Возьмет мой список трудовой  
И отошлет его домой  
В конверте с черною каймой,  
Ты над конвертом слез не лей,  
А изорви его скорей.  
Покойный в жизни весел был  
И черных красок не любил.

В начале 1942 года появился в нашей редакции поэт-солдат Леонид Решетников, сквозь чьи молодые стихи уже разглядывался контур будущей поэтической индивидуальности. Его стихи наряду

со стихами других наших гостей дебютировали перед сражающимся на подступах к столице фронтовым читателем в собранных нами книжках «Фронтовые стихи».

Не припомню, то ли в конце марта, то ли в начале апреля ко мне пришел редакционный дневальный и спросил, можно ли пропустить лейтенанта, который хочет ко мне пройти.

После ухода дневального в комнату, где мы работали, вошел молоденький лейтенант, вся наружность которого говорила о доброй армейской выучке и повадках бывалого солдата.

Чуть-чуть подчеркнуто щелкнув кабелями, он отчеканил:

— Товарищ старший батальонный комиссар, разрешите обратиться. Я лейтенант Георгий Суворов, воюю и пишу стихи. Можно вам их показать?

Так началось мое кратковременное знакомство с человеком, которому кусок вражеского смертельного металла, наступшего его где-то возле Нарвы, помешал войти в поэзию и, несомненно, занять в ней свое, особое место.

В те времена знакомства завязывались быстро. Уже через несколько минут я и мои товарищи досконально знали все подробности биографии нашего гостя, где он работал до войны, какую военную школу он кончал, на каком фронте воевал, где и как был ранен, где лечился и куда сейчас несет его солдатская судьба. А судьба несла его на один из труднейших участков войны — на Ленинградский фронт.

Георгий вынул из вещевого мешка папку, в которой находилась машинописная тетрадь, озаглавленная «Сонеты гнева».

Из этой тетради он читал нам стихи, один сонет за другим, мы слушали его не перебивая, не останавливая, чувствуя, что он, очевидно, впервые в жизни читает стихи профессиональным поэтам и весь напряжен, как туго натянутая струна.

В написанных нетвердым поэтическим почерком строках сонетов, где не всякое слово стояло на своем месте, где поэтическая неопытность мешала автору бороться

с обычными слабостями первых поэтических опытов, все же отчетливо, от сонета к сонету, проступали черты складывающейся творческой индивидуальности. Сквозь неумелые и неровные строки слышалось биенье сильного солдатского сердца, испытанного в огне первых тяжелых битв этой нелегкой войны, чувствовался тот свойственный всей нашей поэзии тех месяцев суровый гуманизм, в котором ненависть к врагу безраздельно слилась с неистребимой любовью к своим людям, своей земле, своему советскому небу, ко всему, на что посягнул враг.

Мы слушали, и нас не могли не волновать тогда, в самую жестокую, самую хищную полосу войны, строки о весенней грозе:

Чем яростней весенняя гроза,  
Тем шире открывает мир глаза  
С надеждою на близкую победу;

Чем будет ярче молния мерцать,  
Тем больше света у людей в сердцах:  
Борьба вздымает радости побеги.

В ту весну, когда мы только что оттолкнули гитлеровцев от Москвы и когда казалось, что с весной начнется половодье нового общего наступления, западали в душу строки:

Идет весна. Пускай еще грознее  
Рокочут бури, реют облака,  
Чуму и смерть над светлым миром сея.

Идет весна, и мстителем за нею  
Земля, неукротима и строга,  
Вздывается, от гнева пламенея...

Пусть весна и лето 1942 года развеяли наши мечты и обрушили на нас новые тяготы и новые беды, — светлые предчувствия, вложенные в эти строки, не могли не волновать сердца. Они были искренни, а стало быть, правдивы.

Георгию надо было вечером уезжать к месту назначения. В скромных масштабах нашего тогдашнего гостеприимства мы поделились с ним пайком нашего ежедневного «горючего», напоили чаем с военоторговскими сухарями, и он ушел из редакции, не оставив нам даже адреса,

так как сам не знал, куда его пошлют кадровики.

Тетрадь «Сонетов гнева» он оставил мне в уповании на то, что, может быть, некоторые сонеты могут быть напечатаны или в газете, или в сборниках «Фронтовые стихи».

Для собираемого тогда сборника я отобрал несколько сонетов, но вскоре был откомандирован в распоряжение редакции «Красной звезды», и отобранные стихи почему-то в очередной сборник не вошли. Рукопись «Сонетов» я оставил у себя.

Прошло много лет. Разбирая в прошлом году свой обширный и достаточно беспорядочный архив военных лет, я натолкнулся на рукопись «Сонетов гнева», перечитал

их, и передо мной как живой встал их автор, первая встреча с которым оказалась последней.

И теперь, когда прошло уже четверть века с тех пор, как началась война, и почти четверть века с тех пор, как написаны были «Сонеты гнева», я счел долгом своей солдатской совести предложить редакции «Дня поэзии» обнародовать сонеты из этого сборника.

Пусть эта публикация будет знаком неизменного уважения живых к светлой памяти тех, кому не посчастливилось дойти до того солнечного дня, который мерещился им в черном дыму невзгод первых дней и месяцев большой войны.

Пусть будет вечно светла их память!

## Георгий Суворов

### СОНЕТЫ ГНЕВА

\* \* \*

Хотя теперь сонеты и не в моде,  
Узки, тесны, простора мысли нет,  
Сентиментальны по своей природе,—  
В четырнадцати строчках сжат поэт,

Пусть будет так. Пусть небылицы бродят.  
На старый кедр пролей ты новый свет,—  
Поэт, скажи сонетом о походе,  
И по-иному заблестит сонет.

В четырнадцать чеканных светлых строк  
Вложи времен живую эпопею,  
И что ни слово, ни строка — рывок.

Сонет — снаряд смертельный по врагу,  
Петля врагу кровавому на шею.  
Кровь, пламенеющая на снегу.

\* \* \*

Из наших душ канаты можно вить,  
Из нашего терпенья — делать пики,  
Огнями взглядов — море укротить,  
Когда несет оно свой смерч пурпурноликий.

Безвременною тьмой не ослепить  
Наш светлый взор: везде найдем тропинки,  
Во мраке дебрей золотую нить  
Отыщем и придем к сиянью зорь великих.

И пусть враги не устрашают нас  
Когтями сатаны в грозный час,  
Втыкая на пути рогатины и копыя,—

У нас есть воля, есть к победе ключ,  
Взойдем мы на любые гребни круч:  
Ведь души воинов стреляют, дают, колют.

# Павел Железнов

## „КОММУНИСТЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ“

(Памяти Владимира Аврущенко)

Что вечности глухая сила?  
Есть в мире родина. Она  
Свое бессмертье нам вручила  
И помнит наши имена.

Эти, написанные еще до войны, стихи Владимира Аврущенко можно поставить эпитафией к беломраморной доске в Центральном Доме литераторов, где его имя начертано золотыми буквами рядом с именами других наших товарищей, погибших на фронтах Отечественной войны.

Патриотическая тема — жизнь за родину — проходит красной нитью, нитью от боевого красного стяга, через все творчество Аврущенко, начиная с первых его стихов, появившихся в конце 20-х годов в «Комсомольской правде», и кончая стихами, напечатанными в 1941-м в газете 5-й армии «Боевой поход».

Действительную военную службу комсомолец Владимир проходил лет за десять до Отечественной войны в танковой части. Тогда вышла его первая книга стихов «Четвертый батальон» (изд-во «Молодая гвардия», 1931 г.). В написанных уже после выхода этой книги стихах «Прощание с комиссаром танкового полка» комиссар говорит поэту: «Ты в легких танках знаешь толк, немало их водил». Но на фронт коммунист Аврущенко пошел не танкистом, а военным журналистом, сотрудником армейской газеты, в звании старшего политрука, понимая грозную силу писательского пера.

До войны Владимир успел закончить Литературный институт имени Горького и выпустить, в подкрепление «Четвертому батальону», книги стихов «Полтава» и «Сады» и книгу очерков «Фабрика на пойме» — о Волго-Актюбинском совхозе.

Энергии было хоть отбавляй в этом веселоглазое крепыше, на котором одинаково хорошо, «складно» сидели и форма танкиста и штатский пиджачок.

Последний раз он читал мне стихи о фруктовых полтавских садах и лукавых полтавских девушках в теплый вечер начала июня 1941 года... В конце июня Владимир простился с женой, ожидавшей ребенка, и уехал на фронт.

В первых числах июля 1941 года в газете «Боевой поход» появились его стихи «Присяга», и воины 5-й армии, присягая на верность Родине, повторяли слова своего армейского поэта:

Советского Союза гражданин,  
Я клятву нерушимую даю:  
От воли каспийских до полярных льдин  
Бережь большую Родину мою!

Когда маршал Буденный был назначен командующим Юго-Западным фронтом, Аврущенко написал пламенное обращение к бойцам с призывом «рубать врага побуденновски!», и Военный совет 5-й армии вынес благодарность поэту...

...Погиб Аврущенко осенью сорок первого, недалеко от своих родных мест, в районе Пирятино, на Полтавщине... О смерти его я услышал впервые, когда лежал летом 1942-го в эвакуогоспитале в Туле, от соседа по палате, раненого политрука. Мы разговаривали о литературе, и политрук, называя имена известных поэтов, вдруг назвал Аврущенко: «Хороший был поэт!» — «Почему был?» — удивился я. «Нет его больше, — нахмурился политрук, — осенью, во время отступления, он возглавил группу прикрытия, отряд смельчаков, и, раненный в ногу, попал в плен. Гитлеровский «оберст»

узнал от кого-то, что этот старший политрук — поэт, и предложил ему сотрудничать с оккупантами. Товарищ Аврущенко ответил, как выстрелил: «Коммунисты не продаются!» И знаете, что они с ним сделали?.. В древности варвары привязывали пленных к хвостам коней и разрывали на

части... фашистские варвары заменили коней танкетками...»

В этом году исполняется двадцать пять лет со дня славной кончины Владимира Аврущенко. Лучший способ почтить память героя-поэта — познакомить читателей с его стихами.

## Владимир Аврущенко

### ПИСЬМО

Как далеко ты, как далёко.  
Не слышит ухо, не видит глаз.  
У самых стен Владивостока  
Мне снится твой Владикавказ.

Иное небо здесь, и берег  
Прославлен песней партизан.  
Там у тебя бушует Терек,  
Здесь — ходит Тихий океан.

Здесь всё... А ты? Ты за горами.  
Лесной листвой, слезой волны —  
Во всем величье между нами  
Вся география страны.

Ту даль попробуй-ка измерь ты...  
А в сумерки теснится грусть.  
И я по-прежнему не смерти,  
А тихой старости боюсь.

### ЛУЧШИЙ ДАР

Горит огонь Великих Пятилетий,  
А Ветер Времени, бунтуя и гремя,  
Червоным знаком будущее метит  
И катит волны нашего огня.

...День ото дня наш путь был неустанней,  
От наших ног дороги горячи.  
Наш гордый прах скрепил фундамент  
зданий,  
И кровью набухают кирпичи.

И мир восстал по-новому  
над сушей  
И над водой, где крепкий парус крут,

Такой зеленый, радостный, певучий! —  
Он льется в наши умершие уши,  
И мертвым нам он отдает салют.

В тени знамен, нахохленных как птицы,  
Лежит боец, смежив свои глаза,  
В которых, может быть, еще дымится  
И чуть заметно движется гроза.

Он спит. И времени текут потоки.  
И в напряженной снится тишине,  
Что ты, мой друг, читаешь эти строки  
Как лучший дар, как память обо мне.

# Григорий Левин

## „БЫЛА БЫ РОДИНА...“

(Из воспоминаний о М. Кульчицком)

20-летие Победы повысило интерес читателей к творчеству поэтов, отдавших жизнь за родину. Речь идет даже не об интересе, — о живом, горячем сопереживании, о благоговейном восприятии всего, что связано с жизнью, с творчеством «лобастых мальчиков невиданной революции». Все чаще и чаще появляются и стихи Михаила Кульчицкого, все больше говорят о нем...

«Ты всех нас лучше и выше», — писал о Кульчицком Слуцкий.

...В те годы уже выразительно прозвучали голоса Михаила Луконина, Николая Отрады, Арона Кошштейна — участников войны с белофиннами. В кругу своих непосредственных сверстников, дерзающих и ищущих, таких, как Павел Коган, Михаил Львов, Николай Майоров, Борис Слуцкий, Давид Самойлов, — Кульчицкий выделялся особой резкостью и остротой поэтического мышления. Изобразительность его стиха была крупной, объемной. Он умел найти среди многих признаков предмета один, самый значимый и характерный. Смелость ассоциаций привлекала внимание к стихам поэта. Именно такой изобразительности, которая сочетает наблюдательность внешнюю с проникновением в самую сущность предмета, изобразительности масштабной принадлежит будущее. «Проволока, колючая, как готический шрифт» — этот образ почти осязаемо передавал язык фашизма. Ощущение надвигающейся войны остро воссоздано уподоблением самолета и пограничного столба надгробному кресту... «Обугленные череп домов», «Лестницы без этажей поднимались в никуда...» — это не только образы войны миновавшей, но и предощущения грядущей.

Поэзия Кульчицкого вся насквозь полемична. «Рязные рязанские б пятушки», — иронически говорил поэт об ограниченном одними колоритными приметам старинного быта понимании патриотизма. Борясь «со срамом наляпанного а-ля русс», поэт противопоставлял ему революционную, устремленную в будущее сущность патриотизма. Для него Россия — подвиг во имя человечества: «Помнишь — с детства — рисунок: чугунные пути человек сшибает с земшара грудью! — Только советская нация будет и только советской расы люди...» Его «русское до костей» слово действительно было «советским до корней». Вот уж кто понимал, что высшее проявление русского характера есть чувство интернационального братства!

Кульчицкий беззаветно любил поэзию. В Харькове, где он начинал свою поэтическую работу, он мог часами ходить по улицам с товарищами, ночи напролет читать стихи. Он считал, что поэт должен основательно знать своих предшественников и в тех случаях, когда они чужды ему по направленности своего творчества. На эту тему он написал однажды, после горячего нашего спора, стихотворение, в котором были такие строки: «Патрон врага не выбросит отряд, коль он подходит к ТОЗовской винтовке» (ТОЗ — Тульский оружейный завод). У меня сохранились стихи Кульчицкого, в несколько усложненной и не вполне самостоятельной еще форме выразившие его раздумья о поэзии, о характере своего призвания, о том, что и как надо писать. Одно из этих стихотворений, «Пожелание», написанное 25 октября 1938 года, построено на резком отталкивании от поэзии книжной, условно-стилизованной:

Не кистью грузною фламандца  
в подернутом дымком столетий  
углу, куда грядут багряницы  
резных оконных переплетин,

не бледной немочью эстета,  
скользящей белью по мольберту,  
как взгляд сквозит жз-под кастета  
его натурщицы и жертвы,

не вогкой кисточкой монаха  
в пустынном склепе гулкой кирхи,  
где мрак луны как пляска праха  
и череп в амбразурных дырках,

не черной палочкой японца,  
слегка тушующей ворс шелка,  
волокна чьи идут от солнца,  
чтоб виться за слезой — иголкой,

а зорким взглядом живописца,  
сквозь колесо бегущей тени  
провидящим закаты листьев  
еще не созданных видений.

Даже в этом стихотворении, во многом построенном на сознательном воссоздании чужих поэтических приемов (это отвечает замыслу поэта), уже сказывается характерная для Кульчицкого напряженная образность, избирательность деталей, экспрессивных по самому существу своему. Он словно прочитывает далекое искусство ближайшим рассмотрением, поверяет его современным видением. Заключительная строфа стихотворения при всей своей усложненности по существу выражает мысль отчетливую и ясную: поэту близка современная изобразительность быстрых смещений предметов, «колесо бегущей тени», изобразительность, которая угадывает будущее развитие явлений, дает возможность опережать события, видеть «закаты листьев еще не созданных видений». Сказано — не спорю — несколько витиевато, но по-своему выразительно.

В «Стихах другу», опубликованных в моей статье в сборнике «Сквозь время», Кульчицкий очень ясно представлял свое место в будущем: «Будет — шашки — языки пожара». Он, правда, искал его «меж камней Барселоны» — там проходил передний край романтики поколения. Но и не «среди северногерманских мхов», а го-

раздо раньше, в 1942 году, на земле его родины, оборвалась жизнь поэта... Впрочем, и это он предвидел: «Я хочу, чтоб пепел моей крови в поле русском... ветер... голубом». Это было написано в январе 1939-го.

А вот стихотворение «На дружбу», 19—20 февраля 1939 года. Оно очень характерно для Кульчицкого пониманием неразрывности своей судьбы с судьбой революции: поэт усмотрел особый смысл в том, что день его рождения оказался днем смерти героя гражданской войны: «Я родился в день, когда убили в поле Щорса. Я узнаю в бытии: последний вздох его не был ли моим первым?»

В моей памяти сохранилось еще одно, очень важное для Кульчицкого стихотворение. В нем сказывалась тревога поэта о судьбе нашей поэзии, о том, чтобы словословия не заслонили ее революционную сущность, не помешали проявиться ее воинствующему характеру. Кульчицкий был непримирим к поэзии громкой фразы, не прощал халтуры. Я приведу некоторые, наиболее значительные строфы из стихотворения такими, как я запомнил их со слов поэта. Начиналось оно так:

Всю ночь я шатался столицей республики  
С девушкой, накинувшей мое пальто.  
Мимо струилось по брусчатым кубикам  
Зеркалами втягивающее авто...

Поэт представляет свой разговор о судьбе поэзии, разговор откровенный и прямой, с человеком, возглавлявшим страну:

Я так бы сказал: «Товарищ Сталин,  
Я скажу по сердцам, я взгляну напрямик,  
Со мною идет по ночным кварталам,  
От сквозного тумана подняв воротник.  
Многим красивая, словно ночью пригрзсилась,  
Полузабытая, как Ревком,—  
Моя романтика, наша поэзия,  
За опоздание уволенная пошляком...»

.....  
Я верю, скажем музе: «Будь как дома,  
Наряд тому, кто затупил штыки!»  
Мы запретим декретом Совнаркома  
Кропать о родине бездарные стишки.

Недавно я прочитал перифраз этих строк в посмертно опубликованном стихотворе-

нии казненной гитлеровцами поэтессы Елены Ширман...

В сохранившемся у меня письме Кульчицкого в редакцию «Литературной газеты» от имени студентов I курса литфака Харьковского университета вместо подписи нарисован красноармеец в шлеме времен гражданской войны. Как это характерно для Кульчицкого! В письме поэт с огромной любовью и нежностью говорил о любимых поэтах революции — Маяковском и Багрицком, о необходимости издания Маяковского «походного формата, чтобы пламенные патриотические стихи его могли находиться на столе каждого студента и в сумке красноармейца. наших поэтов любят, их переписывают в читальнях. Книжки их ходят по рукам. Но часто встречается культурный гражданин родины, не читавший лучших вещей Э. Багрицкого, где шумят ветры нашей родины, где лучшие сыны народа побеждают и умирают за нее!»

Мне хотелось бы также поделиться с читателями некоторыми отрывками из сохранившихся у меня писем М. Кульчицкого. Из Москвы, где он учился в Литературном институте им. Горького, Кульчицкий писал в Харьков о своем житье-бытье, о литературных боях, о замыслах и планах, просил читать эти письма нашим общим друзьям.

Чем жил в это время, в канун Отечественной войны, Кульчицкий?

В открытке от 28 марта 1941 года он с гордостью сообщает: «Мы работаем в «неоросте», т. е. стихолозунги на з-дах. Я в многотиражке электролампы. Бичуем яко Ювенал за окурки и чертежи в масле». В письме от 15 апреля 1941 года, отвечая на какой-то поэтический спор, Кульчицкий формулирует свое кредо, направленное против эстетской, камерной поэзии: «В миру я не чтоб «понять шепот...», а чтоб топот был, чтоб гром». Он отстаивал богатство и разнообразие поэтических средств, смелое скрещивание различных приемов: «Почему это в серьезн. стихах

нету местов для юмора? Когда я напечатал «вы отображаете удачно дач лесок», а на соседней странице стихки про «сад в сентябре и серебре» — это шик! Все средства — и юмор, и пафос — танки и тачанки — генерал пускает в бой все роды оружия!»

Для поэтической позиции Кульчицкого очень характерны строки из того же письма о погибшем на финском фронте за две недели до своего двадцатипятилетия поэте Ароне Копштейне: «Это хорошо, что говорят об Ароне как об обороне. Пора поэзии сменить ландыш на автомат... Правда, Копштейн сделал мало, но шел он (в идейном смысле) правильно».

«Это хорошо, когда спор, — писал Кульчицкий. — Нет болота, нет теперешней мирной «поэзии». Поэзия должна быть мировая. Как мировая война». Пафос этих строк был направлен против идиллически-благодушных настроений, проskalывавших в стихах некоторых поэтов в конце тридцатых годов, когда так явственно ощущалась угроза мировой войны.

В своих письмах Кульчицкий восторженно, увлеченно говорил о выступлениях в институтах, школах, ремесленных училищах, но с особенной гордостью и радостью писал он о выступлении перед красноармейцами в том же письме от 15 апреля 1941 года: «Читал стихи в одной из казарм одной из частей нашей Кр. армии. Когда я увидел тех, для кого я пишу, и у меня застлало глаза, и это как было! Ведь я чего хочу — только чтоб все стихи мои впечатать в книгу подсумочного формата, пусть и с фамилией, пусть и так. А сытые очкастики пыхтят: «Нам понятно, а пластмассе нет». А красноармейцы поняли. Поняли лучше, чем бюрократы. Хорошо, что драться надо, что все впереди, что Европа горит. Что часы идут». И цитировал строки Павла Когана: «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях!»

Кстати о «бюрократах». Борясь за свои позиции в поэзии, как далек был Кульчицкий от нытья по поводу своих неудач и огорчений. Он был исполнен

энергии, наступательного пыла. Перенести трудности поэтического становления ему помогали уверенность в будущем своем и своих товарищей — и юмор.

В письме от 15 апреля 1941 года Кульчицкий писал: «Как напечатали. Стих Слуцкого без начала, без конца, с переделанной серединой. Моя поэма: из 8 глав пошли 3 куска из 3-х глав, и еще концовка. А с каким шакальим воем это было, как рубали... Почему изменили имя? То к лучшему. Было бы М... Кульчицкий...», А теперь: «А, Кульчицкий!» Нишево, приобьнут, сердешные, к именам нашим, и обедать будем в неделю четыре раза, и суп будет. Настроение бодро, и журчанье в желудке как марш, бравурновато. Асса, гинджалы выдержай!» А вот строки из письма от 26 апреля 1941 года: «На чего ты намекаешь, когда пишешь «экзакуция»? Это что стихи наши в шрамах? Так это гордо! Да, бюрократы». И цитировал Николая Глазкова: «Так бюрократы каменного века встречали первый бронзовый топор». В открытке от 20 февраля 1941 года Кульчицкий с таким же юмором писал, как обошелся редактор с его поэмой «Самое такое» (ныне опубликованной и в сборнике «Сквозь время», и в антологии «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне», изданной в Большой серии «Библиотеки поэта»): «...искромсал мою поэму, вычеркнул эпиграфы и т. д., наперекор Сельвинск., мне и здравому смыслу. Неудивительно, если вещь Главлит теперь не пропустит. Горький юмор! Сокращенный вариант поэмы был опубликован в 1941 году в журнале «Октябрь» в февральском номере.

О трепетном отношении Кульчицкого к поэзии можно судить хотя бы по таким строкам из его письма от 26 апреля 1941 года: «Сейчас чую в себе прилив для хорошего стиха. И посему боюсь писать, чтоб не плохо вышло». «Царство светлого разума и хороших стихов» — так представлял Кульчицкий будущее, как бы переключаясь с Маяковским: «Коммунизм — это место, где исчезнут чиновники и где будет много стихов и песен». В письме

от 15 апреля 1941 года Кульчицкий с высоким уважением и любовью говорит о Сельвинском, своем учителе в поэзии («это сейчас самый большой поэт»), об Асееве, Пастернаке, Кирсанове. С любовью пишет Кульчицкий о своих товарищах по поэзии — Б. Слуцком, П. Когане. «Жди в печати стихов одного моего друга, Глазкова. Это романтик до костей мозга». В письме от 26 апреля — о М. Львовском: «Львовский это хорошо. Ему верить. У него стихи есть». И оставлял место в письме, чтобы Львовский вписал туда свои строки, которые я здесь привожу, как характерные для задиристого полемического тона поэтической молодежи тех лет: «Никогда не стану я маститым, чьи стихи у сотен на устах, чьи фамилии упитанным пегитом напечатаны на титульных листах». Тепло говорит Кульчицкий о посвященном Багрицкому стихотворении своего товарища по обучению в Харьковском университете (до поступления в Литинститут) Еремея Аврутиса — талантливого поэта, тоже погибшего на фронте: «Это, кажется, его лучший стих. А это хорошо, когда лучший стих». Кульчицкий заинтересованно следил не только за русской поэзией. Он высоко ценил стихи Г. Леонидзе, Т. Табидзе, С. Чиковани. «Грузинских поэтов прочту не раз и не два», — писал он 15 апреля.

И еще несколько черточек человеческого облика Кульчицкого. «Я жажду такой, чтоб рвала мои чистовики, когда не понравятся ей, чтоб любила под ливнем ходить», чтоб

«только ты  
доверишь и дохватишь,  
моя товарищ».

(Из «Кабы». Кульчицкий писал такую поэму, говорил о ней: «Это романтика».)

Он был хорошим товарищем: «Крепко дружу» — так закончил он одно из писем. «Чего твои письма с грустцой?» — спрашивал он придиричиво, заметив несвойственную своему характеру нотку. Он был нежным сыном: «Зайди к старикам моим, ободри их», — писал он (отец Кульчицкого

во время оккупации был расстрелян гитлеровцами).

...Последнее письмо Кульчицкого — менее чем за два месяца до начала Отечественной. Сколько в нем еще задора, безудержного веселья, бодрости, юмора, хотя тревожные ноты ожидания больших событий уже звучат в его письмах. Кульчицкий вкладывает в конверт «Письм-газету № 1» с шуточным подзаголовком: «Редактировал кое-кто» и маркой: «Наша РОСТА». Упомянутое выше «царство разума и стихов» реализуется для него в двух зданиях. На одном вывеска: «Журнал «Наш труд», прием стихов от 5 ч. утра до 1 ч. ночи», на другом: «Сумасшед. дом для прозаиков и сумасбежавших критиков». Изображены орудия, открывающие огонь по поэтам, с которыми полемизировал Кульчицкий и его товарищи. Приложена новая «Планировка Харькова» — родного города поэта, где площади, парк, набережная, проспект названы именами товарищей

по перу, сад — именем девушки, а свалка — именем недруга поэта. А вот музей Верхарна и Кирсанова...

Пришло другое время. Было уже не до шуток. Уходя на фронт, Кульчицкий написал известные ныне всем любящим поэзию строки: «На бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжелых орденов. Не до ордена — была бы родина с ежедневными Бородино»...

До «ежедневных Бородино» он не дождался. Но он, как и его товарищи по перу и оружию, делал все, чтобы эти дни наступили.

Я думаю, что пришло уже время для издания как можно более полного сборника стихов навсегда оставшегося молодым замечательного поэта поколения со роковых годов. Это надо сделать и по отношению к другим поэтам, отдавшим жизнь за родину, за коммунизм. «Нам стихи их найти, чтоб издать до последней строчки, те стихи, где их голос срывался, охрипший в бою»...

## Михаил Кульчицкий

\* \* \*

Хвостом лисы рассвет примерз ко льду.  
В снегах бежит зеленый дачный поезд.  
Вот так и я, стянув поглуше пояс,  
В пальто весеннем по зиме иду.

И стелюсь, словно тень за паровозом,  
Прозрачные деревья греет дым.  
Вот так и я, затиснув папиросу,  
На миг согреюсь дымом голубым.

Еще березы, но предчувствьем — город.  
И руки я на поручни кладу.  
Вот так и я, минуя семафоры,  
К другим стихам когда-нибудь приду.

1939

## Н. ТУРОЧКИНУ \*

В небо вкололась черная заросль,  
Вспорола белой жести бока.  
Небо лилось и не выливалось,  
Как банка сгущенного молока.  
А под белым небом, под белым снегом,  
Под черной землею, в саперской норе,—

---

\* Стихотворение посвящено поэту Николаю Отраде (Отрада — поэтический псевдоним Н. Турочкина), погибшему 3 марта 1940 года на финской войне.

Где пахнет мраком, железом и хлебом,—  
Люди в сиянии фонарей.  
(Они не святые, если безбожники.)  
Когда в цепи перед дотом лежат,  
Банка неба — без бога, порожняя —  
Вмораживается им во взгляд.  
Граната шалая и пуля шальная...  
И когда прижимаемся, «мимо» — моля,  
Нас отталкивает, в огонь посылая,  
Наша черная, как хлеб, земля...

*Март 1940 г.*

## Николай Майоров

\* \* \*

Я лирикой пропах, как табаком,  
И знаю — до последнего дыханья  
Просить ее я буду под окном,  
Как нищий просит подаюнья.

Мне надо б только: сумрак капал,  
И у рассвета на краю  
Ночь, словно зверь большой, на лапы  
Бросала голову свою...

*1938*

\* \* \*

Заснуть. Застыть. И в этой стыни  
Смотреть сквозь сонные скачки  
В твои холодные, пустые,  
Кошачьи серые зрачки.

В бреду, в наплыве идиотства,  
Глядя в привычный профиль твой,  
Искать желаемого сходства  
С той. Позабытой. Озорной.

И знать, что мы с тобою врозь  
Прошли полжизни тьмой и светом

Сквозь сонм ночей, весны — и сквозь  
Неодолимый запах лета.

И все ж любить тебя,  
Как любят  
Глухие приступы тоски,—  
Как потерявший чувство красок  
Любил безумный, страшный Врубель  
Свои нелепые мазки.

*1938*

# Павел Коган

## СОСТАВ

Он нарастал неясным гудом,  
Почти догадкой. И томил  
Тревожным ожиданьем чуда  
И скорой гибели светил.  
Он рос. И в ярости и в грохоте  
Врезался в версту верста,  
Когда гудка протяжным ногтем  
Он перестук перелистал.  
И на мгновенье тишиною  
Как зной сквозною пронизав  
Простор, он силою иною  
Ударил в уши и глаза  
И грянул.  
Гролом и лавиной  
Он рушил сердце, как дубы,  
Гроза, грозя в глаза, что дина-  
митом!  
Рванет.  
И время на дыбы.

В поля, в расхристанную осень  
Войдя, как в темень искрой ток,  
Он стал на миг земною осью,  
Овеществленной быстротой.  
Но, громом рельсы полосую,  
Он нес с собой тоску и жизнь.  
Он был, как жизнь, неописуем  
И, как тоска, непостижим.

Еще удар. И по пылице,  
По грязи, в ночь, в тоску — далек...  
И, как на горьком пепелище,  
Мелькает красный уголек.

И если к горлу — смерти сила,  
Стихи и дни перелистав,  
Я вспомню лучшее, что было, —  
Сквозь ночь бушующий состав.

1937

*Стихи М. Кульчицкого, Н. Майорова и П. Когана подготовил к публикации Б. Куликов.*

# Семен Гудзенко

\* \* \*

Я родился в этом городе,  
рос.  
Мне не надо в этом городе  
роз.

Мне не надо в этом городе  
дач,  
мне не надо в этом городе  
удач.

Тишины бы мне каштановой  
с весны.

Я бы начал юность заново,  
пусть с войны.

Только было б то горение,  
тот порыв,  
чтоб мое стихотворение  
на обрыв

вывело меня безумного  
в ночь одну  
из притихшего, нешумного —  
на войну...

*Киев  
Январь, 1949 г.*

# Юлия Друнина

## ГИМН ПОКОЛЕНИЮ

*(Размышления по поводу поэтического представления «Павшие и живые» в Московском театре на Таганке)*

### 1. „ОСТАВАЙСЯ! МЫ ТЕБЯ НЕ ПУСТИМ...“

Рискуя жизнью, некий посетитель зоопарка спас ребенка, упавшего в вольтер к медведям. Симпатичная девушка, случайная свидетельница этого подвига, затащила спасителя к себе. Ее застенчивый, мешковатый гость оказался участником войны. Он оживляется, рассказывая девушке о своей романтической фронтовой юности.

Но тут вваливается шумная компания мальчиков и девочек. Среди них, элегантных и ироничных детей новой эпохи, так одинок и трагичен этот близорукий неуклюжий человек, не умеющий к тому же танцевать твист. Да, конечно, он — герой. Ну и что? Мы же не в окопах, а на вечеринке: здесь пристрастие к героическим воспоминаниям просто неуместно. Сколько, в конце концов, можно твердить о войне? Беднягу перестают слушать. Молодежь с упоением «дает твист».

«Неужели действительно надоело, забылось то время? — звучит со сцены раздумчивый голос Ведущего. — Для чего же мы тогда пишем книги, ставим кинофильмы?»

Да, в самом деле — для чего? Для чего режиссер Юрий Любимов сделал свое «поэтическое представление»: композицию по стихам поэтов-фронтовиков — павших и живых?

На этот вопрос отвечают аншлаги, которые сопровождают каждый спектакль. Попробуйте-ка достать «лишний билетик»!

На этот вопрос отвечает и та особая

наэлектризованная тишина в зале, высокое напряжение которой не нарушается все три часа «поэтического представления». Подумайте только: три часа стихов (без антракта!), причем не любовных, не юмористических, не «сенсационных», — строгих, скромных, фронтовых стихов.

Потом — овация, но овация тоже особая — аплодируют молча, с перехваченным горлом, с глазами, блестящими от пролитых или сдерживаемых слез.

Так бывает редко — тогда, когда сталкиваешься с чем-то очень чистым, трагическим и значительным. А что может быть чище, трагичнее и значительнее судьбы российских юных поэтов, добровольно ушедших из студенческих аудиторий в окопы переднего края?

Спасибо театру, сделавшему смелое и благородное дело — давшему вторую жизнь тем, кто не вернулся из разведки, тем, кто упал у безымянной высоты или у стен Сталинграда.

...Погаснет свет в зале, и на сцену, освещенную заревом вечного огня, войдет Он — солдат Великой Отечественной войны.

Бледный и усталый от сраженья,  
Он войдет и скажет на ходу:  
— Я в грязи, а здесь стихотворенье!  
Лучше я, товарищи, уйду!

— Оставайся! Мы тебя не пустим!  
Здесь твой дом! И здесь твоя семья!  
Лучшая учительница чувствам —  
Русская застенчивость твоя.

.....  
Заходи же! Ты имеешь право!  
Оставайся! Ты — хозяин тут,  
Потому что реки нашей славы  
В океан бессмертия текут!

И опять идут за ротой рота  
В смертный бой, и вперед, взгляни —  
Партии раскрытые высоты,  
Комсомола яркие огни!

Этих стихов Михаила Светлова нет в спектакле, но мне кажется, что они удивительно точно выражают то чувство, которое испытываем мы, зрители, когда слышим со сцены горький и недоумевающий вопрос Ведущего: «Неужели действительно надоело, забылось то время?»

## 2. „МУЖЧИНЫ УМИРАЮТ, ЕСЛИ НУЖНО...“

Москва сорокового, предвоенного года. Три судьбы, три начинающих поэта — Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Всеволод Багрицкий.

Вот они на авансцене, на трех помостах. Жизнерадостные, смелые, по-юношески строгие и нетерпимые в своих суждениях о жизни и об искусстве. Иногда хочется с ними и поспорить — «хрестоматийный глянец» этим ребятам ни к чему. А с высоты шестидесятих годов многое видней.

«У нас — у молодых поэтов нового течения — много пунктов разногласий с теперешними серыми стихами в журналах, — пишет родным Миша Кульчицкий. — Сейчас одеревенение в поэзии. Душно... Сейчас надо такие: «Вперед! Ура!..» Я таких писать не умею, видит бог».

Да, это было сложное время. Но, перебирая пожелтевшие журналы далеких сороковых годов, видишь, что там печатались не только серые барабанные стихи, не только «Вперед! Ура!». Мелькают имена Асева, Светлова, Пастернака, Луговского, Уткина, Симонова, Алигер, Стрельченко — стихи многих поэтов выдержали жестокую проверку временем.

Но серятины действительно хватало. Именно против нее был направлен пафос «молодых поэтов нового течения». И против благополучных и гладеньких деятелей литературы, ратующих за благополучные и гладенькие стишки, за стишки-штампы.

На сцене Павел Коган расправляется с одним из таких деятелей очень просто — спокойно засовывает его под трибуну. В жизни все было, конечно, сложнее...

Но вскоре и молодым и маститым поэтам пришлось воевать с настоящим врагом: грянуло 22 июня 41 года.

Я позабыл о ссорах и разладе  
И понял, что у нас одни враги,  
В ту ночь, когда на интендантском складе  
Поэты примеряли сапоги,—

писал тогда Евгений Долматовский.

Три студента-филолога, три мушкетера сороковых годов ушли на фронт добровольцами, как и тысячи их сверстников.

Никто из троих не вернулся обратно. В братской могиле под Новороссийском похоронен лейтенант Павел Коган. Погиб под Сталинградом младший лейтенант Михаил Кульчицкий. Осколок авиабомбы убил Всеволода Багрицкого — этот же осколок пробил его планшет, тетрадь стихов и письма матери...

Никто из троих не вернулся. И все же они с нами. Отсветы вечного огня освещают их лица. Нет, это не бутафорский огонь и это не сцена в маленьком театре на Таганке. Три мальчика погибли, чтобы стать бессмертными. Впрочем, к ним не подходит инфантильное слово «мальчики». Они были мужчинами. Это о них писал поэт-фронтовик Михаил Львов:

Мужчины умирают, если нужно,  
И потому живут в веках они.

## 3. „ДАВАЙТЕ ПОСЛЕ ДРАКИ ПОМАШЕМ БУЛАГАМП...“

И сейчас еще, слыша иногда по радио грозное и торжественное «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!», вижу неповторимую Москву первых дней войны, перечеркнутые крест-накрест окна, наивно закамуфлированные дома и — маршевые батальоны, маршевые батальоны, уносящие эту песню на фронт.

И сейчас еще, при первых же щемящих тактах «Землянки», ощущаю в глазах резь от дымной «тесной печурки», а на губах — вкус снега, вскипяченного в отходящем жиром котелке.

И сейчас еще «Жди меня» звучит как заклинание, как яростная молитва ни в бога, ни в черта не верующих атеистов, заклинание, помогающее им выжить.

Да, «Священная война» Лебедева-Кумача, «Землянка» Алексея Суркова и «Жди меня» Константина Симонова неотделимы от Великой Отечественной. Они стали фольклором, они были на вооружении нашей армии, нашего народа, и мы встречаемся с ними в спектакле как со старыми, верными фронтовыми товарищами.

Воплощением трагедии и мужества блокадного Ленинграда стала для нас Ольга Берггольц. С блоковской силой ударяют по нервам замерших зрителей ее скорбные и мужественные стихи:

Я люблю тебя любовью новой,  
Горькой, всепрощающей, живой,  
Родина моя в венце терновом,  
С темной радугой над головой.

В строю поэтов, рожденных войной, правофланговым стоит Семен Гудзенко. Его стихи — смесь мужества и романтики, чистоты и силы, в них живет выстраданное, волнующее: то, что можно назвать «чувством опаленности фронтом».

Гудзенко давно не может сам читать свои стихи. Война догнала его уже в 1953 году: он умер тридцати лет, трагически оправдав собственное пророчество:

Мы не от старости умрем,  
От старых ран умрем...

Семен Гудзенко давно не может сам читать свои стихи. Но вот мы слышим их со сцены:

Нас не надо жалеть:  
Ведь и мы б никого не жалели...

Еще раз хочется повторить — это благородный, волнующий спектакль. Но у меня есть некоторые пожелания авторам композиции — Д. Самойлову, Б. Грива-

нову и Ю. Любимову. Понимаю, что эти пожелания несколько запоздали, и все-таки, как сказал Борис Слуцкий, «давайте после драки помашем кулаками».

Хотелось бы, например, ощущения того, что за узкими мальчишескими плечами Михаила Кульчицкого, Павла Когана и Всеволода Багрицкого стояло целое поколение молодых поэтов-фронтовиков, поэтов, которые при жизни так и не увидели напечатанной ни одной или почти ни одной строчки своих стихов. Это и Николай Майоров, и Николай Отрада, и Георгий Суворов, и Юрий Инге, и Леонид Вилкомир, — в одном только сборнике «Имена на поверке» более двадцати авторов-воинов, павших на фронтах Великой Отечественной. Может быть, и не обязательно перечислять все имена, но сказать о существовании такой поэзии, на мой взгляд, необходимо.

Мне жаль, что автор композиции — поэт Давид Самойлов — забыл давно ставшие хрестоматийными, мудрые, демократичные стихи поэта-танкиста Сергея Орлова, стихи-памятник неизвестным солдатам, погибшим на войне:

Его зарыли в шар земной,  
А был он лишь солдат,  
Всего, друзья, солдат простой,  
Без званий и наград.

.....  
Давным-давно окончен бой...  
Руками всех друзей  
Положен парень в шар земной,  
Как будто в мавзолей.

Как здорово легли бы эти стихи в спектакле «Павшие и живые»! Как сильно прозвучали бы!

Мне жаль, что автор композиции забыл классически строгие, гневные, горькие, пронзительные стихи Сергея Наровчатова:

Я проходил, скрипя зубами, мимо  
Сожженных сел, разбитых городов  
По горестной, по русской, по родимой,  
Завещанной от дедов и отцов.  
Запоминал: над деревнями пламя,  
И ветер, разносящий жаркий прах,  
И девушек, библейскими гвоздями  
Распятых на райкомовских дверях..

А как обидно, что в спектакле нет одного из самых трагичных, самых честных стихотворений Отечественной войны — «Враги сожгли родную хату» Михаила Исаковского...

Мне могут, конечно, возразить, что невозможно объять необъятное и все хорошее включить в спектакль.

Но стихи, о которых я говорю, — это не «все», это наша классика. И не ушедшая, так сказать, «на пенсию» классика, а живая, обжигающая, переворачивающая душу поэзия. Такие стихи никогда не погаснут, как не погаснет никогда вечный огонь солдатской славы.

Я говорю о «Павших и живых» не абстрактно, а применительно к тем законам, какие авторы сами себе поставили. И именно по этим законам Д. Самойлов должен бы, на мой взгляд, украсить, усилить свою композицию стихами, приведенными выше.

Считается, что произведение искусства следует судить за то, что в нем есть, а не за то, чего в нем нет. Однако же тут случай особый — это композиция, составленная из известных произведений, и я, думаю, вправе высказывать суждение о том, насколько это на мой взгляд верно или неверно сделано.

#### 4. ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Для этого «поэтического представления», не похожего ни на одну самую распрямленную пьесу, было бы бесконечно трудно найти режиссерское решение. Юрий Любимов нашел его. Он нашел поэтический образ спектакля в то и дело вспыхивающем на авансцене пламени — вечном огне, к которому гипнотически приковывается внимание зрительного зала. Он нашел эти три помоста, то и дело меняющие свое назначение, кажущиеся то конкретным местом действия, то чем-то обобщенным, аллегорическим, подчеркивающим звучание стиха. Он нашел эти четкие силуэты на светящемся фоне, когда

фигура актера, выразительно застывшая, утрачивает натуралистические детали и превращается в обобщенный образ. Он нашел свет для своего представления — не безразлично-эффектное «беспартийное» освещение, а смысловой, «партийный» свет, работающий на авторско-режиссерское отношение к происходящему на сцене.

Юрий Любимов нашел верную художественную меру всему, и потому не кажутся инородными резкие срывы в гротеск, — и Чаплин, и Гитлер, и карикатурный «деятель литературы», беззвучно надрывающийся на трибуне, совершенно законны в этом своеобразном спектакле.

Спектакль этот не укладывается в привычные рамки театральной рецензии. Он вызывает не потребность проанализировать удачу или неудачу отдельных исполнителей — скорее хочется сказать о том, что ансамбль молодых актеров создал собирательный поэтический образ поколения молодежи военных лет. И это большая принципиальная общая удача исполнительского коллектива театра на Таганке. И соучастник спектакля — зрительный зал, чувствуя подлинность происходящего на сцене, ни разу не нарушает действие аплодисментами в «эффектных местах», хотя таких мест и в актерском исполнении и в режиссуре великое множество. Зритель чуток и понимает, что аплодисменты были бы неуместны.

Между залом и сценой почти физически ощущается живая связь. Все здесь взаимно — зрители, кажется, готовы броситься на помощь погибающим героям, а актеры наэлектризованы током зрительского сочувствия. Не часто бывает такая атмосфера в театре! Да еще на спектакле без привычного сюжета, на спектакле, где романтика человеческого подвига, романтика поколения ушедших на войну выражена не в героическом действии, не в сюжете, а в стихах.

Мое поколение росло, овеянное романтикой революции и гражданской войны. Любимой нашей песней была «Каховка», любимым фильмом — «Чапаев», любимой книгой — «Как закалялась сталь». Не

они ли — светловская девушка в солдатской шинели, отчаянный легендарный комдив, суровый, неистовый Павел Корчагин — привели нас в 1941 году в райкомы и военкоматы с требованием отправить на фронт?

А разве у молодежи шестидесятых годов нет оснований быть влюбленной в героев Великой Отечественной так же, как мы, мальчики и девочки, родившиеся в двадцатых, были влюблены в героев гражданской войны?

Разве наша молодежь не должна почувствовать красоту фронтовой дружбы и задуматься над природой той особой высокой настроенности души, которая бросала человека на вражескую амбразуру?

Ведь освободительная война — это не только смерть, кровь и страдания. Это еще и гигантские взлеты человеческого духа — бескорыстия, самоотверженности, героизма.

Воспитание чувств — одна из благороднейших задач искусства. И эту задачу театр Любимова выполняет с честью, спектакль служит одной прекрасной цели — не дать угаснуть святому огню вечной славы, не дать людям забыть о тех, кто за слонил их своим сердцем.

Жизнь идет. Выросло новое поколение молодежи. И опять ветер эпохи наполняет алые паруса романтики. Песня о бригадине, сочиненная в сороковых годах московским студентом Павлом Коганом (как жаль, что и ее нет в спектакле), стала любимой песней студентов шестидесятых годов. И сколько парней и девушек, уезжающих по путевке комсомола на целину или на далекие стройки, повторяют удивительно современные строки его стихов:

Есть в наших днях такая точность,  
Что мальчики иных веков,  
Наверно, будут плакать ночью  
О времени большевиков.



## ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ ДЕМЬЯНА БЕДНОГО

Как «Правда» уже сообщала, в настоящее время завершается восьмитомное издание сочинений Демьяна Бедного. В издание включен том писем. Они немногочисленны, так как поэт, по собственному признанию, был всю жизнь «предельно скуп на письма», и к тому же далеко не все сохранились. Тем не менее некоторая часть их в восьмитомник не вошла и останется неопубликованной, поскольку адресована жене и посвящена узколичным, семейным темам. Такая ограниченность не случайна. Речь идет о той части писем, что относится к периоду первой мировой войны, когда военный фельдшер Придворов должен был соблюдать максимальную осторожность, чтобы не обнаружилось то, что он и есть уже хорошо известный вообще, и охранке в частности, Демьян Бедный.

К осторожности обязывали и общие условия того времени, особенно в действующей армии. Об этом есть немало свидетельств в самих письмах, по-видимому отправленных с оказией. «Сегодня у нас приговорили на суде на 3 года — за письма, где человек разболтался! Вот почему я мало, почти ничего о войне не пишу», — пишет домой Демьян Бедный, призывая к такой же осторожности и жену: «В газетах прошу не делать никаких надписей...» (ему регулярно отсылали газеты); «я тебя просил и еще раз прошу не делать *таких* заметок, какие ты делаешь по-прежнему. Это сплошное безрассудство. Надо же понимать это!»; «Вольномыслием меня не удивить. Писала бы лучше о себе, вместо восклицаний по адресу всякой сволочи, которую я и без тебя хорошо различаю». И т. д.

Особенно насторожиться пришлось поэту после налета полиции с обыском на его дачу, где жила семья. Он перестал писать по «испорченной», как он его называл, адресу дачи, отсылая письма кружным путем, через знакомых. И, несмотря на

это, все же сулил, что «отныне мои письма к тебе и всем будут короче воробьиного носа...».

Однако осуществить это намерение было нелегко, ибо поэт и на фронте беспрестанно работал, отсылал жене для передачи в печать свои новые басни и сказки; особенно много в это время им было переведено басен Эзопа, вышедшего из-под пера Демьяна Бедного таким злободневным, что, как известно, древний автор удостоился письменного отзыва цензора: «Знаем мы этого Эзопа!»

Итак, несмотря на сложные условия, в письма то и дело проникали серьезные темы, искренние признания. Ниже мы предлагаем ознакомиться с отрывками из неопубликованных и не вошедших в VIII том писем, которые представляют объективный интерес. Это, во-первых, высказывания об этике писательского поведения, кстати показывающие, как Демьян Бедный дорожил уважением М. Горького; во-вторых, отрывки, показывающие горячую заинтересованность поэта в литературной жизни и веру в ее достойное будущее, а также его тесные связи с известным партийным деятелем В. Д. Бонч-Бруевичем; и в-третьих — размышления о собственной судьбе, иногда представлявшейся ему печальной, но никогда вне того дела, которому он посвятил свою жизнь.

Все отрывки относятся к 1915 году.

\* \* \*

«Я досадовал на тебя, получив письмо твое, где ты сообщаешь, что пойдешь к Алексею Максимовичу сказать о том, что «Баталисты» и «Волк и Лев» уже напечатаны в «Утре». Да разве же я давал эти вещи Алексею Максимовичу? И не думал! И тебе не велел передавать их. Что же начнешь думать обо мне Алексей Максимович? Что я рассылаю свои вещи одновременно во все места? Это же черт знает что

такое! Зачем ты завариваешь такую гадкую кашу? Я вчера приводил список вещей, сданных Алексею Максимовичу. Это:

1. Барабан (басня)
2. Война (Мышь и воробей. Сказки)
3. Разоренные воробьи (стихотв.)
4. Боги
5. Помощь } (басни Эзопа)
6. Дело хозяйское (басня)
7. Черт-заимодавец (басня-сказка) и
8. Конь и всадник — басня Эзопа, посланная вчера и посылаемая вторично сегодня.

Прошу тебя *тщательно* вести запись сдаваемым в «Современник» вещам (снимать для себя копии) и, как только тебе *точно* станет известно, что та или другая вещь, по той или иной причине не пошла, ты *немедленно* такую вещь, *аккуратно* ее переписав, отсылай в «Утро», а мне об этом *сообщай*. Тогда никакой неприятной путаницы не будет. В «Современник» я буду посылать только то, что мне покажется наиболее удачным.

Ради бога объясни Алексею Максимовичу, что *ты*, а не я, путаешь там безбожно, и чтобы Алексей Максимович не подумал об этом черт знает чего.

Я просил тебя не надоедать Алексею Максимовичу своими визитами: без нас у него дел куча. А ты еще будешь соваться к нему с вещами, которых я ему не сдавал, будешь извиняться: «они уже напечатаны». Алексей Максимович после этого плюнет и вернет тебе все рукописи. Разберитесь, мол, вперед, что у Вас куда послано, и не морочьте мне головы.

...Если еще раз напутаешь с рукописями, я ни одной вещи не стану высылать тебе, а уж буду как-нибудь сам».

\* \* \*

«Вот посылка — три басни, которые ты отошлешь закрытым письмом немедленно в «Утро». Пошлешь с вedomо Алексея Максимовича, то есть если он явно не может ни одну из этих вещей провести в «Современник».

\* \* \*

«Я чуть не подпрыгнул от удовольствия, узнав, что Владимир Дмитриевич взял из «Современного мира» статью обратно. Оч-чень хорошо. Правда ли это?

Прилагаю вырезку из газеты «Некрасов-издатель». Помнишь, как я говорил М., что «журнал — не лавочка». Она мне этого никогда не простит. И шут с ней. (Серафимович окрестил ее за взгляд: «з-змея!»)

А Владимиру Дмитриевичу скажи: у нас должен быть свой журнал. Мы молоды. Мы должны поработать».

\* \* \*

«С Н. И. неизбежно придется поговорить. Возможно, что его точка зрения им как-то обосновывается и он не лицемерит, ведя ту линию, которая мне так противна. Склоняюсь я к такому смягчению моего недовольства «Современным миром», прочтя в «Речи» письмо Алексинского, трактующее с великим пренебрежением настроение, сходное с моим. Если это искренно, с этим надо считаться, а не плевать один другому в физиономию.

Я разнервничался главным образом потому, что совершенно не допускал, чтобы искренно и серьезно можно было отстаивать ту точку зрения, на которую стал Н. И., нашедший не зазорным для себя выступать даже в «Русском слове». Но чем черт не шутит! И на старуху бывает проруха. Затуманились мозги у многих. Я не хочу сказать, что, например, у меня просветлели мозги, но я знаю твердо, что они, по меньшей мере, если не улучшились, то и не ухудшились и массовому помутнению не подверглись. Мало того, у меня есть достаточно оснований считать мое «староверство» — правильным. Мне изворачиваться впоследствии не придется, это как свят бог. А Н. И. и ему подобным не раз придется затылки чесать. Конечно — это ловкачи люди. Даже М. знает прием «спасающий». Они вывернутся. И представят даже дело в таком виде, что «они всегда держались обратного

мнения», но, видите ли... и пойдет путаница, эквилибристика словесная: недоказуемо, непоказуемо, и вразумительно удивительно!.. «Диалектики!»

\* \* \*

«Ты помнишь фельдшера нашего отряда Воскресенского? Ему было 19 лет, и мы его звали «Малюткой»... Вчера утром «Малютка» смертельно ранен шрапнелью. Ран — 3. В пах, грудь и живот. Последняя рана — самая опасная, и если «Малютка» не выживет, то именно от этой раны, так как возможно заражение брюшины. Я теперь с горечью вспоминаю полусуточный совет Алексея Максимовича — остаться без руки и т. д. Боже, не остаться бы здесь без головы... А вот если умно, содержательно прожить жизнь, я думаю, умирать не будет страшно: пожил, мол, сколько надо, и сделал, сколько мог.

...Одно «Утро» аккуратно радует меня ежедневно — приятно читать Владимира Дмитриевича: как будто вижу его перед собой с хитрыми и добрыми глазами; передай ему привет. Пиши мне по другому адресу, не упрямясь, раз по моему адресу

письма идут кружным путем, а которые пришли — все были вскрыты — не военной цензурой, заметь, а известным специальным учреждением».

\* \* \*

«Немного я освоился с новой обстановкой и попробовал было засесть за писание. Ничего, ничего не выходит! И это может быть и после войны. Что я тогда? Инвалид? Писатель отцветший, не успевши расцвести? Такие примеры бывали: блеснул талант и погас. Вспыхнул я с рабочим подъемом и исчез вместе с ним. Возродиться смогу, быть может, при возрождении того класса, за который боролся пером. А когда это будет?»

\* \* \*

Последний отрывок особенно ценен исчерпывающей ясностью понимания своей неразрывной связи с рабочим движением, характерной для бойцов ленинской гвардии, творцов большевистской печати пред революционных лет.

*Публикация Д. Е. Придворова  
и И. Д. Бразуль.*

## Демьян Бедный

### В ЭТОТ ДЕНЬ

*(6 июня 1929 г. исполнилось 130 лет со дня рождения поэта А. С. Пушкина)*

Это число увековечено,  
В календарях всех отмечено.  
День рождения  
Гения.  
В этот день появился на свет  
Величайший русский поэт...

\* \* \*

В каком почете, однако же, лира:  
Англии нет без Шекспира  
Без Гёте — Германии,



## ИЗ МОЕЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Помнится, это было в июле 1915 года. Я был на фронте в гвардейском корпусе. По-видимому, охранным отделением уже было в штаб корпуса сообщено, что я, приезжая с фронта, общался с большевиками и Максимом Горьким, что у меня был обыск — в мое отсутствие — и что я, узнав об этом, поспешил уехать на фронт. Это было заметно по изменившемуся ко мне отношению штабных гвардейских офицеров и по провокационным приставаниям ко мне моего «начальства» доктора Трилева, исключительно гнусного типа, прозванного солдатами за подхалимство корпусному и вранье «Трилькой-Брилькой». Вспоминаю такую сцену. Группа офицеров. Трилька пытается меня «разыгрывать»:

— Опять у вас ворох газет. Почему у вас такая страсть к газетам?

— Интересно знать, что пишут!  
— Да вы сами не писачка ли?  
— В душе.  
— Может, вы с другими писачками знакомы?

— Не прочь бы познакомиться.  
— Вот когда познакомитесь, скажите ему, что, мол, надворный советник, доктор Владимир Тимофеевич Трилев желает осчастливить его и познакомиться с ним. Вы приведете его ко мне.

— Зачем это?

— Он представится: «Максим Горький». А я ему: «Пш-ш-шел вон, босяк».

— Ф-фить! — подсказал кто-то из офицеров. Общее ржанье.

Через две или три недели я благополучно улепетнул с фронта.

«Трилька-Брилька», коль жив он, поди-ко  
В эти дни чертыхается дико  
Перед типом, подобным ему:  
«Ни чер-р-р-р-та не пойму!  
Вы читали про Горького? Встречи,  
Дурацкие речи...  
Вот подумаешь, а? Ге-не-ра-а-ал!!  
Чор-р-рт их всех бы, с их Горьким,  
побрал!!»

Графы Строгановы, их сестрицы Идалии,  
«Трильки-Брильки»!.. Не эти каналии,  
Так иные, каналиям этим подобные,  
Еще не подохшие, мрачные, злобные,  
Изнывающие по гнилой старине,  
Погубившей, отдавшей на поношение  
Величайшее свое украшение,  
Гений Пушкина, — пусть «насладятся»

вполне,

Видя нынче, какое в пролетарской стране  
К поэтам своим отношение!  
Как в стране рабоче-крестьянских советов  
«Всяк сущий в ней язык», —  
Финн,  
Славянин,  
Тунгус и калмык, —

Почтив день рожденья поэта поэтов,  
Любовно приветствуют пролетарских  
певцов,  
Соратников своих и бойцов,  
Чей жизненный подвиг тем краше,  
Чем кровней с ним ленинский спаян  
завет,  
В этот день — всем им братский  
привет!  
Алексею Максимычу — наше!!

## Виктор Шкловский

### В ДОМЕ НА ГЕНДРИКОВОМ ПЕРЕУЛКЕ

Квартира Бриков и Владимира Маяковского занимала четвертую часть того домика, в котором сейчас находится музей.

В этой квартире было четыре маленьких комнаты.

Комната Маяковского была угловая: одну стену во всю длину занимал диван, на котором Маяковский мог как раз улечься. Был еще шкаф, стол и стул и два окна в разные стороны садика.

Рядом столовая с маленьким буфетом между двумя окнами, столом и мягкими табуретами.

Было по-тогдашнему даже не тесно.

Однажды утром в столовой собрались Асеев, Кирсанов, Кассиль и я — мы пили чай. Дверь в комнату Маяковского открыта; Владимир Владимирович бреется, стоя перед шкафом: на шкафу маленькое зеркальце.

Молодой, узколицый Лев Кассиль в разговоре сказал что-то несогласное с другими и удачное.

Я не помню, что было сказано, вероятно, что-то такое, что нарушало тогдашнюю литературную субординацию.

Семен Кирсанов, тоже очень молодой, но уже давно писавший, мрачно отметил:

Одного Кассиля ум  
Заменял консилиум...

Николай Асеев без паузы принял стих:

Мы пахали, мы косили,  
Мы нахалы, мы Кассиля...

Из соседней комнаты Маяковский немедленно заступился:

Сильного не осия,  
Навалились на Кассиля...

Вспомнил потому, что захотел рассказать о Маяковском справедливо и по-своему ласково и о том, как у поэтов были мобилизованы слова и стихи были пластичны в руках.

Только не думайте, что мы часто ссорились — мы были дружны.

# Лев Никулин

## ИСТОРИЯ ОДНОЙ РИФМЫ

Эта история имеет свою предысторию.

Летом 1913 года на Приморском бульваре в Севастополе можно было увидеть рано располневшего бритого мужчину в пенсне, одетого несколько крикливо, и вокруг свиту из актеров и актрис летнего театра. Это был редактор журнала «Сатирикон» Аркадий Тимофеевич Аверченко, юморист в апогее своей славы. Аверченко снисходительно острил, острил экспромтом, однако одну из его острот мы потом прочитали в «Сатириконе». Но дело не в этом. В то время я считал себя поэтом и печатался в иллюстрированных журналах, и нечего скрывать, мне было лестно познакомиться с редактором «Сатирикона». И вот в случайной беседе, мимоходом, знаменитый юморист сказал, что он обещал петербургским поэтам приз — бутылку шампанского, если кто-нибудь из них найдет рифму к его фамилии — Аверченко.

— И что же? Нашли рифму?

— Нет. Не нашли. Мне пришлось выпить эту бутылку в одиночестве.

Таков пролог этой истории.

Прошло два года. Была война, первая мировая война. Я продолжал сочинять стихи, писал под псевдонимом «Анжелика Сафьянова», это были пародии на эстетские, стилизованные стихи, очень модные в довоенные годы. Из сатириконцев я знал Василия Князева, Петра Потемкина, но меня тянуло к футуристам, я был в приятельских отношениях с Василием Каменским, Игорем Северянином и Владимиром Владимировичем Маяковским. Северянин даже посвятил мне одно стихотворение, и это мне очень льстило. В том, 1915 году он ушел от эгофутуристов и собирался в гастрольное турне с Маяковским, Бурлюком и Каменским. Была и такая страница в жизни Северянина.

С Владимиром Владимировичем я всегда был в добрых отношениях, он считал меня хорошим знакомым, а это уже много. Владимиру Владимировичу минуло 22 года, помните: «иду красивый, двадцатидвухлетний». Меня он потрясал элегантным пальто в талию, с бархатным воротником, цилиндром, тростью и кремовыми замшевыми перчатками — это был верх щегольства, и мне кажется, Маяковскому подражал Есенин, когда после поездки с Дункан в Америку появился в Москве во фраке и цилиндре и полагающейся при фраке накидке-пелерине на шелку. Все это, конечно, дань времени, озорство для того, чтобы эпатировать буржуазию.

Но вернемся к истории одной рифмы.

Уж не помню, где мы встретились с Владимиром Владимировичем, как будто в кафе на Тверском бульваре, оно называлось просто «Кафе грека», хозяином его был грек, кажется Яни. И вот, попивая кофе с миндальными пирожными, которыми славилось это кафе, я, зная наизусть стихи Маяковского, печатавшиеся в «Сатириконе» у Аверченко, вспомнил разговор на Приморском бульваре в Севастополе и спросил, пробовал ли Маяковский найти рифму на «Аверченко».

— Не только пробовал, но нашел.

И Владимир Владимирович прочел вслух:

Крючок приверчен ко  
двери,  
Дверь заперта.  
Чудесно.  
Твори, Аверченко.  
Твори.  
Бумага бессловесна.

Я цитирую эти стихи на память, так они мне запомнились сорок с лишним лет назад. Тут и мне захотелось похвастаться, и я сказал, что тоже искал и как будто нашел рифму на «Аверченко».

— Читайте!

И я прочел свой стишок:

Строчит Аркадий новый том,  
Щенок играет под столом,  
Ты поди, поди уверь щенка,  
Что мешает он Аверченко.

Маяковский усмехнулся и сказал:

— Так себе... Лишняя буква затесалась.

— Какая? Вероятно, «ща»?

— Нет, не «ща»... Мягкий знак затесался: «уверь»...

Я решил, что это придирка, но Владимир Владимирович добавил:

— Однако за ваш кофе и пирожное я плачу.

Я спросил, получил ли он бутылку шампанского с Аверченко.

— Плохо вы его знаете... Обещал для шика.

Вот, собственно, вся история одной рифмы. Но у Маяковского в его поэтическом хозяйстве ничего не пропадало. Так же

как он надпись на подаренной мне книге срифмовал: «...как говорили с Никулиным, Никулин, не выпить коньяку ли нам?» — и потом повторил эту же рифму в стихотворении «Соберитесь и поговоритечка», так он пристроил и рифму на «Аверченко» в стихотворение «Пустяк у Оки»:

...месяц улыбается и заверчен, как  
будто в небе строчка  
из Аверченко...

Среди многих людей, которых я встречал на протяжении своей жизни, один из самых удивительных и неповторимых образов — образ Владимира Владимировича Маяковского. И все, что относится к нашим довольно частым встречам, я сохраняю в памяти, в том числе и историю одной рифмы.

Думаю, что мало кто знает эту историю и она имеет некоторое право появиться на страницах сборника «День поэзии».

## Сергей Кошечкин

### ЕСЕНИН СЛУШАЕТ ЧАСТУШКУ...

— Знаете ли вы, что больше всего любил Есенин из народной поэзии? — спросил как-то в разговоре Сергей Митрофанович Городецкий. — Частушку!

Эти слова первого наставника Есенина вспомнились мне, когда я разбирал свою картотеку. Их напомнила выписка из мемуарных заметок Владимира Чернявского. С Есениным он познакомился весной 1915 года в Петрограде.

«Частушки... — пишет Чернявский о Есенине того времени, — были его гордостью не меньше, чем стихи; он говорил, что набрал их до 4000 и что Городецкий непременно обещал устроить их в печать. Многие частушки были уже на рекрут-

ские темы; с ними чередовались рязанские «страдания»...

Перечитываю строчки есенинского письма, посланного одному петроградскому знакомому летом того же 1915 года: «Тут у меня очень много записано сказок и песен». Вполне вероятно, под «песнями» скрываются частушки. Во многих местах, в том числе и в Рязанской губернии, их нередко так и называли.

А вот и сами частушки. В моей картотеке их более сотни. В основном это частушки, опубликованные пятью подборками в московской газете «Голос трудового крестьянства» — органе Крестьянской секции ВЦИКа Советов. Они помещены в

номерах от 19, 29 мая и 2, 8 июня 1918 года. Ни в одно издание Есенина частушки не включались.

Под четырьмя подборками («Девичьи (полюбовные)», «Прибаски», «Страдания», «Смешанные») в газете обозначено: «Собрал С. Есенин».

Где и когда поэт собирал их?

Судя по характеру частушек, свидетельствам современников и самого поэта, Есенин записал главным образом то, что слышал в родных местах. Константиново — село песенное. Ни одно молодежное гулянье не проходило там, как, впрочем, в любой русской деревне, без гармонии и частушек.

В 1927 году сестры поэта Екатерина Александровна и Александра Александровна выпустили сборник «Частушки родины Есенина — села Константинова». Некоторые произведения, вошедшие в книжку, близки к тем, которые собрал Есенин.

Возможно, ряд четверостиший пришел в тетради Есенина из городского фольклора: частушки были популярны и в рабочей среде. Произведения, записанные и, может быть, в отдельных случаях обработанные поэтом, созданы до революции.

О чем же поется в частушках, которые привлекли внимание Есенина?

...Шла первая мировая война. Тысячи «мирных пахарей», «добрых молодцев» уходили на фронт. Их провожал плач матерей и жен: семьи оставались без кормильцев. В поэме «Русь», стихотворениях «Узоры», «Молитва матери» Есенин с болью поведал о народном горе, о печали русской деревни. И его чувствам, его стихам были созвучны частушки о судьбе крестьянских парней на войне:

Погуляйте, ратнички,  
Вам последние празднички.  
Лошади запряжены,  
Сундуки улажены.

Не от зябелы цветочки  
В поле приувянули.  
Девятнадцати годочков  
На войну отправили.

Можно представить, с каким волнением Есенин заносил в тетрадь и такое удивительно поэтическое четверостишие:

Ты не гладь мой кудерки,  
Золоченый гребешок.  
За Карпатскими горами  
Их разгладил ветерок.

Поэт чутко вслушивается в частушки о душевной красоте русской девушки, ласковой и нежной с любимым, отзывчивой на доброе чувство:

— Дорогой, куда пошел?  
— Дорогая, по воду.  
— Дорогой, не простудись  
По такому холоду.

А это — о нелюбых девичьему сердцу:

Полоскала я платочек,  
Полоскала — вешала.  
Не любила я милого,  
Лишь словами тешила.

Не тобой дорога мята,  
Не тебе по ней ходить.  
Не тобою я занята,  
Не тебе меня любить.

Дай бог снежку  
Завалить стёжку,  
Чтобы милый не ходил  
К моему окошку.

Парни «на растянутый лад, под ливенку» поют прибаски о своих «симпатиях»:

Я свою симпатию  
Узнаю по платию.  
Как белая платия,  
Так моя симпатия.

Любопытно четверостишие, связанное с уходом крестьян в город на заработки, с «отхожим промыслом»:

Наши дома работают,  
А мы в Питере живем.  
Дома денег ожидают,  
Мы в опорочках придем.

Записал Есенин и совершенно изумительные по мастерству девичьи «прибаски» о мельнике:

Мельник, мельник,  
Завёл меня в ельник.  
Меня мамка венником:  
— Не ходи по мельникам.

Деревенская избушка  
Вторая избушка  
Горя и заботы,  
Часто плачет вьюга  
У твоих ворот.  
Часто раздранная  
за твоей стеной:  
декабрист наболдуивает.  
Ночь низверженье музой.  
Все поют про горе,  
про пьянство и сны,  
про нужду муку  
и голодный год.  
Ночь весною кончена  
во створках твоих  
католической горе  
Замурованной ую.

Эти юношеские стихи Сергея Есенина еще никогда не публиковались. Автограф этот, найденный недавно, прислал нам сотрудник дома-музея Есенина в селе Константиново В. Астахов.

Молодой мельник  
Завел меня в ельник.  
Я думала, середа,  
Ныне понеделник!

Любил Есенин и частушки-«страдания». Рассказывают, что однажды поэт пел их в дружеской компании. Слушателям частушки не понравились. Есенин стал горячо защищать «страдания», говорил, что особенно хорошо звучат они под тальянку. Среди есенинских записей «страдания» занимают немалое место. Вот некоторые из них:

Страдатель мой,  
Страдай со мной.  
Надоело  
Страдать одной.

Милый бросил,  
А я рада:  
Все равно  
Расстаться надо.

Возьму карты —  
Нет валега.  
Мил уехал  
На все лето.

В монастырь  
Хотел спастись,  
Жалко с девками  
Расстаться.

Одна из публикаций, помещенных в «Голосе трудового крестьянства», называется так: «Частушки (о поэтах)». В конце подборки напечатано: «Записал С. Есенин».

Что же «записал» поэт?

Я сидела на песке  
У моста высокова.  
Нету лучше из стихов  
Александра Блокова.

Сделала свистулечку  
Из ореха грецкого.  
Веселее нет и звонче  
Песен Городецкого.

Шел с Орехова туман,  
Теперь идет из Зуева.  
Я люблю стихи в лаптях  
Миколая Клюева...

Это, конечно, не записи народных произведений, а частушки, сочиненные самим

Есениным. Современники поэта вспоминают, что такие четверостишия он частенько пел в дружеском кругу.

Тот же Владимир Чернявский вспоминает об исполнении Есениным рязанских «страданий»: «Пел он по-простецки, с деревенским однообразием, как поет у околицы любой парень, но иногда, дойдя до яркого образа, внезапно подчеркивал и выделял его с любовью, уже как поэт».

...Я перебираю картотеку, вчитываюсь в небольшие выписки из автобиографий поэта.

«Стихи начал писать, подражая частушкам», — говорится в одной из них.

В другой подчеркивается: «Влияние на мое творчество в самом начале имели деревенские частушки».

С самого начала и до конца, во все периоды творчества Есенина народная песня, частушка дружила с его музыкой. Как Блоку и Маяковскому, частушка помогала Есенину находить свои образы и ритмы, несущие дыхание сурового и бурного времени. Вспомним его ранние стихи, первые послереволюционные поэмы, «Песнь о великом походе», созданную Есениным не задолго до гибели...

Сентябрьским днем 1965 года я возвращался в Москву из загородной поездки. Случилось так, что мне удалось сесть в экскурсионный автобус. В машине были сельские парни и девушки. Веселый говор, шутки, смех... Сквозь шум я вдруг услышал имя Есенина: в конце автобуса три девушки спорили, когда проводить юбилейный вечер, — приближалось семидесятилетие со дня рождения поэта. Один из парней завел песню, перебивая ее, девушки грянули частушки. Многие из припевок мне пришлось по душе, но одна — особенно:

Сердце бьется, не унять,  
Люблю Есенина читать.  
Слово теплое его  
Лежит у сердца моего.

Так сказала частушка о народной любви к Есенину. Сказала, как всегда, просто и поэтично.

# Андрей Платонов

## АННА АХМАТОВА

(„Из шести книг“. Стихотворения.  
„Советский писатель“, 1940 г.)

Голос этого поэта долго не был слышен, хотя поэт не прерывал своей деятельности: в сборнике помещены стихи, подписанные последними годами. Мы не знаем причины такого обстоятельства, но знаем, что оправдать это обстоятельство нельзя, потому что Анна Ахматова поэт высокого дара, потому что она создает стихотворения, многие из которых могут быть определены как поэтические шедевры, и задерживать или затруднять опубликование ее творчества нельзя.

Первое стихотворение, помещенное в книге «Ива», написано в 1940 году.

...И не был мил мне голос человека,  
А голос ветра был понятен мне.  
Я лопухи любила и крапиву,  
Но больше всех серебряную иву.  
И, благодарная, она жила  
Со мной всю жизнь...  
...И, странно! — я ее пережила.  
Там пень торчит, чужими голосами  
Другие ивы что-то говорят  
Под нашими, под теми небесами.  
И я молчу... Как будто умер брат.

Привязанность человека к людям обычно приходит позже его детства. В своем детстве человек любит мать, но эта его любовь не то же самое, что гуманизм взрослого человека; в детстве человек любит «неодушевленные» предметы — лопухи, иву или что другое, но любит их не скопом, не пантеистически, а индивидуально: другие ивы не заменили поэту одну любимую, умершую иву, и смерть этой одной-единственной ивы столь же грустное событие, как гибель брата. Эта естественная особенность детской души изображена поэтом с предельной точностью; изображена

и особенность самого поэта — обретая опыт зрелости, не утратить в себе детства и не забыть своих детских привязанностей. Истинный поэт, как мудрец, хранит в себе опыт всей своей жизни — от самых первых впечатлений до последнего момента существования — и пользуется этим опытом.

В стихотворении «Муза» творческая способность человека сравнивается с другими ценностями жизни в пользу первой.

...Что почести, что юность, что свобода  
Пред милой гостью с дудочкой в руке.

И это верно. Лишь творческая способность, или, говоря более прозаически, его труд, его работа, его жертвенная борьба, обеспечивает ему и славу и свободу. Но слава и свобода есть только результат творческой способности человека — и потому ничто не выше этой способности, с кратким именем Муза.

И вот вошла. Откинув покрывало,  
Внимательно взглянула на меня.  
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала  
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

«Милая гостья» пером поэта вочеловечена. В стихотворении почти физически слышно дыхание Музы, когда она просто-душно произносит свой ответ поэту: «Я». И эта же Муза, когда вошла, «внимательно взглянула на меня», — ты ли, дескать, та самая, которая мне нужна; некогда она была в гостях и у Данта; тогда она не обманулась в своем выборе и тут не должна обмануться.

В сборнике есть и другое стихотворение, посвященное Музе.

Муза ушла по дороге,  
Осенней, узкой, крутой,  
И были смуглые ноги  
Обрызганы крупной росой.

Я, глядя ей вслед, молчала,  
Я любила ее одну,  
А в небе заря стояла,  
Как ворота в ее страну.

Личное душевное и внешнее всемирное неустройство мешает поэту жить с Музой неразлучно. При других личных качествах поэта, при другом отношении к внешнему миру, — таком, например, какое было у Маяковского, — Муза не является лишь гостьей поэта, она может быть его постоянной сотрудницей.

А. Ахматова знает, конечно, и сама разницу своей поэтической работы и работы Маяковского. В стихотворении «Маяковский в 1913 году» она пишет:

...Я сегодня вправе  
Вспомнить день тех отдаленных лет.  
Как в стихах твоих крепчали звуки,  
Новые роились голоса...  
Не ленились молодые руки.  
Грозные ты возводил леса.

И еще неслышанное имя  
Молнией влетело в душный зал

Чтобы ныне, всей страной хранимо,  
Завучать, как боевой сигнал.

Противоречие между творческой необходимостью и личной человеческой судьбой редко кто не испытал из поэтов. Испытали его и Пушкин и Данте, испытал Маяковский и трагически переживает Ахматова.

Муза сестра заглянула в лицо,  
Взгляд ее ясен и ярок,  
И отняла золотое кольцо,  
Первый весенний подарок.

Муза! Ты видишь, как счастливы все —  
Девушки, женщины, вдовы...

...Должен на этой земле испытать  
Каждый любовную пытку.  
Жгу до зари на окошке свечу  
И ни о ком не тоскую,  
Но не хочу, не хочу, не хочу  
Знать, как целуют другую.

Человеческое подавляет поэтическое. Но не мнимое ли это противоречие — между творчеством и личной судьбой? Видимо, не мнимое, если это противоречие не всегда преодолевали даже великие поэты. Маяковский делал наиболее отважные попытки преодолеть поэтическими средствами недостатки человеческой, интимной судьбы. Вероятно, для решения этой драматической ситуации недостаточно быть одаренным поэтом, — сколь бы ни был велик талант поэта, решение проблемы заключено в историческом, общественном прогрессе, когда новый мир будет устроен более во вкусе Музы или когда, что то же самое, все человеческое будет превращено в поэтическое — и наоборот.

Иногда в творчестве Ахматовой человеческое сжимается до размеров частного, женского случая, и тогда поэзии в ее стихах не существует. Например:

Муж хлестал меня узорчатым,  
Едвое сложенным ремнем.

Как мне скрыть вас, стоны звонкие!  
В сердце темный, душный хмель...

Трудно представить, чтобы две последние строки написала рука Ахматовой, — настолько они плохие. Иначе кто же тогда написал следующий поэтический шедевр:

Как белый камень в глубине колодца,  
Лежит во мне одно воспоминанье.  
Я не могу и не хочу бороться:  
Оно веселье и оно — страданье.

Я ведаю, что боги превращали  
Людей в предметы, не убив сознанья.  
Чтоб вечно жили дивные печали,  
Ты превращен в мое воспоминанье.

Литературная критика всегда немного кощунственное дело: она желает все поэтическое истолковать прозаически, вдохновенное — понять, чужой дар — использовать для обычной общей жизни. В отношении многих произведений Ахматовой мы не будем применять способа их дополнительного рационального истолкования. Вещи, в которых есть признаки совершенства, не нуждаются в помощи, потому что

совершенство всегда могущественно само по себе.

Но во многих случаях критика, как суждение, нужна — не для того, чтобы осудить или похвалить, но для того, чтобы глубже понять поэта. Выше мы приводили строки, в которых поэзия оставила автора. Вот несколько строк других, любовных стихов, но они уже совсем другого качества, и мы поймем, почему они прекрасны.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка  
Все, что было. Уйдешь, я умру».  
Улыбнулся спокойно и жутко  
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Вопль любящей женщины заглушается пошлым бесчеловечием любимого: убивая, он заботится о ее здоровье: «не стой на ветру». Это образец того, как интимно человеческое, обычное в сущности, превращается в факт трагической поэзии. В лице персонажа «любимого» в стихотворении присутствует распространенный, «мировой» житель, столь часто испытующий сердце женщины своей «мужественной» беспощадностью, сохраняя при этом вежливую рассудочность.

Мы не ставили здесь себе задачи более или менее подробного суждения о творчестве Ахматовой, поэтому ограничимся лишь тем, что мы считаем самым существенным.

Необходимо прежде всего преодолеть заблуждение. Некоторые наши современники — литераторы и читатели — считают, что Ахматова несовременна, что она архаична по тематике, что она слишком примитивна и прочее — и что поэтому, стало быть, ее значение, как поэта, невелико, что она не может иметь значения для революционных, советских поколений новых людей.

Это неправильное мнение, это заблуждение. Основная задача Октябрьской революции состояла и состоит в воспитании высшего типа человека на земле — по сравнению с человеком предшествовавших эпох. На это направлены все усилия советской системы — материальные и духовные, в том числе и советская литература.

Подойдем к вопросу прямо и утилитарно. Воздействуют ли благотворно на душу советского читателя только те произведения искусства, в которых изображается конкретная современность, или благотворно и глубоко могут воздействовать и другие произведения искусства, хотя бы они современности не касались вовсе или касались ее отвлеченно и косвенно?

Вот ответ. Произведение, написанное высокоодаренным поэтом на большую тему современности, будет воздействовать на читателя гораздо больше, чем произведение, написанное столь же высококачественным поэтом на тему несовременную. Это так, но это академическое решение вопроса. Практически надо рассудить таким образом: оказывают ли стихи Ахматовой этическое и эстетическое влияние на человека или нет? Или стихи поэта разрушают, деморализуют человека?

Ответ ясен. Не всякий поэт, пишущий на современные темы, может сравниться с Ахматовой по силе ее стихов, облагораживающих натуру человека, как не всякий верующий, непрерывно бормочущий молитвы, есть более святой, чем безмолвный. Ахматова способна из личного житейского опыта создавать музыку поэзии, важную для многих; некоторые же другие поэты способны великую поэтическую действительность трактовать как дидактическую прозу, в которой, несмотря на сильные звуки, нет обольщения современным миром и образ его лишь знаком и неизбежен, но не прекрасен.

Вообще же говоря, самая современная поэзия та, которая наиболее глубоким образом действует на сердце и сознание современного человека, совершенствуя это существо в смысле исторического развития, а не та, которая ищет своей силы в современных темах, но не в состоянии превратить эти темы в поэзию; современники еще поймут усилия своих поэтов-сверстников, потому что для них сам изображаемый мир дорог и поэтичен (по многим причинам), но буду-

шие читатели могут такую поэзию не оценить.

Но понятно, конечно, что высший поэт — это тот, кто находит поэтическую форму для действительности в тот момент, когда действительность преобразуется, то есть поэт современных тем.

Однако не будем понимать современность вульгарно, — ведь и мы все, работая на будущее, питаемся не только современностью. Нас воспитывали Пушкин, Бальзак, Толстой, Щедрин, Гоголь, Гейне,

Моцарт, Бетховен и многие другие учителя и художники.

Ахматова сказала в своей книге:

О, есть неповторимые слова,  
Кто их сказал — истратил слишком много.  
Неистошима только синева  
Небесная...

Будем же ценить поэта Ахматову за неповторимость ее прекрасных слов, потому что она, произнося их, тратит слишком много для нас, и будем неистошима к ней в своей признательности.

## Станислав Лесневский

### ТРОСТНИК И ВРЕМЯ

«Счастливы, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» — вот достойный эпиграф к «Бегу времени» — самому полному собранию стихов и поэм Анны Андреевны Ахматовой, эпиграф к ее жизни, которая — теперь уже вся — перед нами. Вторая Тютчеву, Ахматова писала в автобиографии: «Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных». Она поистине жила «в дни великого совета, где высшей страсти отданы места...». Тем не менее трагический ее путь не был напрасным, и Ахматова, как сказала она сама, «щедро взыскана дивной судьбою...».

Да, родиться в 1889 году, в незапамятные времена, описанные у Толстого и Чехова,

— двадцати лет от роду изумить современников необычайным лирическим даром («Мы недоумевали, удивлялись, восторгались, спорили и, наконец, стали гордиться» — так рассказывает о признании Ахматовой Б. Эйхенбаум),

— быть свидетелем того, как «приблизился не календарный — Настоящий Двадцатый Век», но лишь глухо, пота-

енно слышать его приближение, томиться роковым предчувствием, что «до смешного близка развязка» (эти слова будут сказаны лишь через полвека!),

— бережно внимать тончайшим душевным движениям, которые в грозе и буре эпохи запросто можно было и не заметить, лелеять и беречь нюансы от неизбежного землетрясения, чтобы печально-надменно отстраниться от гула времени,

— отвернуться, да, отвернуться в тоске и непонимании от грозного лика Революции, но услышать все-таки кровный, жгучий глас Родины, не отпустившей свою певчую дочь за рубеж и спасшей ее от страшного несчастья вековать на чужбине,

— потом под отческим небом пережить в себе годы и годы нового, непривычного бытия — сохранить, приумножить, и высушить от слез, и закалить, и еще более прояснить песенный дар, слить его с жизнью отечества, чтобы в назначенный час исполнить долг Русского Поэта, воззвав к праведной борьбе,

— да, это уже 1941 год, а в феврале 1942 года создать шедевр патриотической

лирики «Мужество» («Помню, как в суровые дни 1942 года, рассказывая в Колонном зале Дома союзов о советской военной лирике, читал я, под аккомпанемент сирен воздушной тревоги, это стихотворение»), — вспоминает Алексей Сурков),

— восславить всенародную Победу, а вскоре испытать на себе хулу, но не сдаться, не сломиться (стихи сильнее силы!), работать, работать, чтобы в конце жизни обрести новое признание и, произнося новые, неслыханные слова, покинуть нас в начале весны 1966 года...

Как не вспомнить тут еще раз утверждение Александра Блока, что у поэта нет карьеры, у поэта есть судьба...

Ранние стихи Ахматовой — словно рисунок тонким пером. Немногими словами, как пересказ пьесы, они рисуют ситуацию. Это ряд необычайно сжатых — до лирической миниатюры — психологических новелл. Своего рода либретто, произносимое, именно произносимое — выкликаемое, вышепываемое или почти безмолвное.

При этом простота, даже незатейливость, даже, казалось бы, подчеркнутая незначительность сообщения — как будто автор, ни о ком не думая, ведет для себя дневник или слагает песенку, — весь этот интимный прозаизм контрастирует с мрачной, страшноватой двусмысленностью реплик, деталей, мимолетных наблюдений.

Общий колорит ранней лирики, какой бы частной она порой ни была, — трагический, вернее, предтрагический. «Вечер» — назвала Ахматова первую книгу стихов об утре своей жизни.

В стихотворении 1917 года, в котором Ахматова подтверждает свою верность России, явственно слышится уже наметившаяся ранее интонация — не интимно-разговорная, а клятвенная. «Витийства грозный дар» открылся в поэте при виде новых, нестерпимо-алых зорь. Теперь она все чаще говорит, словно вещает, но речь ее ясней, уверенней и строже.

Память становится одним из главных героев поэзии Ахматовой. Она то друг, то враг — память. «Надо память до конца убить», — решает поэт. Но как ни тяжка и ни зла память, она становится источником многих гуманнейших стихов Ахматовой. А в чем же добрая сила этих, порой жестоких, стихов? — В привязанности, в том, что поэт отдает и клянется отдавать всегда. Нет ничего человечнее потребности отдавать. И нет ничего страшнее, бесчеловечнее забытья, потери памяти, хотя это и облегчает существование...

Вариаций этого мотива у поздней Ахматовой множество, но они связаны с растущей, возродившейся — вновь и по-иному — привязанностью к дню настоящему. Ведь «невозможно жить без солнца телу и душе без песни». И снова — отныне и навсегда — любимо то, что казалось «промотанным наследством». Любим и благословен город, тыщекрат слышавший признания в любви поэта. Петербург, Петроград, Ленинград. «Город, горькой любовью любимый» (1914); «Тот город, мной любимый с детства» (1929); «Ты, гранитный, крошечный, милый» (война). Любима русская речь — родная, единственная, как твое бытие.

И поэт заговорил голосом всего народа: «Мы знаем, что ныне лежит на весах...» В военных стихах Ахматовой интимное звучит, как с веча, а вечевого колокол умеет быть доверительным.

Как это Ахматова умеет быть одновременно библейски важной и нежной? Чеканной надписью на памятнике и тем не менее зыбким зеркалом вод? Каким образом ее духовный аристократизм не мешает прорваться простонародно-бабьему песенному «голошению»?..

У поэта свои пути к истории, гражданственности, философии. Человек, который всю жизнь в ближайших отношениях с родным языком, не может не быть патриотом. Так клятва сберечь русское слово стала антифашистским произведением.

Мотив жестокой памяти возрос у Ахматовой до широких исторических раз-

думий. О, тут кругозор поэта любовной страсти возвысился до понимания исторических страстей. Кстати, эти страсти не столь далеки друг от друга. Миниатюрные ад и рай лирической новеллы грандиозны в масштабах человеческого сердца, а спроецированные в историю, они вырастают до трагического обобщения: «Двадцать четвертую драму Шекспира пишет время бесстрастной рукой...»

Мне кажется, что поклонники только ранних стихов Ахматовой сильно обедняют себя; Ахматова советской поры и особенно последних лет — художник той высшей зрелости, которая «есть в опыте больших поэтов...».

Главное объяснение того, что произошло с Ахматовой, — в ее стихах о поэзии, о творчестве. Собственно говоря, именно оно, неистребимое творчество, изнутри вело поэта нелегкими дорогами к человеку, времени, отечеству. А люди, время, отечество звали к творчеству. «Чтоб быть современнику ясным, весь настезь рас-

пахнут поэт». Оттого поэт и радуется, и страдает: он слишком распахнут, больше других людей. Но иначе не было бы поэзии.

Наиболее лаконичные портреты Ахматовой таковы: летящая линия Модильяни — этот рисунок, помещенный на обложке «Бега времени», можно увидеть в Ленинграде, в квартире, где жила Ахматова; и — слова Бориса Пастернака из его рецензии на сборник стихов Ахматовой. Вот эти слова: «Две кровопролитных войны, их следы чуть ли не на каждой странице, а между ними известный силуэт с гордо занесенной головой...»

Но «бег времени» нарисовал самый точный портрет поэта.

«Для старой, изнуренной болезнью женщины, Анны Андреевны Ахматовой, «бег времени» окончен, — пишет А. Твардовский в статье «Достоинство таланта». — Для ее чистой и внятной, живо откликающейся в людских сердцах поэзии — долгий путь вместе с «бегом времени».

## Николай Асеев

### ТИШИНА ВЫШИНЫ

Призрачно-зеленою стеною,—  
ох, какая ж это красота,—  
еле озаренная луною,  
древняя лесная простота.

Осени крепящая прохлада,  
неба неземная высота...  
И звезда, которой нас не надо,  
ох, какая ж это красота!

Весь насквозь пронизан тишиною  
звезд и елей; тишь и высота...  
Знаю, верю, будет жизнь иною,  
ох, какая ж это красота!

1955

## ЧУВСТВО МИРА

Чувствуешь ли, как тебя насквозь  
ток лучей космических струится?  
В этом чувстве — с миром ты не врозь;  
к этому и надобно стремиться.

С этим — ты соединен судьбой,  
связанный со всей вселенной насмерть!  
А не то, что — ты сам собой  
и что у тебя в порядке паспорт.

1954

\* \* \*

Если б был я настолько умен,  
чтобы выдумать  
тысячи тысяч  
самых лучших на свете имен,—  
то и то тебя ими  
не возвеличишь!

Если б был я сверхгений,  
а я — ты знаешь —  
не гений ничуть,—  
мне и то не хватало  
сравнений,  
чтобы выразить твою суть.

Говорят, что олень благороден.  
Но разве,  
снег копытом дробя,  
он в какой-нибудь мере пригоден,  
чтобы ему уподобить  
тебя?!

Олениха дитенка оближет  
в непролазной полярной ночи...  
Руки ж твои обоймут меня ближе,  
чем солнечные лучи.  
Ресницы твои  
мягче меха соболя,  
греют и веселят:

если мои переполнятся болью,—  
не поддаваться велят.  
Солнце, соболю, дитя оленье,  
что нежнее и жарче их?  
Разве что — падающий в твои колени  
мой стих.

1950

## ВСТРЕЧА СО СВЕТЛОВЫМ

*Недавно моя дочь, второклассница, которая «больше всего на свете» любит светловскую «Гренаду», сказала:*

*— Мама, я хочу фотографию Светлова.*

*Я сразу представила себе его острый профиль, живые глаза и жесты, которые делали Михаила Аркадьевича немного похожим на итальянца. Я подумала, что вряд ли даже самая хорошая фотография может передать безграничное обаяние этой необыкновенной личности, каждая встреча с которой обогащала, оставляла след в душе.*

*А недавно у меня состоялась еще одна встреча с поэтом Михаилом Светловым. По долгу службы я оказалась в воинской части, которая с боями прошла славный путь от Москвы до Берлина. В альбоме фронтовых лет, бережно хранимом среди архивных документов, рукой неизвестного летописца было начертано: «Песня о нашей танковой части. Слова однополчанина Михаила Светлова». Рядом, с групповой фотографии, пожелтевшей от времени, смотрит молодой Светлов, поэт, боевой путь которого связан с историей этой прославленной воинской части.*

*Не знаю, все ли слова точно записал неизвестный нам солдат или офицер, позаботившийся о том, чтобы увековечить песню. Во время войны ведь часто так бывало: от победы к победе слова немного изменялись, варьировались, народ вписывал новые. Но за подлинность вот этих светловских строк можно поручиться:*

Пожаром легла боевая пора  
на зелень украинских трав,  
когда, рассекая течение Днепра,  
мы шли сквозь огонь переправ.

Над нами знамена побед шелестят,  
пылают сражений огни.  
За нами бобруйские ночи горят  
и жаркие брестские дни.

Мы шли по знаку боевой тревоги,  
мы не давали отдыха врагу,  
и до границ, до вражеской берлоги  
мы разогнули Курскую дугу.

*Офицеры Зыкин, Клишин, Шаронов, которые сами воевали, были награждены орденами, говорили мне, что в беседах с солдатами сорок пятого года рождения, говоря о 20-летию нашей великой победы, они непременно вспоминают об этой песне. Слово Михаила Светлова у них на вооружении. И надо сказать, по-прежнему, как и в военные годы, проникновенные строки эти всеяют гордость в сердце.*

*Григорьева Н. Г.*

# Б. Брайнина

## ДОСТОИНСТВО И ЧЕСТЬ ЛИТЕРАТОРА

...Помню одну из бесед с Самуилом Яковлевичем Маршаком в начале 1960 года, в связи с выходом двухтомника автобиографий советских писателей. Разговор происходил в квартире Маршака в яркое морозное утро. Собственно, говорил Самуил Яковлевич, создавая вокруг себя атмосферу полнейшего дружелюбия и удивительной ясности, я же увлеченно слушала. Негромко, без единого жеста даже в самых патетических эпизодах, как-то особенно доверительно поглядывая на собеседника, Маршак рассказывал о себе — о своем с внешней стороны столь победоносно-блестящем, но внутренне очень трудном литературном пути, трудном прежде всего тем, что не было меры самоотдачи, требовательности его к самому себе.

Он говорил о том, что лирико-героическое и смешное всегда, с раннего детства, действовали на него особенно сильно; и до сих пор лирика и сатира — его главное оружие. Он настаивал, что сатирик должен быть горячим лириком, что сатира без этого бесплодна.

Потом он пожаловался, что некоторые книги фабрикуются «холодным способом»,

то есть без огня, без сердца, и это страшное бедствие для литературы.

На вопрос, что его больше всего привлекает в поэзии, он ответил:

— Музыкальность. Если поэт не музыкант, он не поэт, а музыкальность появляется лишь тогда, когда в сердце поэта пылает огонь чувств...

Потом разговор перешел к сборникам автобиографий.

По словам Самуила Яковлевича, во многих автобиографиях раскрывается истинно человеческое в подвижническом труде писателя.

— Самое главное, — заметил он, — это достоинство и честь литератора, его непреклонность. то есть уверенность в торжестве правды.

В конце беседы он взволнованно, почти шепотом, прочитал по рукописи переведенные им строки из Бёрнса (эти строки из «Честной бедности» спустя несколько лет процитировал Константин Паустовский в своем кратком некрологе Маршаку):

Настанет день, и час пробьет,  
Когда уму и чести  
На всей земле придет черед  
Стоять на первом месте.

# Константин Симонов

## О НАЗЫМЕ ХИКМЕТЕ

Биография человека, которого мы с вами вспоминаем сегодня, обладает величественной простотой. Родился в начале нашего века в Турции и умер в начале шестидесятых годов нашего века в Москве. Из шестидесяти лет своей жизни больше сорока лет был поэтом и почти столько же был коммунистом. Полтора десятка лет просидел в турецкой тюрьме. Первую книгу стихов напечатал на турецком языке в Советском Союзе — это еще до тюрем, тюрьмы были потом. А в пятьдесят — после тюрем — бежал на лодке через Черное море в Советский Союз. В последние годы перед смертью объехал полмира, борясь за мир. Ненавидел фашизм, верил в торжество коммунизма. Любил свою Турцию. Любил Россию Ленина. Умер внезапно, быть может даже не успев подумать о смерти и оставив после себя неумирающие книги.

Люди, знающие турецкий язык, на котором он писал свои стихи, говорят, что он был великим поэтом. Люди, не знающие турецкого языка и читавшие его стихи только в переводах на другие языки мира, говорят то же самое.

Его биография от начала и до конца рассказана в его стихах гораздо лучше, чем можем ее рассказать мы, люди, знавшие его. Его биография рассказана также и в его прозе, и в его пьесах, но в его стихах она рассказана несравненно прекраснее, потому что как прозаик он был талантлив, как драматург — блестящ, а как поэт — велик.

В разных странах мира выходили и выходят антологии его поэзии и драматургии. В Советском Союзе готовится к изданию шеститомное собрание его сочинений на русском языке. И у меня есть предчувствие, что не за горами время, когда полное собрание сочинений одного из вели-

чайших поэтов двадцатого века выйдет и на его родном языке, в стране, где он родился и народ которой он гордо, нежно и преданно любил до последнего дня своей жизни.

К антологиям его пьес и стихов уже написано немало предисловий и послесловий, в которых подробно повествуется о его жизненном и о его творческом пути. О том же самом уже написаны и изданы диссертации и книги, и, конечно, они будут писаться и издаваться еще и еще, и было бы странно, если бы это было иначе. Но я сейчас не готов к тому, чтобы писать еще одну статью о творчестве Назыма Хикмета. Я просто хочу вспомнить, каким он был, и объяснить, почему я люблю его стихи.

Он был человеком высоким, красивым и сильным, рыжеволосым, с голубыми глазами, с узким ястребиным лицом. У него была легкая походка и быстрое рукопожатие. Он любил говорить без предисловий, переходя прямо к делу (так это было у него и в стихах). Он умел сердиться сквозь улыбку и улыбаться сквозь гнев (и это тоже было у него и в стихах). Он любил чувствовать себя как дома, когда приходил или приезжая к людям, и любил, чтобы люди, которые приходили или приезжали к нему, тоже чувствовали себя у него как дома — сразу, без предисловий. Он любил встать к огню сам и приготовить своими руками еду для друзей и любил, когда друзья то же самое делали для него.

Он любил запах хлеба, и запах мяса, и запах вина.

Он любил все это легко, мимоходом, одновременно и придавая и не придавая этому значения. И он терпеть не мог запаха сытости и запаха благополучия, как только они становились главными запахами в чем-нибудь доме. Но больше всего

он ненавидел запах национализма. Как только он чувствовал в чьих-то словах малейший признак этого душка, его ноздри начинали хищно подрагивать, и он бросался в бой, еще не перестав улыбаться. При нем нельзя было сказать плохо ни о турках, ни об армянах, ни о французах, ни о русских, ни о евреях — ни о ком.

Он был турком и безмерно любил свой народ, но при нем нельзя было наступить на ногу ни одной нации.

Он был убежденным коммунистом, но никогда не чванился этим в спорах с инакомыслящими — пожалуй, именно в силу своего глубокого убеждения, что коммунизм в конце концов это будущее всего человечества.

Он любил всех детей, говорящих на всех языках, и все города, построенные, и всю землю, вспаханную трудовыми руками человечества.

Он любил вслушиваться в стихи, произносимые на разных языках, и по выражению его подпертого ладонью, внимательно, с полузакрытыми глазами, слушавшего лица было видно и то, как ему хочется понять непонятное и как ему хочется, чтобы это непонятное было прекрасным.

Он был яростным спорщиком. Он спорил всегда и со всем, с чем он был не согласен. Он был готов спорить с любым человеком, потому что он никогда и ни на одного человека не смотрел свысока, никогда не считал, что тот или этот человек не стоит того, чтобы он, Хикмет, заводил с ним спор. Каждый человек был для него таким же человеком, как он сам. Он был готов любить каждого и сердиться на каждого.

Я никогда не видел у него скучающего выражения лица. Ему были интересны все люди, каждый по-своему. И даже когда человек говорил, по его мнению, очень скучно, Хикмет смотрел на этого человека с интересом:

— Смотрите, как скучно он говорит!

Ему было интересно, почему этот человек говорит так скучно. Откуда у этого человека появилась такая способность?

Обращаясь к людям, он чаще всего говорил: «Слушай, брат». Это, очевид-

но, трудно перевести, но на его русском языке с чудовищным турецким акцентом эти слова звучали просто великолепно. «Слушай, брат», — говорил он, обращаясь к человеку, которого знал сорок лет, с первого своего приезда в Советский Союз. «Слушай, брат», — говорил он студенту-филологу, впервые пришедшему к нему в дом. «Слушай, брат», — высунувшись из машины, обращался он к милиционеру, чтобы спросить у него дорогу.

Это было какое-то удивительное обращение, за которым стояла прекрасная уверенность, что все люди охотно сделают для него все, что они смогут, и что он в свою очередь постарается сделать все, что сможет, для любого из этих людей.

Что до меня, то я услышал эти слова впервые из его уст через пятнадцать минут после того, как пятнадцать лет назад, после бегства из Турции, он сошел с самолета на московскую землю. Пока к тому месту, где мы стояли, подруливал самолет, в котором летел Хикмет, каждый из нас молча думал о том, кого мы сейчас увидим. Полтора десятка лет в тюрьме, потом несколько месяцев под домашним арестом, потом отчаянный побег через море, — как он будет выглядеть, этот вчерашний узник, который сейчас выйдет из этого открывающегося люка и спустится по этой лестнице на московскую землю?

По лестнице навстречу нам спускался высокий, красивый рыжеволосый человек. Ноги его ступали твердо и легко. Голова была чуть-чуть откинута назад, а голубые глаза полны любопытства. Достаточно было пяти минут, чтобы понять, что он приехал сюда не отдыхать, не пожинать лавры, не залечивать раны; он приехал жить, работать, спорить, драться. И только кончики пальцев, сжимающие насованные ему охапки цветов, чуть-чуть дрожали от усталости и волнения.

А еще через десять минут, уже в машине, я услышал его первое: «Послушай, брат».

— Послушай, брат, мы едем в гостиницу «Москва»? Да? Мы не поедим мимо такого старого кино «Унион»? Я хочу по-

смотреть на него, там было наше общежитие, когда я учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока.

Первое «Послушай, брат» было ласковое, вопросительное. А второе, еще через десять минут, было уже такое сердитое, словно он засучивает рукава.

— Послушай, брат, нельзя переводить стихи так, как ты говоришь. Стихи надо переводить точно. Мне совсем неважно, чтобы там были чужие красивые рифмы. Мне важно, чтобы в них был мой смысл.

Мы ехали с ним в машине через новую Москву, на которую он успевал жадно смотреть, в то же время продолжая ругаться. А ругался он не из-за того, что его перевели стихами, недостаточно хорошо звучащими по-русски. Напротив, с точки зрения русского звучания стиха перевод, из-за которого он ругался, был сделан превосходно. Но тот самый главный оттенок мысли, тот ее острый поворот, из-за которого он писал это стихотворение, — он-то и ушел в тень в этом блестящем, казалось бы, переводе. И он ругался:

— Послушай, брат, очень хорошо, если ты говоришь, что получились очень хорошие русские стихи, я тебе верю, я очень рад. Но, пожалуйста, не надо, пожалуйста, пусть будет просто подстрочник прозой, но так, чтобы все поняли, что я хотел сказать.

Он ехал через Москву, в которой не был столько лет, глядел на нее жадными глазами и ругался из-за принципов стихотворного перевода. Он уже не чувствовал себя гостем. Он уже жил здесь, в Москве, жил, работал, спорил, считал себя своим — и был своим.

Через двенадцать лет после этого, однажды утром, он встал с постели, вышел из спальни, пересек столовую, прошел в переднюю, потянулся к ящику, чтобы взять утренние газеты, и умер. Умер прежде, чем упал. Так потом сказали врачи.

Удивительный человек умер. Остались только его стихи — тоже удивительные. Остались стихи, написанные в тюрьмах и на свободе. Остались удивительные поэмы, частично и до сих пор еще не разысканные,

поэмы, в которых по многу тысяч строк, и удивительные маленькие стихи, похожие на короткий, широкий вздох всей грудью. Остались «Письма к Таранта Бабу», удивительная любовная поэма, сквозь которую, как зарево далекого пожара, проступают кровавые пятна первой фашистской войны в Абиссинии. Осталась удивительная поэма «Зоя», написанная в турецкой тюрьме о русской девушке, повешенной среди подмосковных снегов немецкими фашистами. Осталось одно из самых удивительных стихотворений Хикмета — его автобиография, написанная незадолго до смерти, полная жестокой математики лет и яростного желания жить как можно дольше.

Остался целый мир его поэзии, которую все переводят и переводят и еще будут переводить и переводить на все языки мира. Через эту поэзию прошло все, что прошло через жизнь самого Хикмета. Прошли женщины, которых он любил, и доктора, которые его лечили, и тюремщики, которые его стерегли. Прошли друзья, которых он верил до конца и которые до конца верили ему, и друзья, которые на каком-то повороте истории перестали быть его друзьями. Прошли враги, которых он ненавидел и презирал; и ничтожества, над подлостью которых он смеялся; и герои, перед которыми он преклонял голову; и соседи по камере, с которыми он делил табак и пищу.

Через его стихи четырем бурными десятилетиями прошел двадцатый век. Прошел то боком, то напролом. Прошел, пробуя человека, как металл, — и на изгиб, и на разрыв, и на сжатие. Век прошел через человека, а человек прошел через век. И остался сильным и веселым, добрым, человеческим, открытым добру и нетерпимым к мерзости.

В этой поэзии все переплетено и перепутано, как в жизни. И, останавливаясь перед каждым из стихотворений и раздумывая над ним, трудно ответить самому себе, о чем оно. О любви? Да. О революции? Да. О том, что человек стареет и это невесело? Да. О том, что хорошо, когда горит огонь

и можно смотреть в него? Да, и об этом. Здесь все переплетено и перепутано в том великолепном беспорядке, который называется душевной жизнью человека, смело и откровенно брошенной на бумагу, напечатанной, предъявленной на всеобщее обозрение.

Мы иногда употребляем выражение — поток сознания — в уничижительном смысле; особенно в тех случаях, когда имеем дело с имитацией этого понятия, когда и сознание чуть теплится и потом превращается в мнимо движущуюся, а в сущности стоячую воду. Но когда сознание человека вбирает в себя все самое живое, противоположное, трагическое и героическое, чем так опасно богат наш трудный и великолепный век, и когда поток этого сознания — действительно поток, в кровь режущийся грудью о самые острые камни века,—

тогда этот поток сознания воспринимается как нечто естественное, как исповедь и проповедь, существующие друг в друге, неразъятые и неразнимаемые.

Именно такой я ощущаю поэзию Хикмета. В ней есть все, чем живет и дышит человек. Она состоит из капель, но она — поток. И этот поток, при всех его водоворотах и подводных камнях, знает, куда он несется. Стихотворная исповедь и проповедь Хикмета — это исповедь и проповедь человека — живого, сложного, мятущегося, ошибающегося, любящего, ненавидящего, но при этом знающего, куда и зачем он идет.

А глаза у человека, написавшего все эти стихи, были голубые, а волосы — рыжие, а походка — легкая. И за день до смерти он яростно спорил о том, какой будет жизнь через двадцать лет. И умер, протягивая руку к утренним газетам.

## Назым Хикмет

\* \* \*

Его зеленое — муар,  
его синее — мягкое-мягкое.  
Я проплыл по Каспийскому морю  
в один из его  
самых шелковых дней.  
Оно стояло перед нашим кораблем,  
стояло, как ворота,  
распахнутые настежь...  
Как огорчил меня его поддельный лик!  
Какое море замкнуто, как это?  
Какое море  
живет, не зная о других морях?  
Какое море на земле  
так одиноко?



# Осип Колычев

## САМУИЛ ГАЛКИН

В кабинет редактора ГИХЛа тов. Равича сначала постучался и, услышав разрешение, вошел высокий молодой человек с мечтательной поволокой черных глаз. Чем-то он был схож с врубелевской Тамарой.

Представился:

— Галкин. Я пришел заявить протест против печатания моих стихов в вашей антологии.

Речь шла об антологии еврейской поэзии, впервые в 1929 году изданной в ГИХЛе. Приглашенный в качестве переводчика, я оказался свидетелем этой сцены.

— Какая причина? — забеспокоился Равич.

— Вы не даете мне высказаться во весь голос. Вы печатаете ничтожное количество моих стихов, и в скверных переводах. Вы зажимаете мне рот.

Лицо его искривилось, и он всю ладонью зажал себе рот, оставив крохотный уголок.

— Вот что вы делаете со мной.

...Почти четыре десятилетия прошли с той беседы.

О чем разговаривали мы, встречаясь? Обо всем, чем насыщены были эти десятилетия. И в первую очередь о назначении поэзии.

Как-то разговаривали о Пастернаке.

— Вот некоторые поэты жалуются на непонятность Пастернака, на присущие ему «недостатки». Если б не было у него недостатков, — говорят они, — это был бы очень сильный поэт. Но они, наивные, не понимают, что Пастернак именно силен своими недостатками. Я вспоминаю великого скульптора Антокольского. Он где-то об этом говорит, что все гениальные художники имели свои недос-

татки. Однако же никому в голову не приходило из-за этого умалять их достоинства. Каждый из них имел свое особое совершенство.

Заговорили о роли переводчика.

— Я против буквализма. Ну, все мы знаем, что Василий Андреевич Жуковский называл перевод — соревнованием. Между теми, кто пишет стихи, и теми, кто их переводит. А вот, читая французский перевод «Фауста», сделанный Жераром де Мервалем, Гёте воскликнул, что этот перевод освежает и обновляет его собственное представление о его поэме. Какое замечательное признание старика Гёте!

...Сам Галкин придерживался подобного переводческого метода. Метода соревнования. Стоит вспомнить его перевод «Короля Лира» для театра Михоэлса. Этот перевод звучал как самостоятельное произведение.

Потом как-то встретил Галкина на Гоголевском бульваре. Он сидел на зеленой скамейке, под шумящей кроной тополя, и читал Гейне. Подозвал меня и прочел, вод пальцем под строками:

— «Нет ничего бессмысленнее вопроса, который из поэтов стоит выше других. Пламя есть пламя, и вес его не определяется ни фунтами, ни унциями. Только плоский лавочный ум желает взвесить гений на своих грязных весах, на которых он взвешивает и сыр». Здорово? А?

С Гейне он не расставался. Не только с Гейне-поэтом, но и с Гейне-прозаиком.

Сила поэта Галкина — в его насыщенном метафоризме. Он весь пронизан метафорой, как лиственное кружево древесной кроны светом солнца и неба. Не грубые прямолинейные сравнения, а — порой исполненная иносказаний, порою соткан-

ная из одних намеков — пропитывает его стихи высокая, интеллектуальная образность.

Едва ли ведаёт пчела, как светел мед,  
Когда из сумрака на свет его несёт.  
Едва ли ведаёт, что царство ей дано,  
Что пахнет небом и землей оно...

(«Пчела»)

Это стихи о пчеле. Или вот стихи «Наш праздник». Я не знаю на эту, казалось бы, до дна исчерпанную тему стихов нежнее, прозрачнее и тоньше, чем эти.

Как беден язык, чтобы все это выразить точно!  
Я вижу:

наш праздник,  
как линий резьба на руке,

Стал плотью от плоти.

Вся жизнь им пронизана прочно.  
И став нашим чувством, он светится в каждой строке.

Как неожиданно это сравнение праздника с загадочными линиями на руке, по которым можно гадать! Удивительные стихи! Удивительные не только по необыкновенности метафоры, но и по силе уважения к родной Советской стране, к ее праздникам, к ее торжественным датам.

И в этом сочетании высокой гражданственности и нежнейшего лиризма — одна из причин широкого признания поэзии Галкина.

## Андрей Глоба

*Скоро исполняется 80 лет со дня рождения поэта, переводчика и драматурга Андрея Павловича Глобы.*

*Советскому зрителю хорошо известны пьесы Глобы — «Пролитая чаша» и «Пушкин». В этом году состоялся 700-й спектакль «Пушкина» — пьесы, о которой Владимир Луговской в свое время писал, что он «относит ее прежде всего к поэзии, не по причине того, что она написана стихами, но потому, что она разрешена приемами чисто поэтическими и в некоторых своих частях звучит глубокой интонацией лирической поэмы».*

*Вошли в быт его песни «Шотландская застольная» и «Ирландская застольная». Его огромный труд по сбору и переводам песен народов СССР и народов мира профессор И. Н. Розанов оценивал как явление уникальное.*

*Любители поэзии помнят и его книги стихов «Корабли издалека», «Запад», «Уот Тайлер».*

*У Андрея Павловича осталось множество неопубликованных произведений. Мы предлагаем вниманию читателей несколько его стихотворений.*

\* \* \*

Догорала и догорела  
Юность, кудри всех грез развились,  
Выпал снег — голова побелела...  
Что же делать мне! друг! не сердись!

Почему ж раньше не приходила? —  
Неизвестную, я тебя звал!

Сколько вьюг мое сердце студило!  
Сколько раз я твой образ терял!

Вот и снова в разлуке с тобою  
Я считаю постылые дни,  
И проносятся белой пургой  
Предпоследние зимы мои.

\* \* \*

Печаль ко мне, как друг, приходит,  
И я не так уж одинок:  
Потворствуя дурной погоде,  
На душу вешаю замок  
И выхожу без всякой цели,  
Так просто, только б побродить,  
Послушать пение капели,  
Ногою в лужу угодить,  
Шарахнувшись к стене, известкой  
Плечо и локоть замарать

Да где-нибудь на перекрестке  
Знакомый ветер повстречать —  
Тот ветер, что, бывало, прежде  
Скитанья окрылял мои,  
Был спутником моей надежды,  
Вином беспутных грез поил.  
Тебе я, милая, шлю с ветром —  
Его поласковой встречай! —  
Наивесеннейший привет мой,  
Мою бессмертную печаль!

\* \* \*

Я помню утро в бледном свете  
И день, звеневший серебром.  
Грустили в снах тысячелетий  
Холмы над медленным Днепром.

Но жизнь летела и шумела...  
Я вспомнил город Твой опять:  
Судьба мне встретить повелела  
Тебя, чтоб снова потерять.

Сады, умытые дождями,  
Сверкали ярко листвою.  
Сияла лавра куполами.  
Богдан грозился булавою.

Мне говорят: еще в руинах  
Прекрасный, гордый город Твой;  
Поют метели в соловьиных  
Садах, тоскуют над Тобой.

У врат Софии про Нечая  
Незрячий лирник песнь слагал...  
Тогда еще не знал Тебя я  
И только в снах Тебя искал.

А Ты? Быть может, в этот вечер  
Ты вспоминаешь перед сном  
Мою Москву, и наши встречи,  
И гром салютов за окном?..

\* \* \*

Померкнуть с утренней зарей!  
Уснуть, когда встают другие!  
Прекрасно — срок окончить свой,  
Уйдя в просторы заревые.

И пусть вольется в грудь печаль,  
Коснется сердца терпкой сталью,  
И нив мне этих будет жаль  
И роц за розовою далью!

# Марк Лисянский

## РАИСА ГИНЦБУРГ

Я должен написать о Раисе Гинцбург, потому что люблю ее поэзию, чистую и честную, горькую и грустную, зримую и зоркую, стихи поразительной взыскательности, пахнущие морской свежестью, лесной тишиною, степной полынью.

Я должен написать о Раисе Гинцбург, потому что близко знал ее, принимал некоторое участие в ее трудной литературной судьбе, был редактором ее единственной книжки «Полынь в снегу», вышедшей четыре года назад в «Советском писателе».

Я должен написать о Раисе Гинцбург, потому что, наверное, никто другой о ней не напишет. При жизни она не пользовалась вниманием газет и журналов, тем более критиков. В этом отношении ничего не изменилось после выхода книжки.

В феврале прошлого года мне позвонили по телефону: умерла Гинцбург, и добавили: бедная Ася. Жизнь была жестока и несправедлива к ней. Жизнь у нее все отобрала: родных, любимого человека, радость материнства, здоровье, зрение. Пять лет назад я привез ей из Будапешта очки — минус 19. Почти слепой человек, она жила одиноко, но мужественно, жила единственной любовью — поэзией.

Вы удивляетесь!  
Как же так? О зрении,  
О страхе вовсе потерять его  
Не написала я стихотворения...  
О самом дорогом — ни одного!  
Нет, не корите, что пишу пейзажи,—  
На землю наглядеться я спешу,  
А вы, друзья, не замечали даже,  
Что я всегда о зрении пишу.

Потеряв совершенно зрение, она продолжала писать свои пейзажи, продолжала зорко вглядываться в жизнь, видя то, что мы, зрячие, порой не замечаем:

Есть же глаза — позавидовать можно!  
Видят жука в колее дорожной,  
Видят орла на высокой скале,  
Видят рыбешек в озерном стекле,  
Видят на яблоне каждый цветок,  
Видят лозы вихревой завиток,  
Видят снежинку и видят звезду...  
Вот бы им видеть чужую беду!

Это ведь не пейзажные стихи, это не игра в философскую лирику, коей заняты иные поэты. Это сгусток боли и мысли, это добрый и одухотворенный взгляд, лишенный малейшего холода умозрительности. Это трудная судьба человека, пережившего горькие потери, но не замкнувшегося в раковине своего горя, а влюбленного в лучезарный мир и красоту человеческую.

Есть у Раисы Гинцбург одно маленькое стихотворение, вобравшее всю ее жизнь. Не надо бояться его печали. В нем столько света, доброты, бескорыстия, что дай бог некоторым оптимистическим сочинениям! Стихотворение абсолютной непридуманности и непосредственности, такой непосредственности, что горло перехватывает. Я никогда не учил его, но оно у меня навсегда осталось в памяти:

Меня встречала жизнь и обнимала,  
А я и с мамой говорила мало  
И для отца не находила слов,  
Не написала я о них стихов.  
Меня моя забота поглотила,  
Я не смогла им внука подарить...  
И жизнь печально руки опустила.  
Теперь об этом поздно говорить.

Более тридцати лет работала, нет, не работала, а жила в поэзии Раиса Гинцбург. Удивительна ее лирика по своей пластичности, по цельности и чистоте мировосприятия. Она была певцом своей судьбы, но не мыслила себя без людей,

без родной природы, без радостей человеческих. Она помнила об утратах, но любила жизнь и хотела очень долго жить. В нашей поэзии — да и не только в нашей! — немало написано о том, что поэт после смерти хотел бы остаться на земле деревцем, снежинкой, цветком. А вот Раиса Гинцбург говорит:

И жизнь окончится. Но если будет  
Дано мне выбрать из всех чудес,  
Я попрошу о невозможном чуде:  
Остаться на земле. Остаться здесь.  
Побалуйте немислимой поблажкой!  
И стану я не тучкой, не кустом,

Не камушком, не птицей, не ромашкой,  
А девочкою в платье простом.

Как это естественно, по-человечески, по-земному: остаться девочкою в платье простом!

Раиса Гинцбург была поэтом. Ее тоненькая книжечка «Полынь в снегу» останется с людьми. Этого жизнь у нее уже не отнимет. Я верю, что папка неопубликованных стихов, оставшаяся на ее столе, из которой мы извлекли несколько страничек, тоже дойдет до читателя и непременно займет свое достойное место в нашей поэзии.

## Раиса Гинцбург

\* \* \*

Сколько добрых слов на свете есть!  
Говорю: Да, милый, ровно в шесть.  
Говорю: Захочешь — позвони!  
Говорю: С дороги мне черкни...  
Слово лишь единое, одно,  
Строго-настрога запрещено.

### МОЙ ДОМ

Годами я думала, будто мой дом —  
Четыре белесых стены с потолком,  
И только сейчас догадалась о том,  
Что дом — под пробитым дождями кустом,  
В осиннике, светом зари налитом,  
Над Северкой, зябнущей под лозняком  
В низине, где тянет сырым ветерком,  
У дерева, меченного топором,  
Под облаком, тлеющим дальним костром,  
На теплой дороге в тумане густом —  
Мой дом!

# Валентин Кузнецов

## СЛОВО О ДРУГЕ

Он работал неторопливо, как бы с прохладцей. Он не ошарашивал публику тяжеловесными поэмами или километровыми стихами. Он строил свою Поэзию деловито, толково, накрепко. Он зарабатывал в себе один пласт — пласт сурового и мужественного труда шахтеров. Поэзия его пряма и откровенна. В ней бьется острое пламя юмора, струится свет человеческой улыбки. В его поэзии нет пустой породы. Жажда жизни. Жажда разговора с собеседником — главное в его творчестве. Он подсмеивается над своими друзьями-шахтерами так же искренне и незлобиво, как и над самим собой. Его стихи пересыпаны солью шахтерского быта. Занозистые, порой грубоватые «словечки» взяты им не с улицы, а добыты глубоко под землей, где рубится уголь, где черная пыль забивает глаза и въедается в кожу. Там, в забое, идет бой! Там гляди в оба! Там без крутого слова не обойтись.

«Я родился под шум вагонеток и клетей», — говорит поэт. Да. Это так. Едкий дым горячих терриконов, грохот бегущих вагонеток и клетей окружали детство поэта. Потому он с такой человечностью, с такой любовью писал о «подземных людях». Тяжелый труд шахтеров был для него неистощимым родником поэзии. С каким-то юношеским удивлением писал он о празднике шахтеров, о том, как, очумев от весны, крепильщик на штреке обнимал сосну-лесину.

Тяжело умирать молодым. Горько думать о том, что потеря молодого таланта невосполнима. Вот о чем я думал, читая стихи, оставшиеся в письменном столе Николая Анциферова. Нет, не выветрилось, не погасло пламя его поэзии. Она идет навстречу людям, светится доброй улыбкой, и «только крапинки синие на лице».

# Николай Анциферов

## МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Я писать не смогу  
В непривычных условиях,  
Если все под рукой  
И нужды никакой.  
Неприменно застряну  
На первом же слове я,  
Сдавят горло петлей  
Тишина и покой.  
...После смены не будут  
Сушиться шахтерки.  
Я не буду бояться  
Обвалов во сне.  
Не услышу подземной  
Такой поговорки,  
От которой порой  
Даже уголь краснел.

И не будет друзей,  
Молодых, угловатых,  
Цену знающих хлебу,  
Понимающих труд.  
И не будет неписаной  
Праздничной даты —  
Для восторженных криков:  
— Получку дадут!..  
А без этого я  
Буду лишним на свете.  
Перед жизнью останусь  
В неоплатном долгу.  
Я родился под шум  
Вагонеток и клетки,  
Потому и без шахты  
Я жить не смогу.

# Александр Ойслендер

## ЗАКОН ТРАВЫ

Мне снилось:  
... Умер я.  
И ничего, ей-богу!  
Лежишь в гробу —  
И никаких забот,  
Лишь борода, проклятая, растет,  
Но это не беда.  
По некрологу  
Сужу о степени таланта своего.  
Хоть с опозданием, но заметили его.  
Читаю подписи друзей  
И незнакомых  
Официальных лиц, которых я  
Ни на банкетах не встречал, ни дома,  
К чинам их равнодушья не тая.  
Вокруг меня —  
Печаль моей жены,  
И шум дождя, и листьев трепетанье,  
И Ария Давыдыча слышны  
Шаги —  
То рядом, то на расстояньи.  
Тут, говоря об Арии, нельзя  
Его заслуг особых не отметить.  
Есть у него на всей земле друзья,  
Но трижды более  
На том, конечно, свете.  
...Издайте лучшее,  
Что написал в стихах.  
Не памятник,  
А дерево поставьте,  
Шумящее листвою, в головах,  
Скамью  
И легкую ограду, чтобы козы  
Не лезли все же запросто ко мне,  
А та, кого любил,  
Могла, роняя слезы,  
Прийти и погрузить со мной наедине.  
Я в клубе.  
На шелку горят мои медали,  
А сам я, их владелец, на столе.  
Еще вчера  
Здесь бурно заседали,

В табачной утопая мгле, —  
А нынче тишина, цветы и креп.  
Рыданье  
Не слишком громкое несется из угла.  
Друзья молчат, окаменев,  
А Лев Иванович по заданью  
Президиума —  
Бьет во все колокола.  
И вот  
Плывут печальные машины  
Через Москву, через мою Москву.  
В последний раз  
Знакомые картины  
Передо мной мелькают наяву.  
Ваганьково вдали  
Зовет прохладной кущей  
Под сень свою.  
Могила глубока —  
И с ужасом глядит в нее живущий,  
Чья очередь  
Не так уж далека.  
Щебечут птицы.  
В честь моей особы  
Лопаты салютуют —  
И земля,  
Как сильный дождь,  
Стучит по крышке гроба.  
Похоже —  
Волны бьют о переборки корабля.  
Преследуемая возгласами нищих,  
Уйдет жена.  
И сыновья уйдут.  
И, наконец,  
Останусь я один  
В гвоздями заколоченном жилище,  
Уж не москвич,  
А всей земли жилец.  
Но ты не плачь, любимая!  
Мне было б тяжелее,  
Когда б стоял вверху,  
А ты лежала тут.  
Лишь об одном я горько сожалею:

Теперь тебе квартиры не дадут!  
Сергей Поделков и Марк Шехтер,  
Не забудьте  
В беде моей жены —  
Она мой лучший друг.  
И с нею повнимательнее будьте,  
Чтоб ничего с ней не случилось вдруг.  
Здесь хорошо.  
Ни бедных, ни богатых,  
Ни должностей, ни званий —  
Все равны!  
И никакая разница во взглядах  
Не нарушает властной тишины.  
Лежу в планете, словно в колыбели.  
Не мучают ни желчь, ни комары.

Никто не спросит:  
— Сколько раз смотрели  
С глухою завистью  
На дальние миры? —  
Лечу с землею по ее орбите —  
И, не держа ответа ни пред кем,  
Предвижу через головы событий  
Крушенья унижительных систем.  
В дни роковые  
Посетил я землю.  
И, после смерти частью став ее,  
Как должное  
Закон травы приемлю —  
Расту  
И продолжаю бытие!

## Дмитрий Блынский

### ТАНЕ

Помнишь, нас в такое ж утро мая  
Уводила просека прямая.

В белых платьях, издавна знакомых,  
Выходили к тропке сто черемух,

Сто веселых ясеней в зеленых  
В праздничных своих комбинезонах.

Выходили пожилые ивы  
И дубы, седые и молчаливы.

Ничего не знавшие вначале,  
Из-за леса мне друзья кричали.

Но с тобою рядом, горд и светел,  
Я друзьям впервые не ответил.

И сегодня ждут еще ребята,  
Ждут меня, ушедшего когда-то.

# Иван Шамов

## В ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ

В тиши лесов родной России  
Стоит наш лётный гарнизон.  
Здесь небосвод прозрачно-синий,  
А воздух — истинный озон.

Смеются дети на площадке,  
Цветут у домиков цветы.  
Шмели гудят на каждой грядке,  
Манят клубничные кусты.

Но здесь тревога всем знакома:  
Экранный всплеск в одной из зон.

---

\* ДОС — дом офицерского состава.

И загремит раскатом грома  
Наш первоклассный гарнизон.

Уйдут пилоты, словно стрелы,  
Оставив дом, детей и жен.  
Враг атакован будет смело,  
Огнем ракетным сокрушен.

И снова тишь. Меж рослых сосен  
Луна плывет, как красный мяч.  
И в белоснежном новом ДОСе \*  
Играет маленький скрипач.

24 июля 1965 г.

# Владимир Львов

\* \* \*

Перед боями воздух суше,  
Трава идет — к волне волна,  
И нам охватывает души  
Предгрозовая тишина.

И небо — ниже, ниже, ниже...  
Травы неукротима дрожь.  
Из дула дует ветер рыжий,  
И с этим ветром ты уйдешь.

\* \* \*

Распятие с желтым телом божьим,  
лицо измучено тоской,  
и мы любить его не можем  
с его гвоздями и доской.  
Его кровей цветенье алых,  
его устало-скорбный лик.

Христос сегодня только жалок  
и уж конечно не велик.  
Земля победу любит наша.  
О милый старый бог, прости,  
но переполнилась чаша,  
теперь страданья не в чести.

# Марк Максимов

## СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

Для нас, ее братьев и сверстников, пожалуй, не было более тяжелых похорон. Мы повидали смерть. И на войне — что уж там и говорить! И — тяжелее — после.

Володе Замятину мы приносили сок, а он не мог проглотить его с ложечки. Он знал, что умирает. И мы знали. И другие знали, что в его смертельной болезни виновата война...

Потом нелепо, возвращаясь из издательства с верстой своей первой книги в руках, попал под трамвай Алеша Недогонов, такой светлый и мудрый. В жизни и в стихах.

Потом мы несли на плечах Семена Гудзенко. Несли, и было тихо, и снег проваливался под ногами... Гудзенко тоже знал. И мы знали. Он умирал еще по-солдатски — человек, чуть ли не на второй день после Победы написавший:

Послевоенный кончился период,  
И предвоенный начался опять...

Потом разорвалось сердце Алеши Фатьянова... Но над всеми этими скорбными прощаниями еще склонялась привычная, близкая тень войны.

А Вероника Тушнова, та самая Вероника, с которой мы все познакомились как с веселой черноглазой медсестрой только что из санитарного поезда, пережила нашу войну на двадцать лет. Мы уже отвыкли от смерти. Но прощание было особенно тяжелым не только потому.

Оказалось, и она знала. Очень давно знала. А мы? Нет, мы не знали. Не потому, что черствыми были или там уж чересчур оптимистами. Просто она сумела остаться до конца той молодой медсестрицей из санитарного поезда — по-старому сестрой милосердия. Всю боль брала на себя. И тяжесть отнимала у других. И в жизни

и в смерти ни с кем не делила. Несла сама. Для того и жила.

Осталось много стихов. Пожалуй, столько же, если не больше, сколько было напечатано. Почему? Мы листаем эти страницы и понимаем. Одни — потому, что Вероника Тушнова была взыскательным к себе и, может быть, иногда излишне самокритичным художником. Другие — чтобы возвратиться к ним, доработать. Третьи — все по той же причине: чтоб скрыть правду о смертельной болезни, не причинить боли другим.

Нет, она не была железной. Писала:

Железо я уважаю.  
Железа я не люблю.

Она просто была другом. Настоящим другом для близких и дальних людей.

В ее письменном столе рядом со стихами мы нашли два письма. Одно адресовано Тушновой. Другое — ответ Вероники. Первое письмо — злое, ханжеское, оскорбительное. Приводить его целиком нет смысла. Вот отрывки из него.

«Здравствуйте, поэтесса Вероника  
Тушнова!

Мне случайно попала на глаза Ваша книжонка «Второе дыхание». Вас я знаю давно, по стихам, разумеется. Лет десять назад, а может и меньше, я прочла «Дорогу на Клухор» и с тех пор Вас не забыла. Не потому только, что Вы мне ровесница, а потому, что Ваши стихи чем-то напоминают мне мои, только, к сожалению, Ваши лучше, а еще тем, что Ваши мысли и чувства кажутся мне моими. Теперь я прочла «Второе дыхание», и мне стало неловко. Я испугалась. Зачем Вы об этом кричите на весь мир?..

«Второе дыхание» — это вопль покинутой стареющей женщины, изредка прерываемый описанием древних, но вечно молодых городов и уголков, где Вы бывали...

Пусть сердце кричит от боли и одиночества, но незачем об этом уведомлять весь мир. Вы и сами знаете, что напрасно старая Золушка торчит у очага, Вы и сами знаете, что «тот красивый, добрый человек» не ищет ее латаную тапочку, а давным-давно женат на великолепной молодой женщине.

Вы и сами знаете, что тот любимый «и пройдет, и не взглянет, и не оглянется, и мне улыбнуться не догадается».

Я прошу Вас, не кричите об этом так громко и так художественно. Не нужно. Это все пройдет, я это знаю. И не стоит зазывать: «вот теперь давай приходи».

И если к Вам, все же таки, вдруг придет неслышанная и прекрасная удача, то Вы храните свое сокровище, как сундук, про себя. Сокровища исчезают, как дар св. Грааля, от нескромного взора. Пусть люди о нем не знают; и будьте Вы счастливы.

Я желаю Вам этого.

*Р. М.»*

Такие письма приходят не часто. Что же Вероника? Оскорбилась? Немного. Огорчилась? Конечно. Но все это во вторую очередь. А в первую? Сестра милосердия снова склоняется над раненым: «Р. М.! Вам очень плохо? Больно? У Вас большое горе?» А затем слово берет Тушнова-поэт. И снова человек большого сердца отстаивает и великие права лирики и ее нелегкие человеческие обязанности. «Лес, озера, книги, люди не для меня — для всех. И стихи — для всех. Для всех и пишу. Это Вам кажется, что Вы (ну и я) — исключение. Нет!»

О ней будет написано много хорошего, как того заслуживает она и ее стихи — истинные стихи, верные в обращении к Родине и друзьям, чистые в любви, мужественные в самой смерти, всегда трепетные и никогда не ноющие.

Но еще больше Вероника Тушнова расскажет о себе сама в своих книгах. Она осталась среди нас, она продолжает участвовать в жизни и поэзии.

## Вероника Тушнова

### ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЕ

**Р. М.!**

Вам очень плохо? Больно? У Вас большое горе? Только этим могу я объяснить Ваше письмо, такое ожесточенное и потому такое несправедливое. Ведь Вы же увидели в «книжонке» только то, что Вам хотелось в ней увидеть, а не то, что написано. Я получаю очень много писем, и они мне очень дороги. Даю честное слово, что таких, как Ваше, не получала ни разу. Я очень занята и к тому же ленива. Но Вам отвечаю сейчас же, потому что, наверное, какие-то мои стихи заделали Вас очень больно и боль эта не дала Вам прочесть и по-

нять все остальное. Во-первых, я никогда не пишу о старости, может быть оттого, что пока ее не ощущаю. Я нигде не пишу о брошенной женщине, а если и пишу («В марте»), то не о себе, а о другой. Я пишу об ушедшей любви, об опустевшем мире, о человеческом существе, полном сил, действительно обладающем «Ста дарами прекрасными напрасными» (без всякой иронии), о борьбе, о втором дыхании — новой, трудовой любви, новом удивительном счастье.

Почему Вы думаете о людях так плохо? Кто будет смеяться над человеческим го-

рем? Почему Вы так жестоки, так беспощадны через воображаемую меня к себе? А почему не писать о любви? Любовь не имеет никакого отношения ни к стареющим дамам (где Вы только их выкопали — дам — в наше время?), ни к морщинам, если они есть (и тем более если их нет). Любовь — это жизнедеятельность человеческого сердца — пока живо, пока бьется — любит. Горько, если некого любить.

Так вот «книжонка» — история одного сердца, уставшего, изверившегося, но которое всё-таки осталось живым и, значит, полюбило, победило в долгой и трудной борьбе. А почему надо прятать свое счастье? Я нашла его, завоевала, я горжусь им, я говорю о нем всему свету. А то что же? О горе — нельзя! О счастье — нельзя? А о чем же можно? О благополучии? О чем прошу — прочтите «книжонку» еще раз. Скоро выйдет книга «Сто часов счастья» (в конце года). И ее прочтите, может быть, тогда Вы не будете так болезненно все воспринимать. И не только болезненно, но искаженно. «Неужели Вы всерьез думаете, что босиком по траве любите ходить только Вы?» — Нет, не думаю! Наоборот — всерьез думаю, что по крайней мере три четверти людей любят это. Для них и пишу. Не исключение, а всеобщность! Поняли? Лес, озера, книги, люди не для меня — для всех. И стихи — для всех. Для всех и пишу. Это Вам кажется, что Вы (ну и я) — исключение. Нет! Таких людей, борющихся с одиночеством, с горем, с усталостью, очень много. Стихи мои им нужны, потому что они дочитывают их до конца. А Вы

не дочитываете из-за своей (не из-за моей) боли. И то, что я побеждаю, остаюсь живой, любящей, молодой, вызывает в Вас озлобление — Ваша-то боль не прошла! И Вы не верите в то, что пройдет. Но ведь и я в свое время не верила. Вы глухи ко всему, что лежит за пределом Ваших переживаний. Вы недоверчивы и подозрительны, Вы готовы увидеть презрение и насмешку там, где их и нет и не было. Вы оглядывались на людей, — что скажут, что подумают? Как же мало в Вас гордости. Вы готовы в темный угол спрятать свою, пусть страдающую, но любящую, глубокую, человеческую (а не дамскую) душу, чтобы не дай бог кто-то не уличил Вас в сильных глубоких чувствах. Грустно мне было читать Ваше письмо. Обидел Вас кто-то, и Вы на мне вымещаете свои обиды. Мне с Вами поговорить бы хотелось похорошему. Не обижайтесь на меня, слышите! Я понимаю, что Вам действительно плохо.

Мне-то казалось, если я напишу о том, как усталая, измученная женщина нашла свое счастье — это поможет людям поверить в хорошее. Многим помогает, как они пишут, а вот в Вас вызвало только ожесточение.

Вы даже не написали, как Вас зовут, так и пришлось обращаться: Р. М. На всякий случай пишу свой адрес — захотите — напишите.

Москва Г-242,  
ул. Чайковского, д. 25, корп. 10, кв. 9.  
В. М. Тушновой  
(Вероника Михайловна).



*Вероника Михайловна Тушнова*



*Самуил Залманович Галкин*

# Лев Озеров

## ОБ АЛЕКСАНДРЕ КОЧЕТКОВЕ

Даже среди любителей поэзии не часто встретишь человека, который внятно и вразумительно рассказал бы об Александре Кочеткове.

«Переводчик Шиллера, Брентано и Арнима, Бруно Франка, грузинских и таджикских поэтов», — скажут одни.

«Автор написанной совместно с С. Шервинским пьесы «Вольные фламандцы» и написанной совместно с К. Липскеровым пьесы «Надежда Дурова», — вспомнят другие — люди, близкие к театру.

И только третьи — а их единицы — знают о лирике, поэмах, драмах в стихах Александра Сергеевича Кочеткова. Его оригинальные произведения до сих пор не изданы. А между тем перед нами плоды сорокалетней работы. От первых стихов, написанных в четырнадцатилетнем возрасте (1914), до самых зрелых.

Прожив трудную, тревожную, исполненную постоянных бедствий жизнь, Александр Кочетков до самой смерти (1953) работал над стихом. Назову его главные произведения: драматическая поэма в трех актах «Николай Коперник Торнский», одноактные пьесы «Голова Гомера», «Праздник Андерсена», «Король Марк», «Аделаида Граббе», поэмы «Отрочество», «Летейская струя», «За утром», много ли-

рических стихотворений, среди которых такое проникновенное, как «Баллада о прокуренном вагоне».

Мне жаль любителей поэзии, до сих пор ничего не знающих о таком самобытном и глубоком мастере, как Александр Сергеевич Кочетков. В чем причина этого незнания?

Поэт был скромн, талантлив, бескорыстен, дерзок в замыслах и очень застенчив. Перечисляю качества, которые все ценят, высоко уважают, приходят от них в восторг. Но увы, не они решают судьбу поэта.

Неторопливый, с открытым лицом, с мягко зачесанными назад на старинный манер длинными волосами, с палочкой, он был приветлив и незлобив, мало говорил о себе, все душевное внимание отдавая собеседнику. Так, скрытая от посторонних глаз, шла глубокая, тонкая, непрекращающаяся работа над стихом. Я давно в мечтах своих вижу том избранных сочинений Александра Кочеткова, который нечаянной радостью ляжет на стол читателя.

Не сомневаюсь: когда Кочетков будет издан, читатели откроют для себя нового старого поэта. Строки этого автора должны выйти из архива и стать достоянием нашей поэзии.

# Александр Кочетков

## БАЛЛАДА О ПРОКУРЕННОМ ВАГОНЕ

Как больно, милая, как странно,  
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями —  
Как больно, милая, как странно  
Раздваиваться под цидой.  
Не зарастет на сердце рана,  
Прольется чистыми слезами,  
Не зарастет на сердце рана —  
Прольется пламенной смолой.

— Пока жива, с тобой я буду —  
Душа и кровь неразделимы, —  
Пока жива, с тобой я буду —  
Любовь и смерть всегда вдвоем.  
Ты понесешь с собой, любимый, —  
Ты понесешь с собой повсюду,  
Ты понесешь с собой повсюду  
Родную землю, милый дом.

— Но если мне укрыться нечем  
От жажды неисцелимой,  
Но если мне укрыться нечем  
От холода и темноты?  
— За расставаньем будет встреча,  
Не забывай меня, любимый,  
За расставаньем будет встреча,  
Вернемся оба — я и ты.

— Но если я безвестно кану —  
Короткий свет луча дневного, —  
Но если я безвестно кану  
За звездный пояс, млечный дым?

— Я за тебя молиться стану,  
Чтоб не забыл пути земного,  
Я за тебя молиться стану,  
Чтоб ты вернулся невредим.

Трясаясь в прокуренном вагоне,  
Он стал бездомным и смиренным,  
Трясаясь в прокуренном вагоне,  
Он подупладал, полуснал,  
Когда состав на скользящем склоне  
Вдруг изогнулся страшным креном,  
Когда состав на скользящем склоне  
От рельс колеса оторвал.

Нечеловеческая сила,  
В одной давилъне всех калеча,  
Нечеловеческая сила  
Земное сбросила с земли.  
И никого не защитила  
Вдали обещанная встреча,  
И никого не защитила  
Рука зовущая вдали.

С любимыми не расставайтесь,  
С любимыми не расставайтесь,  
С любимыми не расставайтесь,  
Всей кровью прорастайте в них, —  
И каждый раз навек прощайтесь!  
И каждый раз навек прощайтесь!  
И каждый раз навек прощайтесь!  
Когда уходите на миг.

# Николай Рыленков

## ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПОЭТА

*(Четыре лирических этюда с предисловием и послесловием)*

В одной из своих статей об искусстве Г. В. Плеханов писал, что девушка может петь о потерянной любви, но скряга о потерянных деньгах петь не может.

Конечно же эти замечательные слова прежде всего относятся к лирике. Они дают ключ к пониманию самого большого чуда из всех чудес, созданных человеческим гением, раскрывают секрет вечного обаяния лирики, как чистой песни человеческой души.

Такая песня волнует не только современников, но и далеких потомков, доходя к ним через рубежи времен, как дошли к нам стихи Сафо и Алкея, элегии Катулла и Овидия, песни средневековых бродячих певцов, сонеты Петрарки и Шекспира.

Более того. В произведениях подлинно великих лириков потомки открывают все новые и новые грани, которых не замечали или не могли заметить их современники. Не следует забывать, что прошедший испытание временем поэт предстанет перед новыми поколениями читателей уже в ином, в очищенном, а иногда и в преображенном виде.

В своей родной поэзии мы открываем все новые и новые богатства, находя даже у забытых и полузабытых поэтов, вроде Каролины Павловой или Константина Случевского, удивительные по свежести стихи. Читая и перечитывая так называемых «второстепенных» поэтов, мы обнаруживаем у них такие вещи, без которых невозможно представить высших достижений русской лирики. Для примера можно назвать «Пришли и стали тени ночи», «Соловей поет в затишье сада», «Зимний путь» Я. Полонского, некоторые антологические стихотворения А. Майкова, «Цыганскую венгерку» А. Григорьева, «Го было ранню весной» А. Толстого и т. д.

Да что говорить о «второстепенных» поэтах, если самого Пушкина, с которым мы неразлучны чуть ли не с колыбели, теперь читаем новыми глазами.

Можно смело сказать, что вся высокая человечность, вся нравственная красота, все идейное богатство гармонической лирики Пушкина по-настоящему раскрываются лишь теперь, когда мы перестали сводить его гражданственность только к оде «Вольность», «Деревне», «Посланию в Сибирь» и тому подобное.

Уже поэт-революционер Якубович-Мельцин понимал, что гражданственна вся его лирика. «Счастье человека и достоинство его личности, — писал он, — для Пушкина мерило вещей; всестороннее развитие лучших свойств человеческой природы, свободное удовлетворение всех нравственно-законных потребностей — вот полнота счастья, и, как нарушение этого основного закона, аскетизм и распущенность — одинаково чужды и враждебны этому светлому гуманному мировоззрению» («Русская муза», 1904, стр. 33).

Чем выше будет подниматься человек, тем чаще в трудные и святые для себя минуты он станет обращаться к очищающим и возвышающим душу стихам Пушкина, повторяя наизусть его «Я вас любил, любовь еще, быть может», «Для берегов отчизны дальней», «Что в имени тебе моем», «Мне вас не жаль, года весны моей» и т. д.

Для нас высшая гражданственность поэзии Пушкина в ее гуманизме, в том, что ее наполняет вера в красоту человека.

Прекрасно море в бурной мгле  
И небо в блесках, без лазури,  
Но верь мне! Дева на скале  
Прекрасней волн, небес и бури.

Пушкин своей лирикой установил нравственный критерий для всей последующей русской поэзии.

Тютчев этот критерий перенес уже на явления природы:

Ущерб, изнеможенье — и на всем  
Та кроткая улыбка увяданья,  
Что в существе разумном мы зовем  
Божественной стыдливостью страданья.

Природа для Тютчева «не слепок, не бездушный лик». Он утверждает, что «в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык».

Но, утверждая полноту бытия природы, поэт ни на одну минуту не забывает о человеке, его сомнениях и раздумьях. Обращение к природе для него не бегство от противоречий жизни, а одно из средств их раскрытия. В сущности, язык природы ему нужно постигнуть для того, чтобы полнее запечатлеть человеческие чувства, не сглаживая кричащих противоречий. Он стремится уловить неуловимое, выразить невыразимое, сказать больше, чем может вместить слово.

При всем этом стихи его остаются всегда предельно конкретными и жизнеутверждающими. Он хорошо знает, что в природе все живет не прошлым, а будущим:

Не о былом вздыхают розы  
И соловей в ночи поет,  
Благоухающие слезы  
Не о былом аврора льет.

Тютчев не боится заглянуть в самое тайное тайных человеческой души. Не боится потому, что верит в нравственную силу человека.

Его поздняя любовная лирика, связанная с именем Денисьевой, потрясает не только трагизмом судьбы героини, но и высоким благородством чувств:

О, сколько жизни было тут,  
Невозвратно пережитой!  
О, сколько горестных минут,  
Любви и радости убитой...

Только такое благородство и такая нравственная требовательность позволяют поэту говорить обо всем с предельной от-

кровенностью, касаться самых сокровенных струн души и сердца.

Именно в этом и заключается непреходящее обаяние, именно этим и объясняется неотразимое влияние, величайшее воспитательное значение подлинной лирики, хотя творцы ее не ставят перед собой никаких назидательных целей, не собираются никого поучать. Назидательность, резонерство — прямо и категорически противопоказаны лирике, так как убивают в ней непосредственность, делают ее психологически недостоверной, заданной. Само собой разумеется, что назидательность и резонерство не следует смешивать с идейностью, с философской насыщенностью, которыми определяется уровень нравственной требовательности, создается духовная атмосфера лирики.

Корыстные, узкоэгоистические интересы и чувства не могут вызвать лирического волнения, не вдохновят на песню талантливого поэта. Если такие чувства у него есть, он стыдится их и, коль не может преодолеть, подавить, старается скрыть, упрятать поглубже. Во всяком случае, не станет делать предметом поэзии. В нее он вложит лучшую часть своей души. Поэтому-то житейский облик человека и поэтический образ лирика не всегда совпадают.

\* \* \*

Мы, по воспоминаниям современников и по собственным высказываниям поэта, знаем А. А. Фета-Шеншина как реакционера-крепостника, прижимистого помещика, человека, который ради устройства своего благополучия женился на нелюбимой женщине, всю жизнь заискивал перед царской фамилией, и в то же время нам бесконечно дорога его воистину благоуханная, вся пронизанная светом лирика, которую П. И. Чайковский считал гениальной, выходящей из пределов поэзии в область музыки. Мы до сих пор не можем без волнения читать его проникновенные строки о русской природе:

Клубятся тучи, млея в блеске алом,  
Хотят в росе понежиться поля.  
В последний раз за третьим перевалом  
Пропал ямщик, звеня и не пыля.

В чем же тут дело? А дело как раз в том, что в лирику он вкладывал именно лучшую часть своей души, угадывая чутьем таланта, что его хозяйственные помещичьи интересы не могут быть предметом поэзии. Поэтому о своих тяжбах с крестьянами он писал в статьях, а в стихах воспевал, и воспевал с редкостной проникновенностью, родную природу и не угасавшую в душе жажду чистой любви:

Всю ночь гремел овраг соседний,  
Ручей, бурля, бежал к ручью,  
Воскресших вод напор последний  
Победу разглашал свою.

Ты спал. Окно я растворила.  
В степи кричали журавли,  
И сила думы уносила  
За рубежи родной земли.

Лететь к безбрежью, бездорожью,  
Через леса, через поля —  
А подо мной весенней дрожью  
Ходила гулкая земля.

Читая такие стихи, мы забываем (чего не могли забыть современники поэта), что их писал несимпатичный нам человек. Подчиняясь законам поэзии, он в них поднимался над самим собой, над всем мелочным, что принижало его. Недаром же у него вырвалось признание:

Нельзя заботы мелочной  
Хотя на миг не устыдиться,  
Нельзя пред вечной красотой  
Не петь, не плакать, не молиться.

Акт творчества был для Фета как бы актом самоочищения. Его реакционные статьи давным-давно забыты, а стихи живут и будут жить, приобщая к красоте родной природы все новые и новые поколения читателей, уча их видеть и слышать, как

Плавно у ночи с чела  
Мягкая капает мгла.

Поэзия Фета — это поэзия неутомимой жажды жизни, неутомимого стремления понять и вобрать в себя всю ее красоту:

Все, все мое, что есть и прежде было,  
В мечтах и снах нет времени оков;  
Блаженных грез душа не поделила:  
Нет старческих и юношеских снов.

За свою влюбленную верность природе муза Фета была наделена редкостным зарядом душевного здоровья, без которого ей невозможно было бы подниматься над кричащими противоречиями человеческого, а точнее — житейского его облика. Такое душевное здоровье особенно поразительно в поздней лирике Фета, где оно брызжет из каждой строки:

Покуда на груди земной  
Хотя с трудом дышать я буду,  
Весь трепет жизни молодой  
Мне вятен будет отовсюду.

Этот «трепет жизни молодой» и придает поэзии Фета неувыдаемую прелесть.

Глубоко прав был А. М. Жемчужников, писавший в посвященном его памяти стихотворении:

И пусть он в старческие лета  
Менял капризно имена  
То публициста, то поэта,—  
Искупят прозу Шеншина  
Стихи пленительные Фета.

По музыкальности стиха, по богатству и разнообразию красок Фет мало имеет соперников в мировой поэзии. Он намного опередил западных поэтов в умении схватить на лету и закрепить в строке «и темный бред души и трав неясный запах».

Назначение художника он видит в том, чтобы делать мгновенное — вечным, преходящее — непреходящим:

В ваших чертогах мой дух окрылился,  
Правду провидит он с высей творенья;  
Этот листок, что иссох и свалился,  
Золотом вечным горит в песнопеньи.

\* \* \*

Следы влияния Фета можно найти у самых разных русских поэтов двадцатого века, в том числе и у советских, особенно у тех, кто так или иначе соприкасался с изображением природы. Тут можно назвать имена и Блока, и Бунина, и Марша-

ка, и даже Пастернака. Но конечно же наиболее непосредственно Фет влиял на Бунина, так как ему он был близок, говоря словами самого поэта, «по быту, по душе и даже по местности — средней полосе России».

Поэзия Фета помогла Бунину воспитать у себя ту зоркость взгляда, то родственное внимание к природе, которые сделали его первоклассным мастером пейзажа, как в стихах, так и в прозе. Но с другой стороны, усиленная работа над художественной прозой направила и поэтические поиски Бунина в уже иную, чем у Фета, сторону. Бунин в своих стихах менее музыкален, менее праздничен, более привержен подробностям ежедневного будничного быта:

В полях, дадено от усадьбы  
Зимует прясной омет.  
Там табунятся волчьи свадьбы,  
Там клочья шерсти и помет.

Фет в своих стихах слово нередко подчинял общей музыкальной тональности строки, оно у него растворялось, становилось зыбким. У Бунина же слово всегда имеет точный, вполне определенный смысл, никогда не утрачивает своего запаха и вкуса. Участь у любимых поэтов, он чутко прислушивается и к народным песням:

Я — простая девка на баштане,  
Он — рыбак, веселый человек.  
Тонет белый парус на лимане,  
Много видел он морей и рек.

В своей автобиографии Бунин подчеркивал, что он вырос на деревенской околице, дружил с крестьянскими детьми. Поэт пристально всматривался в жизнь и быт деревни, тонко чувствовал поэзию земледельческого труда. Здесь, кроме всего прочего, сказывалось и веяние времени, и своеобразное положение разоряющегося дворянства, к которому принадлежала его семья. К деревне он присматривался не из праздного любопытства. Его интересовали исторические судьбы крестьянства, которые на протяжении веков были связаны с судьбами дворян.

На его стихах это обстоятельство сказалось в меньшей степени, чем на прозе, но и на них наложило известный отпечаток. Его поэзия гораздо демократичнее фетовской. Своими стихами он то и дело вторгается в область прозы, не поступаясь ничем из своих поэтических владений, и в лучших вещах добивается не только полной естественности речи, но и большой эмоциональной напряженности:

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.  
А счастье всюду. Может быть, оно —  
Вот этот сад осенний за сараем  
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем  
Встает, сияет облако. Давно  
Слежу за ним. Мы мало видим, знаем,  
А счастье только знающим дано.

Бунина-поэта у нас долгое время считали эпигоном дворянской поэзии девятнадцатого века, повторяя оценки враждебной ему декадентской критики. Ошибочность такого взгляда теперь уже совершенно очевидна. Эпигон не может быть большим мастером, а Бунин мастер огромный, художник поразительной силы, чувствующий тончайшие оттенки слова. Богатству и точности его языка удивлялись Чехов и Горький.

Лирическая поэма Бунина «Листопад» — одно из самых ярких и тонких по живописи словом произведений русской поэзии. Иногда Бунина называют холодным мастером. Это чистейшее недоразумение. Нельзя принимать строгую сдержанность взыскательного художника за холодность. Разве холодный мастер может так одухотворить природу, как это делает Бунин в своем знаменитом «Листопаде»?

Березы желтою резьбой  
Блестят в лазури голубой,  
Как вышки елочки темнеют,  
А между кленами синеют  
То там, то здесь, в листве сквозной  
Просветы в небо, что оконца.  
Лес пахнет дубом и сосной,  
За лето высох он от солнца,  
И осень тихою вдовой  
Вступает в пестрый терем свой.

Такие стихи надо заучивать в школе наизусть, чтобы ввести детей в поэтический мир родной природы, раскрыть перед ними самоцветные богатства русского слова.

Мы с законной гордостью говорим о языке Тургенева. С такой же гордостью мы теперь можем говорить о языке Бунина как о высшем достижении русской художественной культуры предреволюционной поры.

Первое стихотворение Бунина было напечатано в 1887 году, а первый рассказ появился в свет только через восемь лет — в 1895 году, то есть тогда, когда у него уже сложилось и окрепло свое отношение к слову, то, что мы называем чувством стиля. И потом, на протяжении многих лет напряженной творческой жизни, работа над прозой у него перемежалась с работой над стихами.

Чехов заметил, что все большие русские поэты писали отличную прозу.

Опыт большого поэта не мог не сказаться и на прозе Бунина, особенно на ее языке. Бунин сознательно избегал нарочитой поэтизации прозы, не ритмизировал ее, как делали некоторые его современники, например — Андрей Белый, но лучшие страницы его повестей и рассказов звучат как стихи, напоены тончайшим поэтическим ароматом, пронизаны музыкой.

В свою очередь опыт прозаика помогал Бунину освежать традиционный поэтический язык, преодолевать его окостеневшие штампы. Но, смело вводя в свои стихи заведомые прозаизмы, Бунин не боялся и так называемых «поэтизмов». И здесь сказывалось присущее ему в высокой степени чувство художественного такта и эстетической сообразности, позволяющее пользоваться всеми богатствами языка, не впадая в эклектику. Можно было бы привести немало примеров того, как давно примелькавшиеся, залитературенные слова обретают в стихах Бунина первоначальную свежесть. Я ограничусь одним. Вот небольшое стихотворение, написанное в 1917 году, в пору полной зрелости поэтического таланта Бунина:

Мы рядом шли, но на меня  
Уже взглянуть ты не решалась,  
И в ветре мартовского дня  
Пустая наша речь терялась.

Белели стужей облака  
Сквозь сад, где падали капли,  
Бледна была твоя щека,  
И, как цветы, глаза синели.

Уже полуоткрытых уст  
Я избегаю касаться взглядом,  
Но был еще блаженно пуст  
Тот дивный мир, где шли мы рядом.

Вся пронзительная сила этого удивительного по своей целомудренной чистоте стихотворения сосредоточена в последней строфе, а между тем никаких бросающихся в глаза поэтических находок в ней нет. Наоборот, все там подчеркнуто традиционно — и полураскрытые девичьи уста, и блаженно пустой, да к тому же еще и дивный мир, а нас знобит от свежести бьющего в лицо мартовского ветра, от щемящей зависти к юношескому горю, от радостного сознания, что это счастливого горе не миновало и нас.

В этом-то и заключается секрет настоящей большой поэзии, ее очистительной силы.

Так написать мог только уверенный в себе мастер, которому органически чуждо всякое оригинальничанье, всякое любованье собой. Путей к человеческому сердцу он ищет не для того, чтобы показать себя, а для того, чтобы поглубже осветлить это сердце.

При всем богатстве своего языка, Бунин никогда не стремился удивить читателя редкостным словом или оборотом. Из нескудеющих кладовых литературной и обиходной речи он брал только те слова, без которых не мог обойтись. Что каждое слово хорошо на своем месте — знают и подмастерья, а найти его и поставить — умеют только мастера. Бунин умел это, как редко кто другой даже из первоклассных мастеров.

Современникам трудно было оценить его художественный подвиг.

В годы его молодости тон в литературе

задавали декаденты, а он оставался непримиримым реалистом. И они заслоняли его.

В годы полной зрелости таланта, уже увенчанный академическими лаврами, он совершил роковую ошибку — испугавшись революции, покинул родину и навсегда оторвался от народной почвы. Он вернулся на родину как художник только после своей смерти. Но и это позднее возвращение было большой радостью для всех, кому дороги судьбы русского слова.

\* \* \*

У Анны Ахматовой есть великолепное стихотворение «Когда человек умирает». Поскольку оно имеет прямое отношение к некоторым затронутым в моих этюдах вопросам, я приведу его полностью.

Когда человек умирает,  
Изменяются его портреты.  
По-другому глядят глаза, и губы  
Улыбаются другой улыбкой.  
Я заметила это, вернувшись  
С похорон одного поэта.  
И с тех пор проверяла часто,  
И моя догадка подтвердилась.

В самом деле, когда от нас навсегда уходит человек, все преходящее, суетное, что затемняло, искажало его облик, — исчезает. Остается только то главное, что было сутью человека, и мы можем уже судить о нем по всей справедливости, относиться к нему с полной объективностью.

Мне кажется, что наступило время так отнестись и к Борису Пастернаку, одному из крупнейших русских и мировых лириков двадцатого столетия. Его проза (и в прямом и в переносном смысле слова) не может, не должна заслонять от нас его стихи.

Всеми своими корнями Пастернак связан с высокими традициями русской эстетической культуры начала века. Сын известного художника, он и сам готовился к композиторской деятельности, учился у знаменитого Скрябина. Октябрьская революция дала ему чувство той знобящей новизны мира, которое не покидало поэта

всю жизнь и наполняло его стихи почти физически ощутимой утренней свежестью. Во вступлении к своей лирической поэме «Девятьсот пятый год», кстати сказать остающейся до сих пор одним из лучших произведений советской поэзии на эту тему, он писал:

Еще спутан и свеж первопуток,  
Еще чуток и жуток, как весть.  
В неземной новизне этих суток,  
Революция, вся ты, как есть.

Пастернак создал глубоко поэтический, полный обаяния образ лейтенанта Шмидта. Ему принадлежат замечательные строки о Ленине:

Он управлял теченьем мысли  
И только потому — страной.

Поэзию Пастернак находил везде и всюду. В одном из своих стихотворений, обращаясь к любимой, поэт говорил, что она

Как с полки, жизнь мою достала  
И пыль обдула.

Сам он тоже обдувал пыль повседневности со всех вещей и явлений, чтобы показать их подлинную сущность, их немеркнущую красоту. И когда он говорит, определяя поэзию:

Это круто налившийся свист,  
Это шелканье сдавленных льдинок,  
Это ночь, леденящая лист,  
Это двух соловьев поединок, —

слова его не следует понимать буквально, в том смысле, что только к этому и сводится поэзия. Речь идет о свежести восприятия мира во всех его подробностях. Его никогда не покидало ощущение незримого присутствия близкого будущего. Даже о своей любимой он писал:

Тихину шагами мера,  
Ты, как будущность, войдешь.

Пастернак мог заблуждаться в оценках тех или иных явлений современности, но он никогда не отделял себя от родины, от взрастившей его культуры.

Среди учителей Пастернака были разные поэты, в том числе и западные, такие, как, например, Рильке, но прежде всего в

его творчестве прослеживается преемственность русских эстетических традиций. Уменью схватывать на лету и закреплять в стихах неповторимый трепет жизни он учился у Фета и отчасти у Анненского. Полной раскованности поэтической речи — у Бунина. В своей ритмике он использовал находки Брюсова и Блока, Вячеслава Иванова и Андрея Белого, а кое в чем даже Игоря Северянина. Но, может быть, самое существенное влияние на формирование творческой личности Пастернака оказала не поэзия, а музыка, и прежде всего музыка его учителя и кумира Скрябина.

Многие ранние произведения Пастернака построены по законам музыкальной композиции. Вспомним хотя бы «Темы и вариации». Это резко выделяло его стихи, но одновременно и усложняло, затрудняло их восприятие.

Предпочитая смысловому значению слова его звучание, поэт захлебывался от обилия нахлынувших вдруг ассоциаций и впадал в косноязычие. К счастью, он скоро понял, что здесь не сила его, а слабость. Стремлением к преодолению этого косноязычия определяется весь его дальнейший путь. Первые победы на этом пути принесли ему поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». Потом, в книге «Второе рождение», он скажет:

Теперь не сверстники поэтов,  
Вся ширь проселков, меж и лех  
Рифмует с Лермонтовым лето  
И с Пушкиным гусей и снег.

Все поиски зрелого Пастернака были направлены в сторону высокой пушкинской простоты и лермонтовской эмоциональной сосредоточенности.

Предвоенные и военные стихи уже не дают повода говорить о непонятности, зашифрованности Пастернака. В них появляются прозрачные, акварельные тона:

Октябрь серебристо-ореховый,  
Блеск заморозков оловянный.  
Осенние сумерки Чехова,  
Чайковского и Левитана.

В послевоенных стихах Пастернак достигает той ясности, которая свойственна

позднему лету и ранней осени, времени полного созревания плодов:

Лист смородины груб и матерчат.  
В доме хохот и стекла звенят.  
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,  
И гвоздики кладут в маринад.

Само собой разумеется, что путь от нарочитой усложненности к высокой простоте не был у Пастернака прямым и ровным. На этом пути поэт не раз сбивался и спотыкался, но избрал он его не только по велению времени, а и по велению своей художнической совести, ибо:

В родстве со всем, что есть, уверяюсь  
И зная с будущим в быту,  
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,  
В неслыханную простоту.

Искусство поэзии было для Бориса Пастернака подвигом самоотдачи. По характеру своего таланта и по особенностям своего мировоззрения Пастернак не умел, да и не стремился быть летописцем своего времени, откликаться на все события быстройтекущей жизни. Но как большой и честный художник, глубоко любящий родину, он передавал в своих стихах самый воздух времени — грозовой воздух русской революции.

Художнику не дано выбирать для себя время. Оно дается ему волей исторических судеб. И он никуда не может уйти от него. Вне времени и пространства живут только тени. Борис Пастернак отнюдь не был похож на тень.

Любил, и я знаю: как мокрые пожни  
От века положены году в подножье,  
Так каждому сердцу кладется любовью  
Знобящая новость миров в изголовье.

Эти строки Пастернак написал на утренней заре жизни, но он мог бы повторить их и на вечерней. Ощущение новизны мира не покидало его до конца дней. Это же ощущение понесут его стихи и будущим поколениям. Для них оно будет главным в поэзии Пастернака, о котором так хорошо сказала Анна Ахматова:

Он награжден каким-то вечным детством,  
Той щедростью и зоркостью светил,  
И вся земля была его наследством,  
А он ее со всеми разделил.

\* \* \*

Творческий путь Анны Ахматовой является нам редчайший в истории мировой литературы пример неукротимой воли поэта к самовозрождению. Критика не раз заживо хоронила ее, как явление, давно отошедшее в прошлое, а она вдруг представляла перед новыми поколениями как их современница. Ее удивительная жизнестойкость заставляла нас забывать о ее возрасте. Иногда нам начинало казаться, что, возрождаясь, она как бы начинает жизнь сначала и что так будет без конца. И когда Анна Ахматова умерла, мы с трудом поверили в это. Провожая ее в последний путь, мы, преодолевая боль невозвратной утраты, с небывалой остротой ощутили, как дорога она всем, кому не безразличны судьбы русской, да и не только русской культуры, кто верит в очистительную силу слова, слышит в нем голос совести.

На поэзии Ахматовой лежит печать неповторимой, чисто русской мужественной женственности.

Критика часто называла ее камерной. Но так поэзия Анны Ахматовой может быть названа только в том единственном смысле слова, что она говорила с читателями доверительно. Но ведь именно за это ее и любили читатели, хорошо знавшие, что от нее они не услышат ни одного фальшивого слова. О чем бы она ни говорила — о радостях ли и горестях любви, о трудном ли и святом своем ремесле, о бессмертных творениях искусства или скромных полевых просторах, — она говорила только то, чего не могла не сказать, что выношено в сердце и оплачено дорогой ценой многих бессонниц.

На долю Ахматовой выпала трудная, но в то же время и завидная участь. Она с полным правом могла бы отнести к себе знаменитые тючевские строки:

Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые.

Начав свой путь в одной из декадентских, оторванных от большой народной жизни групп предреволюционной поры, она мужественно прошла через великие испытания суровой революционной эпохи и вышла на большую дорогу гражданской поэзии в пушкинском смысле этих слов.

Среди ранних произведений Анны Ахматовой есть одно весьма примечательное стихотворение, дающее ключ к пониманию всего ее дальнейшего пути. Вот это стихотворение, помеченное 1913 годом:

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,  
О смерти господя моля,  
Но все мне памятна до боли  
Тверская скудная земля.

Журавль у ветхого колодца,  
Над ним, как кипень, облака,  
В полях скрипучие воротца,  
И запах хлеба, и тоска.

И те неяркие просторы,  
Где даже голос ветра слаб,  
И осуждающие взоры  
Спокойных загорелых баб.

Этих осуждающих взоров Анна Ахматова не забывала никогда, о чем бы она ни писала. Именно они помогли ей в самые трудные дни не заблудиться, не потерять родины. И еще — кровная связь с лучшими, пушкинскими традициями русской поэзии. Теми традициями, которые можно определить одним словом: совесть!

Одни глядятся в ласковые взоры,  
Другие пьют до солнечных лучей,  
А я всю ночь веду переговоры  
С неукротимой совестью моей.

Неукротимая совесть! Как это характерно для поэзии Анны Ахматовой от первых до последних книг, для ее любовной и гражданской лирики, если следовать общепринятому делению. Совесть ее поэзии неразрывно связана с чувством родной земли, с глубоким сознанием своей ответственности перед родиной и народом, перед великими завоеваниями человеческой культуры. Именно здесь истоки высшего гуманизма ее любовных стихов,

свободных от всякого наигрыша, всегда предельно искренних и предельно благородных, написанных кровью сердца:

Не для страсти, не для забавы,  
Для великой земной любви.

Здесь же и корни ее гражданственности, с особой силой проявившейся накануне и в дни Великой Отечественной войны, а также в послевоенные годы. Уже в сороковой году Ахматова создала потрясающие стихи «Двадцать четвертая драма Шекспира» и «Когда погребают эпоху» — о трагедии Западной Европы, растоптанной фашистским сапогом. Когда же пробили час испытаний и для России, ее стихи зазвучали как клятва, клятва верности и мужества:

И та, что сегодня прощается с милым,  
Пусть боль свою в силу она переплавит.  
Мы детям клянемся, клянемся могилам,  
Что нас покориться никто не заставит.

Патриотические стихи Анны Ахматовой могли показаться неожиданными только для тех, кто подходил к ее творчеству с предвзятыми вульгарно-социологическими или иными мерками.

В послевоенные годы она, уже прожившая долгую и сложную жизнь, создала наиболее зрелые свои книги, которые озаряют новым светом все ее творчество. Для последних ее стихов и лирических поэм характерно углубленное, я бы сказал, историческое осмысление пройденного пути.

До самых последних дней поэзия Анны Ахматовой набирала высоту. И в этом была одна из удивительных особенностей ее нестареющего таланта, который все время рос, мужал, обогащался, ничего не теряя из того, что было приобретено в молодости. С годами она становилась все более умудренной пережитым, но отнюдь не становилась менее непосредственной. Душа ее оставалась до конца открытой всем радостям и горестям жизни. Каждое новое стихотворение Ахматовой радовало любителей поэзии не только своей глубиной, но и свежестью.

Сюда принесла я блаженную память  
Последней невесты с тобой —  
Холодное, чистое, легкое пламя  
Победы моей над судьбой.

Победа над судьбой досталась Ахматовой не легко, но зато это подлинная победа большого и честного таланта. Такая победа всегда становится общей победой искусства над носостью и предрассудками. Художнику она приносит вторую молодость. Вот почему люди разных поколений считали Анну Ахматову своей современницей. Такой же современницей она останется и для будущих поколений. Она всегда будет пленять читателей высоким благородством своей поэзии, потрясать своей неукротимой совестью:

\* \* \*

В своих кратких лирических этюдах, отнюдь не претендующих на исчерпывающую полноту критических характеристик, я рассказал только о четырех поэтах, творчество которых переосмысливается временем заново.

Ни с чем не сравнимые богатства нашей поэзии не дают нам оснований быть расточительными. Мы очень богаты, но мы можем и должны быть еще богаче. Ведь народ наш трудится не жалея усилий во имя полного изобилия как материальных, так и духовных благ.

Поэзия — душа народа.

Лирика, по словам Белинского, «есть душа всякой поэзии».

Повышенный интерес к лирической поэзии в наше время отнюдь не случаен. Он является показателем духовного роста народа, познавшего в великих испытаниях и свершениях цену человека.

Мы заново открываем и принимаем как свое достояние сокровища лирической поэзии предшествующих эпох. Но мы не вправе забывать, что у нас созданы свои сокровища, которыми может похвастаться любой народ и любая эпоха.

Мы не имеем права обеднять себя. Все, что достойно внимания народа, должно быть собрано и возвращено ему. Он за это будет только благодарен.

## НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО В. Г. КОРОЛЕНКО

В 1886 году Владимир Галактионович Короленко писал гимназисту Константину Бальмонту: «У вас много шансов стать хорошим стихотворцем — легкость и звучность стиха, изящество формы и лиризм. Но... есть и «но»... Нет еще настоящего поэтического содержания...» Бальмонт всю жизнь был благодарен Короленко за внимательное и строгое письмо, а после смерти писателя напечатал воспоминания о нем, озаглавленные «Видящие глаза».

В обширной литературной переписке Короленко есть ряд писем к поэтам. Недавно в Отдел рукописей Государственного литературного музея поступило

неизвестное письмо Короленко, адресованное Полине Вениаминовне Гальпериной, приславшей писателю в 1917 году тетрадку своих стихов.

Ответ писателя характерен мудрой простотой. Главная мысль этого письма, как и других писем Короленко о стихах, заключается в том, что у настоящего поэта должно быть недовольство собой. «Если через год-два увидите сами, что эти стихи плохи, и в чем плохи, — писал Короленко в 1911 году Е. И. Студенцовой, — тогда пытайтесь вновь. А если не увидите своих недостатков, — значит, у Вас ничего не выйдет» («В. Г. Короленко о литературе». М., 1957, стр. 573—574).

Публикация А. В. Храбровицкого

17 дек. 1917

*Многоуважаемая г-жа Гальперин.*

*Мне присылают много стихов. Часто они бывают написаны недурно, как и Ваши, но писать о них подробные отзывы трудно. Еще труднее определять по первым опытам присутствие или отсутствие дарования. Здесь все зависит от движения вперед или остановки. Если автор чувствует свои недостатки, недоволен собой, стремится к лучшему, то возможно, что стихи не останутся простой забавой для альбомов, а станут серьезным делом.*

*Но это случается не часто. Будет ли у Вас — не знаю. Недостатков еще много. Рифмы чисто хромают («листья — любви», «волнения — веселья», «прекрасная — мрачная» и др.), порой не совсем выдержан размер и хотя кое-где пробивается настроение, находящее свою форму, но в стихах мало яркости, выразительности и силы. Если Вы сами это чувствуете, — добивайтесь лучшего. Если же этого недовольства достигнутым у Вас нет, если Вас удовлетворяет легкое достижение и в воображении не носится смутное и дразнящее представление о том, что можно и нужно было бы выразить все это ярче, звучнее и лучше, — тогда, значит, поэзия для Вас серьезным делом не станет.*

*Вот все, что могу сказать по поводу присланной Вами тетрадки стихов.*

*Желаю всего хорошего.*

*Вл. Короленко*

# Борис Шиперович

## В БИБЛИОТЕКЕ БРЮСОВА

Проспект Мира, 32. На старинном особняке — мемориальная доска: «В этом доме жил, творчески работал и умер В. Я. Брюсов — поэт, историк, член ВКП(б) (1883—1924)».

Просторный, скромно обставленный кабинет сохранился таким, каким был при жизни поэта. За большим без всяких украшений письменным столом неустанно творил великий труженик литературы. Когдаходишь сюда, невольно представляешь себе самого Брюсова — сурового, деловитого, со скуластым монгольским лицом, в скромном, застегнутом на все пуговицы пиджаке. Таким изобразил его Врубель.

Вдоль стен — бесконечные стеллажи книг. Разные эпохи, разные страны, десятки языков. В единственном стеклянном шкафу, который стоит против письменного стола, находятся книги самого Брюсова. Кроме книг там хранятся журнальные отisky его статей, стихов и рецензий. У входа в кабинет, на длинных полках лежат сотни подаренных Брюсову изданий. Не раз я стоял у этого неповторимого собрания, внимательно рассматривая каждую книгу. Автографы А. Блока, А. Белого, М. Волошина, Ф. Сологуба, М. Кузмина, И. Северянина, К. Бальмонта, С. Есенина, В. Маяковского. Они разные, эти автографы. В них сразу угадывается темперамент того или иного поэта, даже его манера. На книге «Громокипящий кубок», пользовавшейся в то время шумным успехом, Игорь Северянин сделал «громокипящую» надпись: «Великому Валерию Брюсову бессмертно его Игорь Северянин». Максимилиан Волошин написал: «Явь наших снов земля не истребит». В ответ на подаренную ему Брюсовым книгу «Зеркало теней» Блок прислал автограф стихотворения:

...Вновь причастись души неистой,  
И яд, и боль, и сладость пей.  
И тихо книгу перелистывай,  
Впиваясь в зеркало теней...

Когда вышли «Стихи о Прекрасной Даме», Блок сделал на книге такую надпись: «Законодателю русского языка, Кормщику в темном плаще, Путеводной звезде, Глубокоуважаемому В. Я. Брюсову, в знак преклонения». А на книге «Снежная маска» Александр Блок написал: «Венценосному певцу снежных высот В. Я. Брюсову с глубоким уважением и благодарностью — всегда внимательный и всегда преданный ученик А. Блок». Но, пожалуй, самыми замечательными были пометки Брюсова на полях этих книг. Они говорили прежде всего о той высокой требовательности, какую предъявлял Брюсов к поэзии, к каждой стихотворной строке. Он был строгим учителем, и советы его отличались большой искренностью и принципиальностью. Он критиковал и признанных в то время поэтов и тех, кто еще только начинал свой поэтический путь. В дальнейшем все эти замечания, оценки вошли в книгу Брюсова «Далекое и близкое». Приведем некоторые из этих пометок. Просмотрев книгу Северянина, Брюсов сделал на полях немало замечаний. Судя по всему, ему не понравилось предисловие Ф. Сологуба, расхвалившего Северянина. «Появление поэта радует, и когда возникает новый поэт, душа бывает взволнована...» Возле этих строк — пометка Брюсова: «Поэт — да, но какой поэт!» Не нравились Брюсову напыщенность и вычурность некоторых стихов Северянина. Он считал, что поэт засоряет русский стих. Брюсов подчеркнул такие строки: «Драпри стволы в туманную тунику», «Демионденка и лесофея». Чужды были Ва-

лерию Яковлевичу и так называемые «программные» стихи вроде:

Да, я влюблен в свой стих державный,  
В свой стих изысканно-простой,  
И льется он волною плавно  
В пустыне чахлой и пустой.

Возле последней строки Валерий Яковлевич написал: «Пушкин».

Брюсов стал собирать книги с юношеского возраста, когда жил еще на Цветном бульваре в домике своего отца. Там жил и его дед, кстати сказать хорошо знавший Пушкина. Небольшая комнатка молодого Брюсова была вся заставлена книгами. Вначале он увлекался Г. Эмаром, Жюль Верном, Э. По. Но постепенно круг интересов Брюсова расширялся. Его начали привлекать книги о научных открытиях. Он не расставался с книгой Тиссандье «Мученики науки», его захватывали книги и по философии, в частности Куно Фишер и Спиноза. С годами появились новые увлечения. Он стал собирать книги французских поэтов Верлена, Малларме, Рембо, Бодлера. Спустя несколько лет Брюсов становится обладателем богатейшего собрания книг по самым разнообразным отраслям знаний. Критик А. Измайлов, побывавший у Брюсова в 1910 году, так описывает библиотеку поэта:

«Библиотека в его кабинете, но опять непохожая на библиотеки типично московских любителей. След действительно работающего человека лежит на этой библиотеке».

Брюсов бережно относился к книгам и не любил их давать даже на небольшой срок. Жанна Матвеевна Брюсова рассказывала мне, как однажды к Брюсову приехал Бунин.

— Бунин приехал с Бальмонтом неожиданно, — вспоминает она. — Мы их не ждали. Брюсов был очень занят, но работу все же отложил. Пробыли они у нас недолго. Разговор явно не клеился. Бунин пристально рассматривал библиотеку.

— Не дадите ли мне, Валерий Яковлевич, дня на два «Мудрость» Верлена?

Валерий Яковлевич в первую минуту растерялся, но потом сухо ответил:

— Своих книг я никому не даю...

Тем не менее, замечает Жанна Матвеевна, Брюсов иногда кое-кому книги все же давал. Как видно, Бунин его тогда чем-то раздражал.

Брюсов владел двенадцатью языками. В его библиотеке были подобраны почти все издания Шекспира, Шиллера, По, Байрона, Гейне, Шелли, Уайльда, Вольтера, Дидро, Бальзака. Довольно полно была представлена древняя литература — произведения Аристотеля, Сократа, Вергилия, Платона и многих других. Здесь хранились и так называемые раритеты: одно из первых изданий Данте «Vita Nova», редкие издания Эразма Роттердамского, Байрона, Сервантеса.

В русском разделе хранились ценнейшие издания древнерусской литературы, начиная от «Слова о полку Игореве». Больше всего меня поразила пушкиниана. С какой любовью были представлены книги о Пушкине! У Брюсова были все первые издания Пушкина, в том числе и первое и последующие издания «Евгения Онегина», «Повестей Белкина», «Египетских ночей» и др. Валерий Яковлевич был одним из крупнейших знатоков Пушкина. Он знал наизусть все стихи Пушкина в различных вариантах. Память его была поистине поразительной. Однажды из Парижа приехал Онегин — известный пушкинист, обладавший ценнейшими изданиями и автографами Пушкина. Вечером у него собрались поэты, писатели, критики. Приехал и Валерий Яковлевич. Онегин показал гостям варианты глав «Евгения Онегина», еще не опубликованные.

— Брюсов, — рассказывает Жанна Матвеевна, — был возбужден и взволнован. Ему хотелось очень переписать эти главы. Но Онегин не соглашался. Тогда Брюсов попросил Онегина дать ему почитать. Онегин согласился. Валерий Яковлевич прочитал весь текст и тут же, к

удивлению присутствующих; продекламировал его наизусть.

Бывая часто за границей, Брюсов посещал книжные магазины, знакомился с книгопродавцами, букинистами. В Париже он встречался с известными писателями и поэтами. Ему дарили свои произведения Поль Верлен, Шарль Вильдрак, Жан Ришпэн, Ромен Роллан, Жюль Ромен и, конечно, Верхарн, с которым он был дружен и стихи которого перевел.

Перечислить все книги библиотеки невозможно, — их тысячи. Жанна Матвеевна так и не могла назвать мне точную цифру. В трех тетрадках Валерия Яковлевича собственноручно перечисляются разделы библиотеки, они дают некоторое представление о масштабах библиотеки. В первой тетрадке — такая запись: «Последний вариант 1918—1919. Языковедение. Словари и Энциклопедии. Рим: Всеобщая история. Русская история. Окультурные науки. Точные науки. Античные переводы. Русская литература. Собрание сочинений писателей до конца XIX века. Проза. Поэзия. Поэты. Прозаики. Стихосложение. Французская литература. (Авторы до конца XIX века.) Немецкая, английская, итальянская, французская, испанская, голландская, чешская, польская. Переводы с этих языков. Восточная литература. Искусство. Эстетика. Художественные издания».

Некоторое время назад Жанна Матвеевна передала архив В. Я. Брюсова в Государственную библиотеку имени В. И. Ленина. Мне посчастливилось незадолго перед этим познакомиться с архивом. Он размещался в черных картонных ящиках, которые стояли возле книжных полок. Архив был разложен в строгом порядке, по системе, выработанной самим Брюсовым. В одних ящиках хранились рукописи, в других — черновые наброски, заметки. Жанна Матвеевна открыла одну коробку. В ней оказалась рукопись книги «Urbi et Orbi» («Граду

и миру»). Книги, которую так любил А. Блок. Он писал: «Каждый вечер я читаю «Urbi et Orbi». В ящиках также хранились рукописи книг «Tertia Vigilia» («Третья стража») и «Mea». В других ящиках — незаконченные варианты рукописей. Так, одна из них — «Спешу» (1922—1924) — последний сборник стихов, подготовленный поэтом незадолго до смерти и вышедший в свет в день его похорон.

Брюсов был эрудитом, прекрасно осведомленным в различных областях знаний. Об этом свидетельствует его неопубликованная пьеса «Арго», в которой говорится о постройке космического корабля, о полете на Луну. Различным космическим проблемам посвящены многие его поэтические произведения. Обращаясь к будущему, он писал в стихотворении «Семь цветов радуги»:

Вы Властелины Марса иль Венеры...

В одном из ящиков Жанна Матвеевна берегла стенограмму выступления Валерия Яковлевича на праздновании 50-летия В. И. Ленина в Доме журналиста и перепечатанное на машинке «Приветственное слово В. И. Ленину, зачитанное Брюсовым от лица деятелей русской художественной литературы».

В архиве собраны документы о деятельности Брюсова в первые годы советской власти. Это были кипучие годы. Он работал в Наркомпросе, читал лекции на Высших литературных курсах, много выступал.

Просматривая книги, принадлежащие Брюсову, знакомясь с его архивом, еще раз восхищаешься личностью замечательного художника, труженика, отдавшего все свои силы и талант строительству нового, социалистического мира. И вспоминаешь невольно его строки:

В мире слов равнообразных,  
Что блестят, горят и жгут, —  
Золотых, стальных, алмазных —  
Нет священной слова «ТРУД».

# В. Ланина

## ФЕТ ВИНОКУРОВА

Среди несомненных для всех достоинств его поэзии поражает одно.

Не только изобразительная сила слова — сила изобразительности, опять и вновь удивившая в книге «Характеры». Красота его стиха. Не только напряженные поиски мысли, а и неприукрашенное, открытое отражение в стихе мучительного процесса познания.

Почитатель таланта Винокурова с того первого дня, когда появилась «Скатка», — а с того дня прошло уже двадцать лет, — всегда я трепетно открываю его новую книгу. И все эти двадцать лет радуюсь оптимизму его взгляда на мир.

Но, должно быть, оно дорого досталось, это душевное здоровье!

Винокуров написал однажды, что слово его родилось из рыдания. «Трагическая тень лежит под каждую травинку в поле»... Винокуров принадлежит к поколению, которое застало еще войну. И тогда и в последующие, нелегкие годы, когда история предстала перед нами на изломе, все сильнее ощущали мы «трагическую подоснову мира». Но, как говорит об этом сам поэт, этой боли сопутствует счастье добывающей истину мысли.

Эти несколько слов написала я, когда поступила в продажу книга лирики — сборник стихотворений Фета. Сборник, составленный Винокуровым, и с его же предисловием. Совершенно неожиданный, неожиданно прочитанный Фет.

Выпущенный в серии «Сокровища лирической поэзии», он составлен не так, как хотел того для своего полного собрания сам Фет, располагавший стихи по разделам тематического и жанрового характера. Винокуров составил томик лирики Фета по хронологическому прин-

ципу. Предисловие составителя коротко и полемично.

Винокуров счел ненужным напоминать о том, что взгляды на творчество Фета, которые он оспаривает, были в свое время высказаны не только Писаревым, но, к примеру скажем, и Боткиным, хотя и с позиций прямо противоположных, и что радикалы и эстеты противопоставляли музу «легкой мечтательности» — «музе мести и печали». Атмосфера так была порой накалена, что по одному только отношению к одной только строке «шепот, робкое дыханье» уже брались судить о политических пристрастиях. Но в конце концов не только во времена Фета так было...

Появившаяся ныне книга стихотворений Фета — сами увидите — нова. Таким вы его еще не читали.

«Через все творчество Фета, то загибая, то громко звуча, проходит одна отчаянная, рыдающая нота, одна звонкая трагическая доминанта, — и тот, кто не чувствует этой струны, тот не чувствует Фета, ибо все остальные мотивы найдутся как бы на периферии его творчества и подключены как есть к этой основной линии высокого напряжения». Так пишет в предисловии Винокуров.

И далее он пишет: «Преодоление трагедии, сублимация ее в радость, я бы сказал, в драматическую радость, в гармонию — сильнейшая сторона поэзии Фета».

Да, нужно было, чтобы за это взялся Винокуров, чтобы появился для всех нас новый Фет.

«Не идиллик, как принято его считать, не певец безмятежных сельских радостей, а поэт напряженный, динамичный, «дерзкий».

Тот Фет, которого вы теперь прочтете,

действительно такой. Тот, каким почувствовал его другой поэт.

Гармоническую, мощную, могучую силу Фета любил Толстой. Это он, Толстой, и сказал первым это слово: «дерзкий». «Лирическая дерзость,— писал он о Фете,— свойство великих поэтов». Фета очень любил и ценил Блок. Но потребовалось еще и сделать это, оказалось необходимым пересмотреть былые издания и отобрать и выделить это — крупное, величественное. Заново прочесть Фета и заново составить. Для других!

В одном из поздних своих стихотворений Фет писал:

Бежать?— Куда? Где правда, где ошибка?  
Опора где, чтоб руки к ней простерть?  
Что ни рассвет живой, что ни улыбка,—  
Уже под ними торжествует смерть...

В творчестве большого поэта трагическая нота всегда связана с ощущением времени... По своим взглядам Афанасий Афанасьевич Фет был человеком весьма консервативным. Что, разумеется, отмечено и в предисловии составителя. Но слово это — консервативный,— вроде бы и не имеющее сегодня той былой политической окраски, во времена Фета явилось бы синонимом недемократических, реакционных взглядов. Я имею в виду не только шестидесятые годы, когда идейное размежевание выявилося с особенной ясностью, но и восьмидесятые, потому что как раз в период крайней реакции и связанной с ней душевной растерянности людей и приобрел Фет свою наибольшую прижизненную популярность, и его эпигоны и подражатели из молодых почитали его тогда своим учителем в «школе чистого искусства». Философские и гражданские воззрения этого гениально одаренного поэта расходились с передовыми идеями его времени. Как и бывает

в подобных случаях у человека, наделенного природой истинным талантом, такое расхождение не может не оказаться пусть самым поэтом и не осознанным, но постоянным возбудителем той трагической струны, которую так хорошо услышал Винокуров.

Но сам Винокуров, как составитель книги, основываясь только лишь на темах стихотворений Фета, связывает эту, как он ее называет, трагическую доминанту всего творчества Фета — с одним только лишь горестным эпизодом несчастливой юношеской любви поэта к Марии Лазич. Так полагает Винокуров. Но если Винокуров в этом, видимо, и неправ,— составил он Фета превосходно. Никто и никогда не убедит вас теперь, что Фет был «певцом безмятежных сельских радостей» и что музу его отличала «неопределенность мечтаний». Незначительное и неглавное не помешает вам, если вы не знали Фета, увидеть его в первый раз таким, каков он есть на самом деле. Поэтом мужественного, светлого взгляда на мир и редкого душевного здоровья, того душевного здоровья, которое бывает достигнуто, как справедливо и говорит об этом Винокуров, не только несмотря на внутренний преодолеваемый трагизм, но и благодаря ему. Благодаря преодолеваемому трагизму.

«Один из самых «солнечных» поэтов мира» — так написал о нем Винокуров.

Я менее всего хотела бы, чтобы из сказанного здесь сделали новое поспешное заключение — о том, что поэт Винокуров связан, дескать, не с Боратынским, как повелось у нас утверждать после выхода его книги «Слово», а с Фетом... Цель моя была совсем простая. Я хотела, если мне это только удалось, написать, привлечь читательское внимание к мыслям, которые высказал поэт.

# Дмитрий Голубков

## УРОКИ ЕВГЕНИЯ БОРАТЫНСКОГО

Уроки Боратынского? В наше-то время?

Что греха таить — сегодня Боратынский кажется иногда гораздо старше, «мраморней» не только младшего своего современника Лермонтова, но и Пушкина, родившегося годом раньше, и даже Карамзина. В самом деле — все эти «сей», «пря», «одинакие криле», «очеса», Борей и Эолы, Армиды и Камены... И эта величаявая спокойность, отдающая холодком. И настойчиво повторяемые мысли о роке, о смерти — «всех загадок разрешеньи и разрешеньи всех цепей». И открывенно романтические, кававшие архаичными уже в начале тридцатых годов прошлого столетия, сюжеты поэм... Даже пронизательный Белинский сказал вскоре после кончины автора «Сумерен»: «Поэзия Боратынского — не нашего времени»... Круг почитателей «певца пиров и грусти томной» стремительно сужался: уже в середине тридцатых годов, при своей жизни, Боратынский оказался в числе полузабытых поэтов...

Большинству окружающих он представлялся улыбчивым, уравновешенным человеком, довольным (особенно в последние свои годы) и положением в свете, и ничем не омрачимым семейным счастьем. Как поэт его знали и помнили немногие. Он и сам «не лез» ни в знаменитости, ни в гении. Повествуя в одном из писем о своей странной, весьма неблагоприятной молодости, он простодушно признается: «Все это служит пищей гению; но вот беда: я не гений». В другом письме он кается, что не отвечал так долго своему приятелю не из-за недосуга, не из-за лени даже — а «т а к». И замечает вскользь: «Эт о т а к — русский абсолюте, но толковать его невозможно».

Казалось бы, довольно заурыдная био-

графия и завидно ровное творчество, из которого, впрочем, широкому читателю памятно разве что несколько афористически-эффектных строчек, раздерганных по эпиграфам, да стихотворение «Весна, весна! Как воздух чист...», заучиваемое в школе без двух последних строф.

Казалось бы...

Он писал в 1825 году, будучи еще очень молодым:

Взгляни на лик холодный сей,  
Взгляни: в нем жизни нет;  
Но как на нем былх страстей  
Еще заметен след!  
Так ярый ток, оледенев,  
Над бездною висит,  
Утратив прежний грозный рев,  
Храня движенья вид.

Рожденный своим временем, он писал о нем и погиб, сраженный его ледяным дыханием. Умер не на дуэли, не на эшафоте, не от пули в спину — умер «своею смертью». Погиб от кислородного голодания — употребим этот сегодняшний термин.

В раннем отрочестве он томился жаждой дела, мечтал о подвиге. Пятнадцатилетним мальчиком он пишет матери из Пажеского корпуса: «Нет, непрерывный покой не может назваться жизнью... мне всегда нужно что-либо опасное...» И дальше он с горячечной страстностью представляет себя «стоящим на палубе, как бы повелевающим разъяренному океану».

Необузданное воображение и вольнолюбие, презрение к прозе бытия, которой был пронизан казенный казарменный Петербург, понуждало отрока к поступкам опримечивым. В корпусе Боратынский, как бы назло кому-то, свел дружбу с самыми отпетыми ослушниками — и в первые же месяцы зарекомендовал себя как

опасный смутяи. Юношу с позором изгоняют... Униженный и ошельмованный, он некоторое время «мотается» по Петербургу. Но все двери закрылись перед ним. Вследствие высочайшего царского повеления он мог поступить лишь на военную службу, и только рядовым... Начинается темная, безрадостная полоса, длящаяся пять лет — до получения первого офицерского чина.

Так, задолго до Лермонтова, Полежаева и Шевченко, Евгений Боратынский открыл список поэтов, обреченных солдатчине.

А ведь все это случилось еще в пору царствования Александра «Благословенного», гуманного государя, чуть ли не вольнодумца в семье российских царей, любимейшего внука «либеральной» Екатерины! Ведь сам Пушкин в ту пору жил еще иллюзиями начала века, иллюзиями, унаследованными от русского восемнадцатого столетия, такого суматошного, такого бодрого, такого обнадеживающего... Пушкин успел родиться в том веке, в 1799 году, и целые полтора года — пусть и младенческие — дышал его воздухом. Но Боратынский, увидевший свет годом позже, уже весь принадлежит девятнадцатому веку, первой его половине — поре разубверений и сумерек. Даже в юношеской любовной элегии, напоминающей изящные вздохи Батюшкова, звучит эта скорбная нота разочарованности и усталости:

Уж я не верю увереньям...  
Забудь бывалые мечты...

Он казался веселым — и признавался в письме к близкому другу: «Во мне веселость — усилие гордого ума».

Он поражал родных избытком жизненной силы, размахом хозяйственных забот — и писал:

Зима идет, и тощая земля  
В широких лыжинах бессилья...

Перед тобой таков огненный свет,  
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!

Он пытался спрятаться от времени в книгах, в «чистом искусстве», в уладах

семейного и хозяйственного быта. Но жизнь, но время настигали повсюду, облучая душу, расщепляя сознание. «Раздробительный ум Боратынского», — обмолвился Вяземский... С небывалой до него мощью Боратынский проникал в мучительные тайны века, стремился распытать роковые загадки бытия:

Две области: сияния и тьмы  
Исследовать равно стремились мы...

Нам надобны и страсти и мечты,  
В них бытия условие и пища;  
Не подчинишь одним законам ты  
И света шум, и тишину кладбища!

Нет на земле ничтожного мгновенья...  
Век шествует путем своим железным...

Век шествовал железным путем... Расправа с декабристами и казнь вождей движения — товарищей и единоверцев поэта. Закрытие вольнолюбивой «Литературной газеты» Дельвига — и последовавшая за ним смерть самого Дельвига, задушевного собрата Боратынского. Правительственное запрещение прогрессивного журнала «Европеец», где намеревался сотрудничать в качестве критика-полемиста Боратынский. Гибель Пушкина, воспринятая Боратынским как «общественное бедствие». Время мертвело — и мертвило. Оно заботливо разъединяло лучших людей русской интеллигенции. Боратынский чувствовал, что мертвеет сам. Даже в анакреонтическом стихотворении «Звезды» — альбомном «пустячке», как бы продолжающем традицию юношеских «Пиров», ощущается что-то судорожное, насильственно старающееся казаться веселым, беззаботным:

Мою звезду я знаю, знаю,  
И мой бокал  
Я наливаю, наливаю,  
Как наливал...

Боратынский любил и умел рисовать. В сохранившихся набросках есть один, изображающий не то монаха, не то старого рыцаря. Худое, скульптурное, скорбное лицо, поразительно напоминающее последний портрет Блока.

Как тяжко мертвецу среди людей  
Живым и страстным притворяться...

Бессильное и властное «так», этот «русский абсолют», цепенило волю и сознание поэта.

«Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным... Будем писать не печатая», — устало вздыхает Боратынский. Он готов сдаться. Он побежден...

Но он был слишком сильной натурой. Он все-таки был гений — вопреки своему искреннему убеждению. И угрюмое, усталое спокойствие его стиха вдруг взрывалось яростной, тираноборческой неистовостью:

Волнуйся, восставай на каменные грани;  
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,  
Как зов к давно желанной брани,  
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.  
(«Буря»)

Многие в России наизусть читали его хлесткие эпиграммы на свирепого Аракчеева, на продажного фискала Булгарина.

Литератор-осведомитель Каразин в своем доносе называл имя Боратынского рядом с именами Пушкина и Кюхельбекера. Денис Давыдов говорил, что «Боратынский на замечании»...

В 1843 году Боратынский наконец осуществил свою заветную мечту — вырвался из объятий Москвы, ненавидимой им как символ всей чиновной, сонной России. Вместе с домочадцами он выехал за границу. Италия с детских лет манила и тревожила его воображение... В Париже его ждал настоящий праздник: русская передовая молодежь, близкая к Герцену, восторженно встретила славного поэта, друга Пушкина и Дельвига, единомышленника декабристов. Небывалый прилив творческого энтузиазма, какой-то новый, просветленный временем и расстоянием взгляд на Россию, на ее будущее, обилие замыслов захлестнули Боратынского... Но яды времени глубоко проникли в его душу — «железный век» задушил поэта.

Боратынский скончался в Неаполе, скончался скоропостижно, необъяснимо, сорока четырех лет от роду...

«Певец пиров и грусти томной» был мужественным человеком, борцом по своему внутреннему призванию. «Дарование — есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия», — говорил он.

Просторный, вольный лоб. Своенравный, резко выпуклый затылок и острые, как бы мальчишеские вихры на нем. Твердый подбородок. Насмешливый, с задоринкой нос. Крепкие, мечтательно открывшиеся губы... Таков прижизненный силуэтный портрет «унылого элегика», репродуцированный в одном из старых изданий.

Он был замкнутый человек — и замкнутый поэт. Борение с веком шло в нем подспудно: духовные катаклизмы, катастрофы внутренней биографии — вот главное в нем. Характер гордый и одинокий, он с аскетической веселостью нес свое бремя и представлялся окружающим его людям человеком спокойным и трезвым. К нему целиком могут быть применены лермонтовские слова: «В моей душе, как в океане, надежд разбитых груз лежит». Но Лермонтову «повезло»: внутреннее напряжение и драматизм шли, так сказать, стремя в стремя с внешней необычностью трагической судьбы. Но как близки, как родственны эти поэты...

Так что же такое — «школа Боратынского»? Существует ли она на самом деле?

Эта школа (скажем осмотрительнее — влияние) столь же неброска, столь же глубинна, сколь и сама жизнь Евгения Абрамовича Боратынского.

Мощное солнце пушкинской поэзии. Мрачно-прекрасная ночная звезда Лермонтова. Трещащий фейерверк Бенедиктова... Лишь вскользь, лишь попутно пристальный прохожий замечал сумеречный, как бы умирающий, свет, отбрасы-

ваемый негромкими и нежаркими стра-  
ницами странного лирика.

Да, он благоговейно любил Пушкина —  
но находил в себе достаточно силы, что-  
бы не подражать, а подвигаться своей  
дорогой. Да, необходимую дань учени-  
ческого восторга отдал он в ранней юно-  
сти Батюшкову и французам... Но в  
главном он всегда оставался независим.  
«Боратынский у нас оригинален — ибо  
мыслит», — писал Пушкин. Уже в дет-  
ских письмах, похожих на юношеские  
письма и дневники Л. Н. Толстого с их  
беспощадным к себе анализом, Боратын-  
ский стремится к самобытности мышле-  
ния, независимости мнений, полной чест-  
ности высказывания. Ему, мальчику,  
страшно стыдно, что он «часто расхвали-  
вает «Илиаду», хоть читал ее в Москве,  
в очень раннем возрасте, не только не  
чувствуя ее прелести, но даже не пони-  
мая содержания. И прибавляет, сокру-  
шаясь: «Но ее хвалят — и я тоже, как  
обезьянка». И язвительно обобщает: «Мы  
не даем себе труда подумать — и присо-  
единяемся к общему мнению».

Его влияние странно — оно какое-то  
не явное, распыленное. Это редко влия-  
ние стиля, манеры — но всегда влияние  
мысли, неизменно крупной, резкой, туго  
сжатой в кулаке слова, строки. Его за-  
дыхающийся, порой какофоничный син-  
таксис (слишком важное надо сказать,  
слишком многое нужно втиснуть в стих)  
предвосхищает стилистику лермонтовской  
поэтики:

...С душой твоей  
Что в пору ту? Скажи: живая радость,  
Тоска ли в ней?

Лермонтов, несомненно, многому учил-  
ся у своего старшего собрата. Сравните  
коллизии основных поэм Боратынского  
с лермонтовскими поэмами и особенно  
с его прозой, и вы убедитесь, как много  
общего, например, у Елецкого из «Цы-  
ганки» Боратынского с Печориным. А эта  
тяга к изображению натур отверженных,  
падших, но могучих, огнедышащих, ро-  
ковых! А стихотворение «Последняя

смерть» — разве не смыкается оно в чем-  
то главным с идеями лермонтовского  
«Пророка»? А описание маскарада в «Цы-  
ганке»? Оно кажется почти эскизом ко  
всему лермонтовскому «Маскараду».

Блок, отделенный от Боратынского  
почти столетием, внимательно вглядывал-  
ся в загадочное, мнимо спокойное лицо  
автора «Сумерек».

В тягость роскошь мне твоя,  
О, бессмысленная вечность! —

восклидал Боратынский. Не этой ли уста-  
лостью и разочарованностью тяжелеют  
строки знаменитого «Ночь, улица, фонарь,  
аптека...» с их безнадежным:

Живи еще хоть четверть века —  
Все будет так. Исхода нет.  
Умрешь — начнешь опять сначала...

А едко-задумчивый Ходасевич, ищущий  
последней точности слова? Ко всему  
его творчеству можно бы поставить стих  
Боратынского: «Все мысль да мысль!  
Художник бедный слова».

И, наконец, уже в наше время — Забо-  
лоцкий с его несуетно пристальной мане-  
рой всматриваться в мир, в человека...

Есть что-то в ней, что красоты прекрасней...

Это — Боратынский. А словно бы из  
«Некрасивой девочки» Заболоцкого — и  
стержень замысла, и даже размер и тембр  
стиха хранят черты фамильного сходства.  
Так внук неожиданно выдается в деда:  
тот же взгляд, те же скулы, даже глухо-  
ватость голоса и походка фразы...

Говоря о влиянии Боратынского в наши  
дни, мы должны вспомнить также Вино-  
курова с его «трагической подосновой  
мира» и Тарковского (сравните, напри-  
мер, его «Я бессмертен, пока я не умер»  
со стихом Боратынского «Не вечный для  
времен, я вечен для себя»)...

Даже ритмика Боратынского вдруг вос-  
кресает самым неожиданным образом:

Парус надулся. Берег исчез...  
(«Пироскаф»)

Что это? Дольник, весьма редкий в  
первой половине прошлого века... Но

Этот дольник и еще чем-то останавливает внимание. Пастернак. Помните?

Поезд ушел. Насыпь черна.

(«Снова весна»)

А строфика и весь элегический настрой «Запустения» и «Осени»? Прочтите вслух — и в памяти отзовутся есенинское «Голубень», «Я посетил родимые места...». Как и Боратынский, создавший скорбные стихи о «Последнем поете», Есенин грустно отпевал себя:

Я последний поэт деревни...

И ошибся — как Боратынский...

Да — странно жив и влиятелен этот задумчивый и печальный поэт, укоряемый благожелательными и неблагоприятными критиками за пресловутое отсутствие «примет времени» своего. «Никогда не стараясь он малодушно угрожать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению для произведения большего эффекта» — так сказал о нем Пушкин.

А сам он писал о себе, как бы подводя итог всему содеянному:

Я дни извел, стучась к людским сердцам,  
Всех чувств благих я подавал им голос.

В этих двух высказываниях — вся суть уроков Боратынского.

Странная жизнь. Загадочная смерть. Станный поэт... Он и после физической кончины своей существует как-то особенно, непохоже на других наших «классиков». Доныне не решено, как надо писать его фамилию: Боратынский или Баратынский? Слово некому было заметить, что сам он и его родные писали через «о»: Боратынский. И даже в своем любимом Муранове, в доме, выстроенном не самоличным проектом поэта, он, хозяин, скромно занял лишь комнатенку на антресолях, под низким беленым потолком. Ему неважно — если понадобится, он поднимется еще выше, а то и в подвал спустится. Его все равно так много в этом доме, в русской поэзии, в России...

Всмотримся же внимательней в этот запылившийся мрамор, вслушаемся в строки, наспех читаемые утомленным экскурсоводом.

# Адхам Акбаров

## ЧИНАРА ГАФУРА ГУЛЯМА

В трудные для Ташкента дни его постигла тяжкая утрата — умер Гафур Гулям. Узбекская литература, народ Узбекистана, миллионы читателей Советской страны потеряли пламенного художника, мудрого, вдохновенного мастера.

Гафур Гулям был поэтом по призванию, по складу души, он воспринимал мир так, как может его воспринимать лишь истинный поэт, — через призму своего пристального и чуткого сердца, отзывчивого к горю ближнего, бесконечно преданного всему прекрасному, что принесла народу величайшая из революций.

Гулям пришел в литературу в конце 20-х годов. Он и его соратники подхватили и высоко подняли знамя революционной узбекской культуры, выпавшее из рук Хамзы, злодейски убитого врагами в 1929 году. Первая книга стихов Гуляма «Динамо» вышла в 1930 году. Тогда же были изданы первые книги Хамида Алимджана, Уйгуна, Камиля Яшена. Молодые писатели давали клятву великому своему учителю и наставнику — до конца своих дней всем трудом и талантом верно служить славному делу революции, делу коммунизма, за которое отдал свою жизнь Хамза.

И сегодня, когда жизненный путь Гафура Гуляма окончен, мы можем сказать: он с честью сдержал свою клятву.

Горько говорить эти слова: Гуляма нет. Сколько прекрасных строк могло еще вылиться из-под его пера, сколько радости и упоения мог он еще доставить своим многочисленным читателям! Но физическая смерть поэта не в силах оборвать прочных нитей, которые связывают его с миллионами сограждан. Книги Гафура Гуляма по-прежнему будут служить

правде и красоте, будут воспитывать новые поколения читателей в духе преданности Родине.

Гафуру Гуляму было присвоено почетное звание Народного поэта Узбекистана. Он был народным поэтом в истинном, благородном значении этого слова. Выходец из бедняцкой семьи, прошедший суровую школу жизни, он как никто знал заботы и надежды дехкан, скотоводов, хлопкоробов. Он знал обычаи и привычки народа, его красочная, полновзвучная поэзия вобрала в себя все многообразие живой народной речи. Стоит вспомнить хотя бы его поэмы — «Кукан», «Два акта», «Той», чтобы еще раз убедиться в том, насколько глубоко постиг он сущность национального характера, уловил те сдвиги, которые произошли в этом характере в результате октябрьских перемен.

Да, Гафур Гулям, наследник Фурката и Хамзы, был истинно узбекским поэтом. Но именно потому, что он был сыном своего народа — трудолюбивого, поэтического, гостеприимного, чуждого националистических предрассудков, Гулям всем сердцем пел дружбу советских народов — одно из величайших достижений ленинской национальной политики. Такие его стихотворения, как «На путях Турксиба», «Ты не сирота», страстный антифашистский монолог «Я — еврей!», вошедшие в сокровищницу советской поэзии, — живое и яркое свидетельство этого.

Гафур Гулям был воспитателем целого поколения узбекских литераторов. Его стихи, его проза и публицистика остаются прекрасной школой для молодых.

Он был не только большим художником, он был ярчайшей личностью, чело-

веком сильным и страстным, — все, кто имел счастье дружить с ним или хотя бы встречаться, навсегда сохраняют в памяти обаяние его улыбки, запомнят его меткую, афористичную речь. Слитность творческого и человеческого облика роднила его с Максимом Рыльским и Михаилом Светловым.

Русские читатели знают многие произведения Гуляма. Но с сожалением нужно признать, что далеко не все из переведенного на русский язык в полной художественной мере соответствует подлиннику. Хочется надеяться, что в ближайшее время читатели России смогут увидеть в переводах истинного Гуляма —

одного из выдающихся поэтов и мыслителей нашего времени.

В одном из своих стихотворений — «Осень» — Гафур Гулям писал о старом Миршакаре-ата, который выращивает чинары, чтобы много лет спустя потомки в тени их вспомнили и его. Перечитывая сегодня эти стихи, мы думаем о том, что сам Гафур-ата — родной брат своего героя. Могучая чинара, посаженная и выращенная им в щедром саду советской многонациональной поэзии, вечно будет шуметь своей листвою, напоминая о творческом подвиге замечательного устода, мастера, сына своего народа, великолепного художника слова.

## Александр Межиров

### ПАМЯТИ СИМОНА ЧИКОВАНИ

Ушел из жизни Симон Чиковани, гордость грузинской поэзии двадцатого века, один из самых неповторимых и самобытных советских поэтов. Прах его покоится ныне на Мтацминде, на горе Святого Давида, в пантеоне, рядом с теми, чьи труды и порывы прославили Грузию.

Россия знает поэзию Симона Чиковани в переводах Пастернака, Тихонова, Антокольского, Заболоцкого. Его строки навсегда вошли в строй грузинского и русского языков, обогатили духовный мир двух народов.

Угол поэтического зрения Симона Чиковани был необычен, странен и прекрасен. Ассоциации, возникавшие в его сознании, поражали капризной и властной способностью сопоставлять далекое, казалось бы, несопоставимое. Богатству его красок, совершенному владению интенсивным цветом и тончайшими оттенками

мог позавидовать любой выдающийся живописец.

Симон Чиковани был просвещеннейшим человеком своего времени, знатоком мировой истории, старой и новой живописи, музыки, философии, литературы.

«Заложник вечности», поэт Симон Чиковани был пленником времени и потому выразил его так всеобъемлюще.

Мужество Симона Чиковани навсегда пребудет образцом для любого честного человека, художника, солдата. Тяжелый недуг отнял у поэта зрение, но душа не ослепла. Горы Грузии приходили к нему в дом, и по ночам поэт слышал, как они тяжело поднимаются по лестницам, ломая ступени.

В День поэзии благодарный читатель преклоняет колени перед Мтацминдой, перед прахом своего любимца Симона Чиковани.

# СОДЕРЖАНИЕ

## 1

<b>Михаил Луконин</b>			
Тебе . . . . .	7	«Жара!.. Раскаленные светят цветы...»	25
В нелетную погоду . . . . .	8	Следы . . . . .	26
Прошлогоднее происшествие . . . . .	9	<b>Александр Николаев</b>	
Апрель . . . . .	10	Поэтам русским . . . . .	26
<b>Сергей Наровчатов</b>		<b>Семен Кирсанов</b>	
Зеленые дворы . . . . .	11	«Эти летние дожди...» . . . . .	27
Собаки на Командорах . . . . .	13	«Вечность» . . . . .	27
<b>Павел Антокольский</b>		Цветок . . . . .	28
«На что мне темных чисел значенья...»	14	<b>Юрий Шавырин</b>	
<b>Леонид Мартынов</b>		«Знать, не шкурной была та порода...»	28
Старая библиотека . . . . .	15	<b>Олег Алексеев</b>	
Вечный путь . . . . .	15	«Сухое утро солнечного дня...» . . . . .	28
Натура живописца . . . . .	16	<b>Анатоль Имерманис</b>	
Стюардессы . . . . .	16	«Век старый...» . . . . .	29
У дороги . . . . .	17	<b>Борис Попов</b>	
Перемещение праха . . . . .	17	Два цвета . . . . .	29
Мечтатели . . . . .	17	<b>Владимир Корнилов</b>	
«Я разговаривал...» . . . . .	18	Средний возраст . . . . .	30
Флореаль . . . . .	18	Жена Достоевского . . . . .	30
«Я безумствовал...» . . . . .	19	Зимнее . . . . .	31
<b>Степан Щипачев</b>		Небо . . . . .	31
Поэты . . . . .	19	<b>Александр Яшин</b>	
Уральские сады . . . . .	20	Новый берег . . . . .	32
«Мы знаем — да простит ИМЭЛ...»	21	Почему не удивляемся . . . . .	32
«На жизнь я гляжу все пристальней...»	21	День творенья . . . . .	33
«Вот я и дожил...» . . . . .	21	Кулик . . . . .	34
<b>Игорь Ринк</b>		Соловей . . . . .	34
«Когда беды нахлынул вал...» . . . . .	21	«О, как мне трудно будет умирать...»	34
<b>Николай Тихонов</b>		<b>Новелла Матвеева</b>	
Из ранних стихов		«Светится в чаще родник зеленый...»	35
Страна . . . . .	22	<b>Ольга Фокина</b>	
Рождение мысли . . . . .	22	На родину . . . . .	36
Античный герой . . . . .	22	Ягодка . . . . .	36
<b>Борис Слуцкий</b>		<b>Глеб Горбовский</b>	
«Ты это должен обещать заранее...»	23	«Местопребывание: Земля...» . . . . .	37
«То было время царствия кино...» . . . . .	23	<b>Борис Авеарагов</b>	
«Дело в том, что рабочие...» . . . . .	23	Грузчики . . . . .	37
«История не ведает «кабы»...» . . . . .	23	<b>Олег Чухонцев</b>	
«Какие бы общественные сдвиги...» . . . . .	24	Воспоминание . . . . .	38
«Поэзия — обгон, но не товарищей...»	24	Затмение . . . . .	38
«Я — сердечник. Держусь на пределе...» . . . . .	24	<b>Василий Казанский</b>	
<b>Юрий Кузнецов</b>		Мое поколение . . . . .	39
Сахарный тростник . . . . .	25		
Облака . . . . .	25		

<b>Василий Гришаев</b>	Тополь . . . . .	55
Кремль . . . . .	Былое поле брани . . . . .	56
<b>Александр Прокофьев</b>	Веселая грусть . . . . .	56
«Можно позабыть и то и это...» . . . . .	<b>Андрей Вознесенский</b>	
Художнику . . . . .	Плач по двум нерожденным поэмам . . . . .	57
В один адрес	Из закарпатского дневника . . . . .	59
Лапти . . . . .	Зов озера . . . . .	61
Кочерга . . . . .	<b>Юнна Мориц</b>	
«Верьте, верьте...» . . . . .	На смерть Джульетты . . . . .	63
«Ох и круто...» . . . . .	Осенняя окраина . . . . .	65
Вопреки пословице . . . . .	«Воздух пахнет прогулом уроков...» . . . . .	64
<b>Борис Дубровин</b>	Снегопад . . . . .	64
«Раздумьям надвигающимся вторя...» . . . . .	<b>Ирина Волобуева</b>	
<b>Вера Звягинцева</b>	«Как бы музы влетами ни бредили...» . . . . .	65
«Обещайте мне, что вечно будет...» . . . . .	<b>Яков Аким</b>	
«Красоты мы навидались вдоволь...» . . . . .	«Сквозь трепет солнечных пылинок...» . . . . .	65
<b>Олег Дмитриев</b>	<b>Ольга Высотская</b>	
«Поприбавилось люду повсюду!..» . . . . .	Паутинки . . . . .	66
«Кричу в порыве откровенья...» . . . . .	Люди могут расставаться . . . . .	66
<b>Нина Бялосинская</b>	Анютины глазки . . . . .	67
Соловьи . . . . .	<b>Константин Алтайский</b>	
«Зеленоватый медленный закат...» . . . . .	Прозвище такое — птица . . . . .	67
<b>Владимир Гордиенко</b>	<b>Илья Сельвинский</b>	
На Венере . . . . .	Дуаль . . . . .	68
<b>Юрий Окунев</b>	Мой друг, поэт . . . . .	68
Из сибирской тетради	<b>Лев Ошанин</b>	
Тюмень впервые . . . . .	«Есть человек...» . . . . .	69
<b>Руфь Тамарина</b>	«А я люблю тебя ничью...» . . . . .	69
Моим подругам . . . . .	<b>Валентин Сидоров</b>	
<b>Сергей Васильев</b>	«Меняют очертанья вещи...» . . . . .	70
Из американской тетради	<b>Ростислав Филиппов</b>	
У могилы Кеннеди . . . . .	Военные вести . . . . .	70
Анастасия . . . . .	<b>Натан Злотников</b>	
<b>Иван Бауков</b>	«В Голосеевском лесу...» . . . . .	71
В пару листопада . . . . .	«Когда уходят оккупанты...» . . . . .	71
<b>Игорь Грудев</b>	<b>Николай Старшинов</b>	
В поле . . . . .	Ветер . . . . .	72
Шутка . . . . .	<b>Владимир Солоухин</b>	
«В нем твердость...» . . . . .	Волки . . . . .	73
«Как бубенцы...» . . . . .	<b>Александр Богучаров</b>	
<b>Евгений Винокуров</b>	«Врачуют одиночество вином...» . . . . .	73
«Мне б вывернуться наизнанку...» . . . . .	<b>Владимир Костров</b>	
Тело . . . . .	«Среди лугов...» . . . . .	74
Зрелища . . . . .	Гомер . . . . .	74
«Что там ни говори...» . . . . .	<b>Александр Межиров</b>	
<b>Джонид Завальнюк</b>	Аттракцион . . . . .	75
«Я не свободен от любви к тебе...» . . . . .	<b>Александр Ревич</b>	
<b>Вадим Сикорский</b>	«Не могу я без тебя...» . . . . .	76
«Долгие пустые песнопенья...» . . . . .	<b>Татьяна Волобаева</b>	
«Зачем в моем могучем теле...» . . . . .	У конечной остановки . . . . .	77
<b>Сергей Смирнов</b>		
Родине . . . . .		

<b>Михаил Львов</b>		<b>Татьяна Кузовлева</b>	
«Поэты, пережившие поэтов...» . . . . .	78	«Откройся мне слабым и тихим...» . . . . .	92
Танки Отечественной . . . . .	78	«Говорят, что детям сны не снятся...» . . . . .	92
«Неисчерпаем человек!..» . . . . .	78	«Над наговором злобным и недепым...» . . . . .	93
«Фронтовые, погибшие...» . . . . .	79	<b>Иван Рыжиков</b>	
«Я из другого поколения...» . . . . .	79	«Мой первый враг!..» . . . . .	93
«Меся, как Гулливера лилипуты...» . . . . .	79	<b>Евгений Евтушенко</b>	
<b>Ян Вассерман</b>		Баллада о муромце . . . . .	94
Игры . . . . .	80	Баллада о стерве . . . . .	94
<b>Юрий Панкратов</b>		<b>Глеб Семенов</b>	
Голос Ленина . . . . .	80	Блокадная тишина . . . . .	95
<b>Андрей Алдан-Семенов</b>		<b>Анатолий Жигулин</b>	
Звездный час . . . . .	81	«Полынный берег, мостик шпачный...» . . . . .	96
<b>Вадим Рабинович</b>		«О жизнь! Я все тебе прощаю...» . . . . .	96
Красные стихи . . . . .	82	<b>Антонина Баева</b>	
<b>Алексей Заурич</b>		«Ты не печалься, не тужи...» . . . . .	96
«Прекрасен тот дом без прикрас...» . . . . .	82	<b>Юрий Ряшенцев</b>	
<b>Сергей Марков</b>		Апрель в городе . . . . .	97
Настасья . . . . .	83	<b>Борис Заходер</b>	
<b>Анатолий Заяц</b>		Листопад последний . . . . .	98
Тишина . . . . .	83	Песенка про веточку . . . . .	98
<b>Михаил Зенкевич</b>		<b>Алексей Кафанов</b>	
Кому из двух? . . . . .	84	Охота . . . . .	99
<b>Павел Грушко</b>		<b>Глеб Еремеев</b>	
Закваска . . . . .	84	«Всякий труд напоен мудрым смы- слов...» . . . . .	99
<b>Андрей Дементьев</b>		<b>Татьяна Сырышева</b>	
Волга . . . . .	85	«Лебеди ли были в чистом поле...» . . . . .	100
<b>Николай Браун</b>		Арарат . . . . .	100
«В войну, когда земля моя лежала...» . . . . .	85	<b>Лев Смирнов</b>	
<b>Иван Лысцов</b>		Древний портрет . . . . .	100
Чувство земли . . . . .	86	<b>Михаил Скуратов</b>	
<b>Нина Груздева</b>		Забайкалка . . . . .	101
«Я водой заливала...» . . . . .	87	<b>Григорий Левин</b>	
<b>Эдуард Асадов</b>		Дорога . . . . .	102
Что такое счастье? . . . . .	87	«А содержание каждого стиха...» . . . . .	102
<b>Михаил Найдич</b>		<b>Яков Белинский</b>	
Предчувствие . . . . .	88	«Успех у всех — нет, это не успех...» . . . . .	103
<b>Лариса Румарчук</b>		«Талант любить...» . . . . .	103
«Не буду сына лепить из глины...» . . . . .	88	<b>Виктор Боков</b>	
<b>Алла Строило</b>		Пушкин . . . . .	104
Привязанность . . . . .	89	«Росная, босая...» . . . . .	104
«Отцы и дети!..» . . . . .	89	Новогодняя сказка . . . . .	105
«Страна моя Иван-да-Марьева...» . . . . .	89	«Около леса не видно подлеска...» . . . . .	105
«К синеве приклеились понки...» . . . . .	89	«И я когда-то рухну...» . . . . .	105
«Каждая травинка — на земле цовинна...» . . . . .	89	Пальмы . . . . .	106
<b>Михаил Матусовский</b>		Море . . . . .	106
Больные поэты . . . . .	90	Монолог января . . . . .	106
Клоуны . . . . .	90	<b>Лариса Васильева</b>	
<b>Василий Казанцев</b>		«Опять начинается дождь...» . . . . .	107
«Как в глубине карандаша...» . . . . .	91	«Нет, не тебя я знаю с детства...» . . . . .	107
«Могу понять, когда под взглядом...» . . . . .	91	«Глаза твои синее...» . . . . .	107
Высота . . . . .	91		

<b>Эдмунд Иодковский</b>	
Последний барак . . . . .	.108
<b>Анатолий Землянский</b>	
Горстинка . . . . .	.108
<b>Александр Архипов</b>	
На родине . . . . .	.109
<b>Кирилл Ковальджи</b>	
«Мне кажется, что под землей...» .	.109
<b>Игорь Лашков</b>	
Доброта . . . . .	.110
<b>Владимир Осинин</b>	
Березовый остров . . . . .	.110
«Ребята с добрыми глазами!..» . . .	.111
<b>Александр Коваль-Волков</b>	
«Едва зарю пробьют над миром...» .	.111
Мать . . . . .	.111
<b>Владимир Жуков</b>	
Ветераны . . . . .	.112
<b>Александр Гатов</b>	
«Кто старость назовет порой утрат?...»	.113
Краткая история мирозданья . . . . .	.113
<b>Марк Соболев</b>	
Отцы и дети . . . . .	.114
<b>Лилия Наппельбаум</b>	
«Отец мой не был скромн...» . . . .	.114
<b>Юрий Гордиенко</b>	
«Голоса с того света!..» . . . . .	.115
«Старик, брюзжу я...» . . . . .	.115
<b>Владимир Павлинов</b>	
Бесы . . . . .	.116
<b>Василий Степанов</b>	
«Мной Россия исхожена...» . . . . .	.116
<b>Лев Тимофеев</b>	
Грибы . . . . .	.117
<b>Генрих Рудяков</b>	
Средняки . . . . .	.117
«Нейтральным быть — вовеки не смо- гу...» . . . . .	.117
<b>Станислав Куняев</b>	
«А спать любил я...» . . . . .	.118
«Не то чтобы жизнь надоела...» . .	.118
<b>Павел Кудрявцев</b>	
Русская береза . . . . .	.118
<b>Роберт Рождественский</b>	
Рулетка . . . . .	.119
<b>Фазиль Искандер</b>	
Баллада о блаженном цветении . . .	.121
<b>Юлия Нейман</b>	
Переводчик . . . . .	.122
<b>Вадим Ковда</b>	
«Я очень незаметный человек...» . .	.122
<b>Игорь Кобзев</b>	
Ложки звучат . . . . .	.123
<b>Григорий Корин</b>	
Трус . . . . .	.123
<b>Елена Николаевская</b>	
«Пронизанная счастьем...» . . . . .	.124
«Исчезнем все...» . . . . .	.124
«Много лучше могло б все быть...» .	.125
<b>Булат Окуджава</b>	
Прощание с Польшей . . . . .	.125
Монолог гончара . . . . .	.126
Прощание с осенью . . . . .	.126
<b>Аделина Адалис</b>	
Посвящение Людмиле . . . . .	.127
<b>Надежда Мальцева</b>	
«Сентябрь! Я выхожу во двор...» .	.127
<b>Инна Лиснянская</b>	
«Меня не надо поучать...» . . . . .	.128
Сентябрь . . . . .	.128
<b>Анисим Кронгауз</b>	
Возраст . . . . .	.129
<b>Сергей Поликарпов</b>	
«Сапожки красные сафьяновые...» .	.129
<b>Светлана Кузнецова</b>	
«Зачем во мне гордыню ты растил?...»	.130
«Нет грустнее встречи с братом...» .	.130
<b>Рувим Моран</b>	
Закат . . . . .	.131
<b>Феликс Чуев</b>	
«Спокойно спит майор Устинов...» .	.131
<b>Владимир Кулагин</b>	
Друзья мои . . . . .	.132
<b>Анатолий Преловский</b>	
Город . . . . .	.132
<b>Дмитрий Нагаев</b>	
«Не трешников смятых ради...» . . .	.133
Койка . . . . .	.133
<b>Юрий Рудый</b>	
«Поет моряк...» . . . . .	.134
<b>Владимир Лифшиц</b>	
Аэропорт . . . . .	.135
Третье прощание . . . . .	.135
<b>Ирина Снегова</b>	
Подруге . . . . .	.135
«Я странной хронологии держусь...»	.136
<b>Лев Озеров</b>	
Качнулась ветка... . . . .	.136
Групповой портрет . . . . .	.136
<b>Иван Харабаров</b>	
Легенда о березе . . . . .	.137
<b>Федор Фоломин</b>	
Гусарская песня . . . . .	.138

<b>Андрей Досталь</b>	
Россия . . . . .	139
<b>Виктор Урин</b>	
Вершины . . . . .	139
<b>Николай Рыленков</b>	
«В чем виноват — винюсь...» . . . . .	140
«Мы видим мир...» . . . . .	140
«Да, ты бесчестным не был никогда...» . . . . .	140
«Разум и совесть...» . . . . .	140
<b>Леонид Шкавро</b>	
Плотогонч . . . . .	141
<b>Светлана Янглова</b>	
«Вскочу на лошадь и уеду...» . . . . .	141
<b>Владимир Соколов</b>	
Венок . . . . .	142
«Натали, Наталья, Ната...» . . . . .	142
«Мне нравятся поэтессы...» . . . . .	142
Паром . . . . .	143
<b>Наталья Шмитько</b>	
«Секунда — и взрыв...» . . . . .	143
<b>Ирина Озерова</b>	
«Я хлеб в гречишный мед макала...» . . . . .	144
<b>Людмила Щипахина</b>	
О женственности . . . . .	144
<b>Владимир Цыбин</b>	
«Когда пурга...» . . . . .	145
Илья . . . . .	145
Дожди . . . . .	146
<b>Давид Петров</b>	
Рождение жеребенка на полигоне . . . . .	147
<b>Николай Флеров</b>	
Аврал . . . . .	147
<b>Варлам Шаламов</b>	
Птицелов . . . . .	148
«Не спеши увеличить запас...» . . . . .	148
<b>Анатолий Передрев</b>	
«Эта полночь тиха...» . . . . .	149
Ночной самолет . . . . .	149
<b>Антон Пришелец</b>	
Стихи . . . . .	150
<b>Анатолий Кудрейко</b>	
Вальдшнеп . . . . .	150
<b>Владимир Савельев</b>	
Русская мысль . . . . .	151
Мужидкий царь . . . . .	151
«На людях едва покажись ты...» . . . . .	152
«Ничьим увещаниям не внемля...» . . . . .	153
<b>Нина Эскович</b>	
«Таю как снегурочка...» . . . . .	153
<b>Илья Фоняков</b>	
Уход Льва Толстого из Ясной Поляны . . . . .	154
<b>Александр Никифоров</b>	
Тайны . . . . .	154
<b>Павел Панченко</b>	
Улица Дмитрия Кедрина . . . . .	155
<b>Александр Уваров</b>	
Реликвии . . . . .	155
<b>Марк Лисянский</b>	
Благодарные стихи . . . . .	156
<b>Игорь Кохановский</b>	
Бюро обмена . . . . .	157
<b>Борис Куликов</b>	
«Один в степи...» . . . . .	158
<b>Николай Новиков</b>	
В москательном магазине . . . . .	158
<b>Роман Солнцев</b>	
«В синий снег...» . . . . .	159
Из «Необщей тетради» . . . . .	160
«Дайте соперника!..» . . . . .	160
<b>Илья Френкель</b>	
«Ни корану, ни, тем более, талмуду...» . . . . .	161
Комсомольская баллада . . . . .	161
<b>Игорь Волгин</b>	
«А вечером мне крупно повезло...» . . . . .	162
<b>Владимир Дагуров</b>	
«Влюбленные целуются...» . . . . .	162
<b>Освальд Плебейский</b>	
Зной . . . . .	163
<b>Нина Гребельная</b>	
«Само понятие свободы...» . . . . .	163
<b>Борис Сибиряков</b>	
Декабрь . . . . .	164
<b>Яков Козловский</b>	
«Поймав на площади такси...» . . . . .	165
Семка и Варька . . . . .	165
«Время нас проверяет...» . . . . .	166
Вереск . . . . .	166
Девчонка с площади Испании . . . . .	167
«Витийствуйте, когда вам любо...» . . . . .	167
<b>Наум Коржавин</b>	
Усталость . . . . .	168
Кропоткин . . . . .	168
«Мир еврейских местечек...» . . . . .	169
«Не надо, мой милый, не сетуй...» . . . . .	169
<b>Валентин Кузнецов</b>	
Дровокол . . . . .	170
<b>Нина Королева</b>	
Родник . . . . .	170
«Мое былое!..» . . . . .	170
<b>Николай Рубцов</b>	
«Загородил мою дорогу...» . . . . .	171
Над вечным покоем . . . . .	171
<b>Михаил Цуранов</b>	
Памяти Маршака . . . . .	172

<b>Майя Борисова</b>	
«Гляжу на небо...» . . . . .	.172
<b>Алексей Смольников</b>	
Испанки . . . . .	.173
«Под старость мы приходим к про-	
стоте...» . . . . .	.174
Царь-колокол . . . . .	.174
<b>Яков Хелемский</b>	
«Не надо хвастаться заслугами...» .	.175
«Один, как бы рожден в сорочке...»	.175
<b>Владимир Семенов</b>	
Незабудки . . . . .	.176
<b>Петр Вегин</b>	
Арктическое письмо . . . . .	.176
<b>Маргарита Агашина</b>	
Горькие стихи . . . . .	.177
<b>Муза Павлова</b>	
Диалоги . . . . .	.177
<b>Сергей Дрофенко</b>	
Снимок из Михайловского . . . . .	.178
Встреча с Державиным . . . . .	.178
<b>Сергей Викулов</b>	
Сосна шумит . . . . .	.179
<b>Александр Корнев</b>	
Просто о жизни . . . . .	.181
<b>Юрий Смирнов</b>	
«Веда на кладбище дорога...» . . .	.181
<b>Дмитрий Благой</b>	
Могила Грига . . . . .	.182
<b>Борис Шаховский</b>	
Из фронтового блокнота . . . . .	.184
<b>Нина Новосельнова</b>	
Белая птица . . . . .	.185
<b>Александр Глезер</b>	
Зреюсть . . . . .	.185
<b>Константин Ваншенкин</b>	
«Там, где сосны...» . . . . .	.186
Скульптор . . . . .	.186
Закат в городе . . . . .	.186
Природа . . . . .	.187
«Такая даль прозрачная...» . . . .	.187
«Дурная привычка души...» . . . .	.187
«Прохладней стало на душе...» . . .	.187
<b>Инна Кашежева</b>	
Баллада о первом восхождении .	.188
<b>Михаил Беляев</b>	
«Осень кажется ярче весны...» . . .	.188
<b>Анатолий Поперечный</b>	
Лана . . . . .	.189
<b>Леонид Вышеславский</b>	
Поэзия . . . . .	.189
<b>Александр Говоров</b>	
Снегирь, явившийся во сне... . . .	.190
<b>Дмитрий Смирнов</b>	
«Крикни — полетит над миром эхо...»	.190
<b>Иосиф Ржавский</b>	
Воспоминание . . . . .	.191
<b>Юрий Медьников</b>	
Моя Россия . . . . .	.191
<b>Герман Флоров</b>	
Связь . . . . .	.192
Вечер поэзии . . . . .	.192
<b>Николай Глазков</b>	
1944 год . . . . .	.193
Якутск . . . . .	.193
<b>Владимир Сергеев</b>	
«Когда стою среди знатоков-зевач...»	.194
<b>Василий Журавлев</b>	
Воспоминание о Казахстане . . . . .	.194
<b>Екатерина Шевелева</b>	
«Уонт ту стади ин Моску» . . . . .	.195
Снимок из Порт-Саида . . . . .	.195
<b>Владимир Гордейчев</b>	
«Я на вокзал иду...» . . . . .	.196
<b>Леонид Решетников</b>	
Не астроном, не астрофизик... . . . .	.196
<b>Виктор Гончаров</b>	
Глухари . . . . .	.197
«Позарьюжило все...» . . . . .	.198
«Я живучий...» . . . . .	.198
<b>Владимир Файнберг</b>	
«А не пора ли выйти в море...» . . . .	.198
<b>Дина Терещенко</b>	
«Я по-новому жизнь осмыслю...» . .	.199
<b>Николай Тарасов</b>	
Памятник . . . . .	.199
<b>Семен Липкин</b>	
Две ели . . . . .	.200
Чешский лес . . . . .	.200
<b>Валентин Проталин</b>	
Тревога . . . . .	.201
<b>Юрий Левитанский</b>	
Из книги «Кинематограф»	
Вступление в книгу . . . . .	.202
Начало сценария . . . . .	.203
Человек с транзисторным приемником	.204
<b>Анатолий Павлухин</b>	
Дыхание весны . . . . .	.204
<b>Владимир Бурич</b>	
Заповеди города . . . . .	.205
Утро . . . . .	.206
«Нация оцупывает себя...» . . . . .	.206
«Около ста человек...» . . . . .	.206
«Человечество непотопляемое судно...»	.206

«Мир наполняют...» . . . . .	206
«Так что ж я...» . . . . .	206
<b>Дмитрий Голубков</b>	
Твое лицо . . . . .	207
На теплоходе . . . . .	207
Сток . . . . .	208
<b>Владимир Приходько</b>	
Лишь дом среди листьев... . . . .	209
<b>Павел Железнов</b>	
Первый день Победы . . . . .	209
Прозрение . . . . .	209
<b>Алексей Марков</b>	
Гудок в горах . . . . .	210
<b>Владимир Британишский</b>	
Книга и кофе . . . . .	210
<b>Римма Казакова</b>	
«Я училась у обид...» . . . . .	211
«Человек — не кожа и не кости...» . . . . .	211
Из стихов о ремесле . . . . .	212
«Я — как девчонка...» . . . . .	212
Память . . . . .	213
<b>Игорь Жданов</b>	
«Стучит ли дождь...» . . . . .	213
<b>Дмитрий Ковалев</b>	
«Вдруг — потемневший лиственный навес...» . . . . .	214

С борта . . . . .	214
Забавный уголок . . . . .	215
<b>Михаил Демин</b>	
«Опять трубят...» . . . . .	215
<b>Александр Раскин</b>	
Люблю грозу в начале мая... <i>Литературные пародии</i>	
Лев Ошанин. Ничего, ничего (Песня)	216
Ярослав Смеляков. Стругая любовь . . . . .	217
Михаил Матусовский. Болейте! . . . . .	217
Роберт Рождественский. Весна — ясна! . . . . .	217
<b>Павел Хмара</b>	
Александр Прокофьев ( <i>Пародия</i> ) . . . . .	218
<b>Сергей Смирнов</b>	
Живы будем — не помрем ( <i>Пародия</i> )	219
<b>Эдуард Гай и Борис Ганин</b>	
Евгений Винокуров ( <i>Пародия</i> ) . . . . .	220
<b>Александр Безыменский</b>	
Его ампула ( <i>Фельетон</i> ) . . . . .	220
Канцелярский столп ( <i>Маленький фельетон</i> ) . . . . .	220

## 2

<b>Владимир Огнев</b>	
Поэт и память . . . . .	223
<b>Анатолий Имерманис</b>	
Разговор о разговорном жанре . . . . .	227
<b>Евгений Долматовский</b>	
Меньше плохих песен! . . . . .	229

<b>Лев Гинзбург</b>	
Размышления переводчика . . . . .	234
<b>Анатолий Елкин</b>	
Ребенок стал взрослым... . . . .	238

## 3

<b>Алексей Сурков</b>	
О «Сонетах гнева» . . . . .	243
<b>Георгий Суворов</b>	
Сонеты гнева . . . . .	245
<b>Павел Железнов</b>	
«Коммунисты не продаются!» . . . . .	246
<b>Владимир Аврущенко</b>	
Письмо . . . . .	247
Лучший дар . . . . .	247
<b>Григорий Девин</b>	
«Была бы Родина...» . . . . .	248

<b>Михаил Кульчицкий</b>	
«Хвостом лисы рассвет примерз...» . . . . .	252
Н. Турочкину . . . . .	253
<b>Николай Майоров</b>	
«Я лирикой пропах...» . . . . .	253
«Заснуть. Застыть...» . . . . .	253
<b>Павел Коган</b>	
Состав . . . . .	254
<b>Семен Гудзенко</b>	
«Я родился в этом городе...» . . . . .	254

<b>Юлия Друнина</b>	
Гимн поколению . . . . .	.255
<b>Из неопубликованных писем Демьяна Бедного</b>	260
<b>Демьян Бедный</b>	
В этот день . . . . .	.262
<b>Виктор Шкловский</b>	
В доме на Гендриковом переулке . . . . .	.265
<b>Лев Никулин</b>	
История одной рифмы . . . . .	.266
<b>Сергей Кошечкин</b>	
Есенин слушает частушку... . . . .	.267
<b>Андрей Платонов</b>	
Анна Ахматова . . . . .	.271
<b>Станислав Лесневский</b>	
Тростник и время . . . . .	.274
<b>Николай Асеев</b>	
Тишина вышины . . . . .	.276
Чувство мира . . . . .	.277
«Если б был я...» . . . . .	.277
<b>Н. Григорьева</b>	
Встреча со Светловым . . . . .	.278
<b>Б. Брайнина</b>	
Достоинство и честь литератора . . . . .	.279
<b>Константин Симонов</b>	
О Назыме Хикмете . . . . .	.280
<b>Назым Хикмет</b>	
«Его зеленое — муар...» . . . . .	.283
«Мне шестьдесят...» . . . . .	.284
<b>Марк Шехтер</b>	
Песня . . . . .	.284
<b>Осип Кольчев</b>	
Самуил Галкин . . . . .	.285
<b>Андрей Глоба</b>	
«Догорала и догорела...» . . . . .	.286
«Печаль ко мне...» . . . . .	.287
«Я помню утро в бледном свете...» . . . . .	.287
«Померкнуть с утренней зарей!..» . . . . .	.287
<b>Марк Лисянский</b>	
Раиса Гинцбург . . . . .	.288
<b>Раиса Гинцбург</b>	
«Сколько добрых слов...» . . . . .	.289
Мой дом . . . . .	.289
<b>Валентин Кузнецов</b>	
Слово о друге . . . . .	.290
<b>Николай Анциферов</b>	
Мое вдохновение . . . . .	.290
<b>Александр Ойслендер</b>	
Закон травы . . . . .	.291
<b>Дмитрий Блынский</b>	
Тане . . . . .	.292
<b>Иван Шамов</b>	
В лесном городке. . . . .	.293
<b>Владимир Львов</b>	
«Перед боями воздух суше...» . . . . .	.293
«Распяты с желтым телом...» . . . . .	.293
<b>Марк Максимов</b>	
Сестра милосердия . . . . .	.294
<b>Вероника Тушнова</b>	
Письмо читательнице . . . . .	.295
<b>Лев Озеров</b>	
Об Александре Кочеткове . . . . .	.297
<b>Александр Кочетков</b>	
Баллада о прокуренном вагоне . . . . .	.298
<b>Николай Рыленков</b>	
Вторая жизнь поэта . . . . .	.299
<b>Неопубликованное письмо</b>	
В. Г. Короленко . . . . .	.308
<b>Борис Шиперович</b>	
В библиотеке Брюсова . . . . .	.309
<b>В. Ланина</b>	
Фет Винокурова . . . . .	.312
<b>Дмитрий Голубков</b>	
Уроки Евгения Боратынского . . . . .	.314
<b>Адхам Акбаров</b>	
Чинара Гафура Гуляма . . . . .	.319
<b>Александр Межиров</b>	
Памяти Симона Чиковани . . . . .	.320

## *Сборник*

### «ДЕНЬ ПОЭЗИИ»

М., «Советский писатель», 1966, 328 стр.  
Тем. план выпуска 1966г. № 204

Сдано в набор 1/IX 1966 г.  
Подписано в печать 11/XI 1966 г.  
А 10138 Бумага 84×108<sup>1/2</sup> № 2  
Печ. л. 20,5+4 вклейки (35,28)  
Уч.-изд. л. 25,65 Тираж 100 000 экз.  
Заказ 7-66. Цена 1 р. 2к4

Издательство «Советский писатель»  
Москва К-9, Б. Гнездыковский пер., 10

Первая Образцовая типография  
имени А. А. Жданова  
Главполиграфпрома Комитета по печати  
при Совете Министров СССР  
Москва, Ж-54, Валовая, 28

1 p. 32 B.





ДЕНЬ  
ПОЭЗИИ



1966

